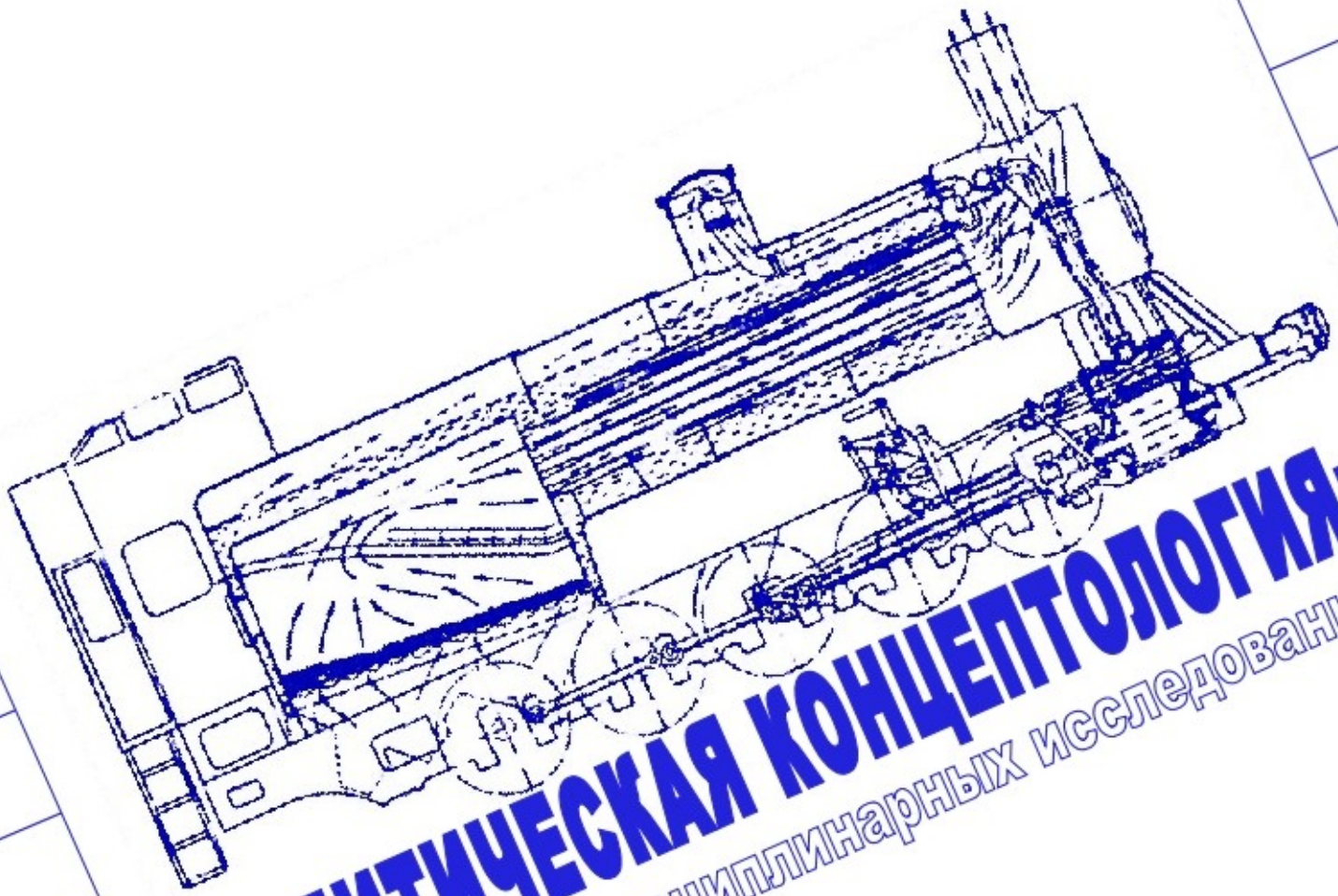
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Journal of metadisciplinary research
The POLITICAL CONCEPTOLOGY

2011 г. № 2



ПОЛИТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПТОЛОГИЯ:

журнал метадисциплинарных исследований

Ростов-на-Дону

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ЦЕНТР ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОНЦЕПТОЛОГИИ

Северо-Кавказского НИИ экономических и социальных проблем

ФАКУЛЬТЕТ СОЦИОЛОГИИ И ПОЛИТОЛОГИИ

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПТОЛОГИЯ:

журнал метадисциплинарных исследований

2011. № 2

(апрель-июнь)

Научный журнал
Издается с 2009 года

Политическая концептология:
журнал метадисциплинарных исследований

Научно-аналитическое издание

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство о регистрации средства массовой информации: Эл № ФС77-32422 от 09 июня 2008 г.

ISSN 2218-5518

Учредитель: Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южный федеральный университет»

Редакционная коллегия:

Главный редактор: *В.П. Макаренко*, доктор политических и философских наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ, академик Академии педагогических наук Украины

Заместитель главного редактора: *С.П. Поцелуев*, доктор политических наук, доцент

Ответственный секретарь: *А.И. Субботин*, кандидат философских наук, доцент

Редакционный совет:

Председатель – доктор философских наук, кандидат исторических наук, профессор *А.В. Лубский* (Ростов-на-Дону)

Доктор политических наук, доцент *А.И. Бардаков* (Волгоград)

Доктор экономических наук, профессор *В.В. Вольчик* (Ростов-на-Дону)

Профессор ординарный, доктор габилитованы *Анджей Захариаш* (Жешов, Польша)

Доктор политических наук, профессор *В.С. Малахов* (Москва)

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ *О.Ю. Мамедов* (Ростов-на-Дону)

Доктор философских наук, профессор *Н.С. Розов* (Новосибирск)

Доктор философских наук, профессор *В.В. Савчук* (Санкт-Петербург)

Доктор исторических наук, профессор *В.Н. Ткаченко* (Киев, Украина)

Доктор исторических наук, профессор *И.М. Узнародов* (Ростов-на-Дону)

Доктор философских наук, профессор *С.Г. Чукин* (Санкт-Петербург)

Доктор философских наук, кандидат психологических наук *В.А. Шкуратов* (Ростов-на-Дону)

Электронная версия журнала: **http://politconcept.sfedu.ru**

Адрес учредителя:
344006, г. Ростов-на-Дону
ул. Б. Садовая, 105
тел.: (863) 263 3158 263 8498
факс: (863) 264 5255
e-mail: rectorat@sfedu.ru

Адрес редакции:
344038, г. Ростов-на-Дону
пр. Нагибина, 13, к. 308
тел. (863) 230 3090
факс: (863) 230-30-71
e-mail: politconcept@mail.ru

СОДЕРЖАНИЕ

СЛОВО РЕДАКТОРА

Макаренко В.П.
Мировоззренческая машина: размышления автолюбителя (статья 1)..... 4

ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОНЦЕПТОЛОГИИ

Порус В.Н.
На мосту интерпретаций: Роберт Мертон и социальная эпистемология..... 28

Капустин Б.Г.
Тезисы о политической философии..... 39

Поцелуев С.П.
От «антагонизма» к «агонизму»: к теории демократии Э. Лаклау и Ш. Муфф..... 47

НАЦИОНАЛЬНЫЙ И РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ

Глебова И.И.
«Дворцовое государство» в современной России..... 80

Олейник А.Н.
О природе и причинах административной ренты: особенности ведения бизнеса в российском регионе..... 117

ПЕРЕВОДЫ И КОММЕНТАРИИ

Дерлугьян Г.М.
О нашем месте в истории..... 141

Робин Вагнер-Пацифици, Барри Шварц
Мемориал ветеранов Вьетнама: памяти трудного прошлого..... 155

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Макаренко В.П.
Ученый и власть: взгляды и комментарии..... 193

НАШИ АВТОРЫ..... 210

Summaries and keywords..... 211

Contents..... 214

К сведению авторов..... 215

Слово редактора

МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКАЯ МАШИНА: РАЗМЫШЛЕНИЯ АВТОЛЮБИТЕЛЯ (статья первая)

В.П. Макаренко
Южный федеральный университет

Аннотация: *В статье показано, что за распространенным убеждением в бессмертии человека стоят две религиозно-философские посылки: вечность проявляется в человеческой истории и жизни как некий абсолют, сконструированный сознанием и приписываемый бытию; этот абсолют (бог или заменяющая его абстракция) описывается в антропологических категориях. Проблема смещается к типологии концептов при «доказательстве» этих посылок и вытекающих из них мировоззренческих схем. Рассмотрен генезис данных концептов в истории философии. Христианские теодицеи осциллируют между двумя схемами: 1. Зло есть необходимый элемент совершенного космоса; в строгом смысле слова зло не существует, поскольку оно появляется только тогда, когда мы смотрим на мир с точки зрения части, а не цело-го. Этот тип теодицеи характерен для пантеизма. 2. Зло есть только отрицание имеет своим источником искажение воли, отклоняющейся от требований бога; бог не отвечает за вселенское зло; человек есть источник спонтанной творческой инициативы даже при совершении зла; человеческая свобода равна свободе бога, хотя без его всесилия и доброты; человек есть центр самостоятельного начала всяких действий. Этот тип теодицеи присущ антропоцентризму.*

Ключевые слова: *мировоззрение, религия, философия, концепт бессмертия, культ вечного бытия, христианские теодицеи.*

Когда религия соединяется с политикой,
рождается инквизиция.
Альбер Камю

Двуногое животное без перьев и перспектива учтивого равнодушия

Уже давно люди надеются на лучшую жизнь в будущем. Связана ли эта надежда с идеей бессмертия как продуктом веры в бога?

Популярно мнение: идея бессмертия вытекает из страха перед смертью, который присущ почти всем людям. Секст Эмпирик и Монтень писали о том, что из-за страха смерти люди не хотят даже думать о ней. Но если страх перед смертью – достаточное основание

идеи бессмертия, то почему свиньи и коровы не создали свой образ ада и рая? Ведь они визжат и ревут перед входом в убойный цех мясокомбината. Значит, тоже боятся смерти?..

Такие вопросы возникает, когда начинаешь размышлять об идеях, которым приписывают некий особый мировоззренческий смысл. Например, человеческую любовь можно объяснить как реализацию инстинкта размножения. Почему же тогда ни одна жаба не написала «Ромео и Джульетту» или хотя бы «Песнь песней»? Апологеты религии доказывают, что она компенсирует страдания и возвышает человека. Каждое утро я проезжаю по улицам Ростова и вижу раздавленных животных. Почему же гибнущие под колесами автомобилей собаки и кошки до сих пор не построили своих церквей и не написали своих священных писаний?

Профанам в истории мысли эти вопросы покажутся надуманными. Однако у Диогена Лаэрция можно прочесть: «Когда Платон дал определение, имевшее большой успех: «Человек есть животное о двух ногах, лишенное перьев», Диоген ощипал петуха и принес к нему в школу, объявив: «Вот платоновский человек!»»[1]. Платоновскую логику «не задушишь, не убьешь». Со школьных и вузовских учебников мне известно, что человека определяют на основе его морфологических, физиологических, психологических и социальных свойств, которые, в свою очередь, выводятся из биологической эволюции видов.

Значит, *ощипанный петух* остается удобной системой координат. Если ее прилагать к определению человека и культуры, то такие дефиниции всегда будут осуждены на киническую критику. Петер Слотердайк доказал, что Диогенов всегда было меньше, чем Платонов[2]. Видимо, поэтому продукты культуры (язык, искусство, религия, наука, техника, философия) все еще объясняют через их инструментальные функции. Говорят, что каждый продукт удовлетворяет основные (первичные) потребности человека – в пище, одежде, жилье, порождении себе подобных. А эти потребности связывают человека с животным.

Такие определения человека и культуры просты и удобны. Допускают оптимистическую и пессимистическую установку. В первом случае культура рассматривается как подтверждение исключительной способности человека к приспособлению. Во втором случае она толкуется как механизм самосохранения человеческого рода – вырождающейся ветви жизни или тупика эволюции. Такие взгляды типичны для философствующих естествоиспытателей. Философы рассуждают иначе: созданная человеком искусственная среда удовлетворяет множество его обособившихся потребностей – художественных, религиозных, научных, технических, философских и т.д. Хотя «на заре» истории культура была просто совокупностью орудий, обслуживающих животную природу человека и его потребность выжить.

Философская точка зрения убедительнее функционализма. Но и она не дает ответа на вопрос: как произошло обособление потребностей? В учебниках по культурологии можно узнать, что человеческие потребности первоначально ограничивались едой, копуляцией и сохранением от природных стихий. Тогда почему люди изобрели именно искусство и религию для «лучшего» удовлетворения своих потребностей и приписали этим изобретениям самостоятельную ценность? Если человеческая природа есть множество неизменных биологических свойств, передаваемых по генетическому коду, то как она вырабатывает новые культурные потребности и как они передаются?

Указанные вопросы входят в предмет историософии. Ответ на них зависит от мировоззренческого выбора, который может принимать религиозную и светскую форму, но всегда будет спекулятивным. Ведь эмпирическое обоснование любого ответа зависит от строгого определения «зари человечества» – того момента в биологической эволюции видов, который можно считать *началом* человеческой истории. Между тем вопрос о *начале* остается дискуссионным. Разве можно установить абсолютное начало искусства, религии или науки! Здесь роится тьма гипотез. Стоит ли сочинять новую?

---

[1] Диоген Лаэрций. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. М., Мысль, 1979. VI, 40.

[2] См.: Слотердайк П. Критика цинического разума. Екатеринбург, У-Фактория, М., АСТ, М., 2009.

Видимо, Карл Ясперс был прав, когда писал о том, что построение понятия универсальной истории человека зависит от того, насколько мы в состоянии поставить себя *вне* реального исторического процесса. Между тем, достичь этого не удалось никому. Все люди живут в истории. Переживают ее в своих чувствах и сознании. Некоторые человеческие экземпляры пытались освободиться от злобы дня, занять «всемирно-исторические» господствующие высоты. Попытки такого рода нельзя считать абсолютно бесполезными. Но приписывание истории «смысла» было и останется предметом *выбора* мировоззрения и религии.

Об этом не мешает напомнить сегодня. Уже больше двадцати лет на российских телеэкранах каждый день маячат рясы и кадила. Теперь власть хочет безбожников превратить в чудотворцев. Игнорирует резолюцию Петра 1 на запрос Синода о том, как поступать с людьми, ставшими свидетелями чуда: «Наказанье и вечную ссылку на галеры с вырезанием ноздрей»[3]. Нынешняя власть гуманна: вместо вырезания ноздрей и ссылки на галеры она навязывает населению страны свой вариант связи собственного религиозно-мировоззренческого выбора с историософией.

Историософия стремится предсказать, как пойдут события и куда движется история. Каждое такое предсказание имеет определенную структуру: если обстоятельства не изменятся, то произойдет то-то и то-то; обстоятельства не меняются; следовательно, то-то и то-то неизбежно наступит. В этом рассуждении первая посылка голословна, поскольку мы знаем мизерную часть законов, управляющих общественным развитием. Большинство нынешних жителей России и окрестных полицейских околотков со школьной скамьи усвоило материалистическое понимание истории, которое гласит: люди прежде всего должны есть, пить, одеваться и воспроизводить себе подобных. Но это понимание растворяется в сфере демографии как особой науки. А она ничего не говорит о цели и смысле истории. Вторая посылка ложна, поскольку обстоятельства постоянно меняются. Следовательно, предсказания, основанные на материалистическом понимании истории, и поиски в ней смысла, не могут породить ничего, кроме банальностей. Такие банальности и образуют предмет и продукт историософии[4].

Исторический процесс можно толковать как вечное порождение, упадок, спасение, катастрофу человеческого рода. В любом случае эти смыслы невозможно вывести из исторического знания. Поэтому более последовательны те философы, которые размещают смысл *вне истории*. С университетской скамьи помню, что Тейяр де Шарден предложил построить наблюдательный пункт, из которого можно увидеть исторический процесс в целом: от слов «Да будет свет!» до конечной точки Омега. В этом случае можно говорить о смысле истории.

Но такие речи были и останутся сотрясением воздуха. Разве можно построить наблюдательный пункт, из которого можно было бы взглянуть на самого себя? Проникнуть в «зазеркалье» можно только с помощью воображения или фантазии. А оно доступно только *опосредованно* – через священные писания разных религий и каноны светских мировоззрений. Они-то были и останутся единственным источником всякого знания о «смысле» истории и производных от него понятий.

Идея бессмертия возникает и развивается в религиозно-мировоззренческих системах – комплексах иллюзий и суеверий. Никому не возбраняется актом воли приписать истории смысл, подтверждающий наши убеждения о том, кто мы такие, куда идем, какими должны быть и т.п. Однако большинство людей забывает о том, что такой смысл приписывается истории произвольно. Уже школа навязывает детям представление о том, что мир в целом и его конкретные формы имеют смысл сами по себе.

В этом и состоит классический пример *отчуждения*. Оно может использоваться идеологами, политиками, публицистами с серьезными намерениями. Достаточно указать на сегодняшние российские дискуссии о «смысле» или «истинной сущности» истории России, советской власти, второй мировой войны и т.д. Произвольное приписывание реальной истории

[3] Анисимов Е.В. Русский застенок. Тайны Тайной канцелярии. М., Центрполиграф, 2010, с. 167.

[4] См.: Бохеньский Ю. Сто суеверий. М., «Прогресс», 1993, с.72-73.

некого смысла существует до сих пор. Нелегко отменить наличные (нередко институционализованные) *различия* между псевдосмыслом (как проекцией наших желаний) и «действительным смыслом истории».

«Действительный смысл» обычно усматривается в том, что всеобщая и локальная история имеет некую цель, и движется в направлении Страшного суда, коммунизма, всеобщего благосостояния, превращения Ростова-на-Дону в коммунистический город или города Шахты в город будущего (как гласили прошлые советские лозунги и нынешние российские баннеры на автотрассах). Однако «смысл истории» невозможно вывести из истории. Обсуждать вопрос о «смысле истории» можно, если его участники руководствуются одним общим убеждением: существует некое вечное идеальное бытие, в свете которого факты есть нечто *большее*, чем они есть на самом деле. И что все факты и события человеческой жизни и истории являются элементами некого целесообразного порядка.

Большинство людей не имеют ничего против такого убеждения. Склонны искать порядок и смысл там, где его нет. Причины этой тяги могут быть предметом особого анализа. Я буду исходить из факта: есть и такие люди, которые сознательно отвергают религиозную веру или не придают ей особого значения. Но и они не всегда свободны от стремления искать порядок в гигантской свалке старья и хлама под названием «человеческая история». Как показал Ницше, общим содержанием мира является вечный хаос, отсутствие порядка, выразительности, формы, красоты и разума. Но большинство не читало Ницше. А если читало – то не вдумывалось в следствия его философии. И потому отождествляет свою тягу к порядку с естественной необходимостью.

Эта склонность может быть обозначена как *живой реликт* мифологического сознания и свойство повседневного языка, который не задумывается о собственных предпосылках. Можно усмотреть в ней постоянное свойство человеческого сознания, открывающего не случайную, а необходимую связь с богом как источником смыслов, который находится вне времени и пространства. Описание такой связи тоже зависит от свойств языка и особенностей культуры.

В любом случае убеждение в том, что человек как-то непостижимо связан с вечностью – распространенный факт. Из этого факта вытекает определение человека через призму этой связи. Таковы предпосылки вопросов о «тайне» и «смысле» жизни и истории. Любое объяснение данной «тайны» и «смысла» через призму биологических потребностей не является убедительным, сколько бы опосредующих звеньев между природой и культурой мы не обнаруживали. Нет оснований приписывать биологическую обусловленность понятию вечности.

Стало быть, за распространенными убеждениями о бессмертии человека можно обнаружить два религиозно-мировоззренческие посылки: вечность проявляется в человеческой истории и жизни как некий абсолют, сконструированный сознанием и приписываемый бытию; этот абсолют (бог или заменяющая его абстракция) описывается в антропологических категориях. Проблема смещается к *типологии концептов* при «доказательстве» этих посылок и вытекающих из них мировоззренческих схем.

Перечисленные ранее вопросы входят также в предмет философии религии. Еще никто не дал строгого определения философии и религии. Но в любом случае религия содержит историю богов, людей и мира в целом. Философы и религиоведы продолжают спорить о том, что составляет суть и смысл религиозной веры. Одни говорят о религиозном чувстве, другие о священном опыте, третьи о специфическом ощущении святости, четвертые об организующей функции религии и т.д. Вряд ли здесь поможет какой-либо неологизм.

При изучении человеческих дел и отношений невозможно строго определить термины, которыми мы оперируем. Термин «религия» находится в той же ситуации, которая типична для слов «искусство», «общество», «культура», «история», «политика», «наука», «язык». Каждое из стоящих за этими словами явлений можно определить по-разному. Поэтому любая дефиниция религии тоже будет до определенной степени произвольной. Можно попы-

таться приспособить определение религии к фактическому использованию данного слова в повседневном языке. Но и в этом случае специалисты будут считать, что предложенная дефиниция охватывает слишком много или слишком мало.

В каждой культуре существует множество мифов, ритуалов, верований, магических актов. Какие из них заслуживают имени «религиозных»? – неясно. Но специалисты в сфере мифологии находят общий язык и без четкого различия мифологических и немифологических преданий. Отсутствие четко определенных границ используемых понятий вытекает не столько из логической беспомощности, сколько из самой природы исследуемой реальности.

Мне ближе традиция, в которой человеческие интересы рассматриваются как решающий критерий при определении религиозных форм поведения, верований и чувств. Поэтому важно учитывать различие между более-менее произвольным способом определения религии и неизбежно спорными суждениями, которые призваны объяснить роль и функции религии в обществе.

Можно считать религиозное чувство, переживание и опыт специфическим признаком религиозных явлений. Но возникает вопрос: как объяснить тот факт, что слово «священный» используют безрелигиозные люди? Одни говорят о священном праве собственности, другие о священной родине и ее «устоях», долге, рубежах, войне. Третьи что-то бубнят о святости человеческой жизни. Значит, религиозное чувство переплетается с экономическими, политическими и идеологическими интересами индивидов и групп. Границы между собственно религиозным чувством и переживанием, с одной стороны, и экономическими, политическими и идеологическими интересами, с другой стороны, становятся зыбкими.

Можно с помощью сократического метода найти комплекс специфических верований, которые входят в состав любой религии. Но и в этом случае можно потерпеть неудачу и убедиться, что множество пустое. Едва появляется фигура персонифицированного бога и претендует на главное место в этом множестве, сразу появляется упрек, что за бортом остался буддизм или другие религии, в которых нет представления о персонифицированном божестве. Правда, можно сосредоточить внимание на верованиях, которые содержат идею персонифицированного бога, а буддизм рассматривать как метафизическую или моральную мудрость, а не религию в строгом смысле слова.

При таком подходе допустимы любые определения религии. В том числе и те, которые считают религию средством удовлетворения светских (материальных, моральных, политических, психологических, культурных) потребностей. Тогда предмет исследования опять ускользает. Например, от Дюркгейма до сегодняшнего дня жива традиция квалификации религии как важного средства социальной интеграции. Однако такие дефиниции были и останутся историческими и эмпирическими. Их логическая и методологическая ценность остается проблематичной.

Нет согласия и в вопросе: что следует понимать под философией религии? В британской философии задача философии религии – изучение претензий религиозных верований на истину. Для выполнения этой задачи нужно анализировать специфические понятия религиозного языка, которые используются в теологических и философских дискуссиях. Эта задача отличается от типичных антропологических, социологических и психологических исследований. Они обычно изучают способы функционирования мифов и обрядов в жизни человека, их социальную, познавательную и эмоциональную роль, включая происхождение и отмирание под влиянием социальных изменений.

В Германии философия религии понимается иначе. Гегель, Шеллинг, Шлейермахер и романтики ограничивали философскую рефлексию о религии обсуждением ее смысла в исторических процессах. Они полагали, что каждый народ и человечество в целом в религиозных символах осознает свое «предназначение». Философия религии должна заниматься постижением способов такого выражения. Она появляется как важный и конституирующий элемент философии истории, понятой не столько как эпистемологический анализ историче-

ских высказываний, сколько как комплекс спекуляций относительно смысла, целей и принципов, управляющих историческими процессами. По сути, русские мыслители от Чаадаева до Бердяева не вышли за рамки такого подхода.

Каждая версия философии религии имеет свои достоинства и недостатки. При аналитическом подходе к высказываниям религиозного языка ученый может вообще не интересоваться историей религии и даже не знать ее. Если предметом исследования являются претензии религиозных суждений на истину, то не обязательно ориентироваться в культурно-исторических обстоятельствах постановки и решения «вечных вопросов» человеческого бытия. Достаточно подвергнуть эти суждения универсальным критериям истинности. Из этого достоинства вытекают недостатки.

Философ обычно изучает проблемы, которые интересны сами по себе. Как правило, они далеко отстоят от реальных интересов и забот верующих и не верующих людей. Аналитическая философия рассматривает религию как совокупность утверждений о боге, провидении, бессмертии, ангелах. И пользуется понятием истины, почерпнутым из теории познания и методологии науки. Аналитическую философию не интересует вопрос: как и насколько меняется представление об истине в рамках религии?

Те, кому не дают спать философско-исторические размышления о религии, обычно лучше знают историю религии и культурно-исторический релятивизм религиозных представлений. Зато они менее требовательны в аналитической части работы, включая объяснение используемых категорий.

Конечно, хорошо было бы связать достоинства обоих подходов к анализу религии. Намного проще объединить их недостатки. Меня больше интересует религиозная вера, а не обряды. Я откладываю в сторону древний спор, кому из них принадлежит первенство. Акт культа невозможно исключить из религии и ее описаний. Всякая универсальная религия обосновывает и имплицитно содержит **социально установленный культ вечного бытия**. Именно этот момент я буду иметь в виду. Никаких претензий на определение религии я не выдвигаю. Меня не интересует вопрос о том, совпадает ли социально установленный культ вечности (с точки зрения объема) с тем, что философы, антропологи, религиоведы описывают и изучают под названием «религия». Если даже не совпадает, – это пустяк.

По множеству исторических причин претензии веры на истину или познавательную ценность изучались в рамках великих мировых религий. Конфуцианство и даосизм, индуизм и буддизм, ислам и христианство создали не только мифы и культ, но и средства *интеллектуальной самозащиты* религии. Под таким углом зрения можно подойти ко всей духовной культуре, которая формирует мировоззрение многих поколений людей, но не может оставаться вне критики. Здесь я согласен с идеей *арелигиозности исследователя*, сформулированной М.Вебером. Ученый не обязан быть ни верующим, ни атеистом, ни апологетом, ни поверхностным критиком религии. Арелигиозность – это глубокое безразличие к религии как объекту исследования, «учтивое равнодушие» к религии, если использовать термин Альбера Камю. А также снисходительность к тому мировоззрению, которое сформировалось в ее рамках и к которому принадлежит ученый – по пространственно-временной случайности своего рождения.

Однако реализовать эту идею непросто. Христианство – вместительный склад множества попыток перевода веры на доступные естественному свету разума метафизические и мировоззренческие конструкции. Поэтому христианство до сих пор дает философам, политикам, моралистам, проповедникам, журналистам неисчерпаемый материал для спекуляции.

Аналитический подход к философии религии охватывает в первом приближении ту сферу, которая со средних веков известна под названием «естественной теологии». Это – рациональное исследование всех религиозных вопросов без ссылок на авторитет откровения. Но сам вопрос о возможности такого исследования был и остается предметом бесконечных споров среди верующих и неверующих, христианских и нехристианских мыслителей.

Одни целиком отбрасывают возможность использования разума для познания и изучения религии. Другие считают, что главные догматы христианской (и всякой иной) религии можно обосновать рационально. Если понимать религию как социально установленный культ вечности, то идея рациональной религии является скорее метафорой, а не научным понятием. Рациональная религия возможна в той степени, в которой возможно существование частной религии, которая есть дело индивида, а не секты или церкви. А если такой религии нет, то не существует и культ разума, хотя такое представление происходит из христианства.

Анализ претензий религиозной веры на истину – только малая часть изучения их познавательной функции. Логически безукоризненно утверждение: «Религиозная вера не содержит ни грана истины, но главная социальная функция религии заключается в удовлетворении познавательных потребностей». В истории мысли существует традиция именно такого истолкования религии. Согласно этому толкованию, религиозные мифы передают определенное знание. Объясняют непонятные явления природы. Дополняют незначительный объем рационального знания первобытного человека произвольными продуктами фантазии и деформированной информацией об истории человечества.

Толкование мифов как псевдонауки первобытных людей или ложного объяснения природы было связано с толкованием магии как псевдотехники. Магия – это компенсация неразвитых практических способностей человека воображаемой или фантастической технологией. Такой подход к мифам и магии можно проследить вплоть до античности. Он был популярен среди философов Просвещения, не признающих религию. И на протяжении XIX в. оставался основанием этнографических и антропологических исследований.

Конкурирующее толкование религии восходит к эпикурейцам. Здесь делается акцент на эмоциональную, а не познавательную функцию религиозных мифов. История религии объясняется страхом перед смертью, страданиями человека и его стремлением сохранить моральный порядок в мировом хаосе.

В первой половине XX в. рационалистические подходы к религии потеряли популярность. Зато ее приобрели теории Дюркгейма и Малиновского. В них подчеркивается функции религиозной мифологии – социальная интеграция, управление и контроль коллективных эмоций, поддержание и укрепление семьи, других социальных и политических институтов. Но во второй половине XX в. опять набрал силу интеллектуалистский подход к религии. После работ Леви-Стросса и его последователей стало ясно, что толкование мифов с точки зрения их познавательной функции весьма продуктивно.

Есть и различия между новым и старым рационализмом. Структуралисты сосредоточены на разложении мифа на части. А затем – на его новой сборке ради придания мифу нового, осмысленного порядка. Благодаря этому становится ясной *скрытая структура* любой религиозной мифологии. Верующие люди не осознают эту структуру. Но именно благодаря ей они обретают интеллектуальное средство для классификации и объяснения природных и социальных явлений и отношений.

Все функционалистские подходы к изучению религии и мифологии имеют общее эпистемологическое основание, независимо от акцента на познавательную, эмоциональную или социальную функцию религиозных мифов. Язык мифа невозможно перевести на «нормальный» язык, понятный на основании семантических правил, которыми пользуется исследователь. Предполагается, что понятийные структуры анализа есть ключ к шифру или словарь, который служит для перевода готового мифологического и религиозного материала на язык, доступный и понятный для современников. Этот ключ помогает увидеть скрытый светский смысл мифических повествований, хотя их отдельные элементы могут и не иметь аналогов в современном языке. Тогда в состоянии ли мы вообще понимать традиционные религиозные мифы и религиозное мировоззрение в целом?

На этот вопрос структурализм дает следующий ответ.

1. Религиозные мифы обладают скрытым смыслом, который замаскирован их внешним содержанием. Этот смысл недоступен не только сторонникам той или иной веры, но и человеку со стороны, включая исследователя, не согласного со структуралистским подходом.

2. Скрытый смысл религиозных мифов может постичь только арелигиозный человек. Внешний смысл религиозных мифов, включая его понимание самими верующими, служит для маскировки скрытого смысла. Явное содержание религиозных мировоззрений есть продукт самообмана, идеологической мистификации или просто незнания.

Эти выводы удобны для интеллектуального упорядочивания религиозных мифов и мировоззрений. Однако их невозможно вывести из эмпирического материала, поскольку они содержат нечто большее, чем обобщение повседневного опыта. Получается, что если люди говорят о боге как силе, действующей за кулисами событий, или о сакральных качествах вещей, – они имеют в виду нечто совершенно другое: социальные конфликты, сексуальную неудовлетворенность, потребность создания системы кодификации природных явлений. В то же время люди не отдают себе в этом отчет.

Конечно, создавая религиозные мифы, люди сказали о себе больше, чем хотели. Но ведь то же самое можно сказать обо всех продуктах материальной и духовной культуры. Нельзя утверждать, что действительный смысл религиозных верований сводится к пользе религии в различных светских сферах жизни. Такое суждение было бы произвольным, а не эмпирическим. Я буду исходить из противоположной посылки: не существует различия между явным и скрытым содержанием религии. В религиозных рассуждениях люди выражают то, что они хотят выразить.

Отсюда не следует, что философское размышление о содержании религиозных верований может дать какие-либо положительные или отрицательные результаты. К философии и всем остальным гуманитарным и социальным наукам можно отнести принцип: всегда найдутся аргументы для обоснования веры или доктрины, в которую *хочет* верить тот или иной человек. Несмотря на это анализ наиболее часто встречающихся религиозных концептов нельзя считать совершенно бесполезным. По крайней мере, мне кажется, он поможет понять статус и важность мировоззренческих вопросов.

Дискуссия между сторонниками и противниками веры и разума продолжается не первое тысячелетие. Сегодня в России сторонники веры и противники разума получили карт-бланш. Теперь они постоянно маячат на экранах телевизоров, на страницах прессы, в официальных церемониях и т.д. Строят церкви вместо бывших райкомов КПСС. Имеют еще ряд других экономических, социальных, властно-политических и культурно-идеологических преимуществ. На днях я увидел на заднем стекле впереди идущего автомобиля пропагандистский штамп: «Кому церковь не мать, тому бог не отец». Но этот факт ничего не меняет в содержании аргументов «за» и «против» религии. Полезно осуществить их систематизацию. Сторонники и противники веры и разума принуждали друг друга к выведению окончательных следствий из принятых посылок. Я здесь предложу свой порядок обсуждения этой темы.

Вечный калека

В мифологии и религии сформулировано две идеи: о бренности человека; о преодолении данной бренности путем понимания мира в целом. Обе идеи перешли в философию. Ведь большинство ее направлений до сих пор не отказалось от стремления охватить мыслью мир в целом.

Человек нищ и смертен. Эти его свойства неизбывны. Их невозможно устранить с помощью медицинских, технических и социальных средств. Человек осужден быть вечным калекой. Этот его недостаток христианская философия назвала «случайностью» человеческого

бытия. В этом смысле человек подобен всем остальным сотворенным предметам и существам.

Понятие случайности было заимствовано у Аристотеля. Философ писал о случайных суждениях, в которых утверждается, что определенные свойства могут быть присущи или не присущи вещам без нарушения их природы. Христианство использовало понятие случайности для обозначения конечного бытия. Каждое тело и существо могут быть и не быть. Существование не содержится в сущности. Поэтому ни одно из сотворенных тел не является необходимым. Всякое сотворенное бытие имеет начало во времени. Следовательно, наступит такой момент, в котором оно исчезнет.

Христианская философия развивала идеи Аристотеля. При этом различие между сущностью и существованием имеет фундаментальное значение. Это различие фиксирует отношение всякого сотворенного бытия (включая человека) к создателю. Бытие бога необходимо, поскольку в нем совпадают сущность и существование. Отсюда вытекает ничтожность, бренность, незначительность, нищета сотворенного мира. Однако эта ничтожность не является источником несчастья или симптомом падения. Человек – случайное бытие, и потому должен быть покорен богу. Такое его состояние необходимо, а не является результатом того, что он сам скатился с более высокой позиции. Бренность (т.е. существование во времени) и телесность человека не свидетельствуют о его падении. Они образуют естественные условия человеческого рода в соответствии с иерархией видов бытия.

Платонизм пошел другим путем, вывел иные следствия их тех же посылок. Главный факт состоит в следующем: человек есть конечное бытие, существующее во времени и не совпадающее с сущностью человека. Отсюда платоники вывели следствие: эмпирическое, фактическое и временное существование человека не совпадают с идеальным, совершенным и вневременным бытием человека в собственном смысле слова. Тем самым человек осуждался на вечное раздвоение и вытекающее отсюда страдание. Каждый человек должен осознать собственное падение, ибо ни один экземпляр человеческого рода не является тем, чем он должен быть на самом деле. Каждый человек осужден на вечную ностальгию по абсолютному совершенству. Физическая жизнь во времени рано или поздно закончится смертью. Эта жизнь не гарантирует совершенства. Человек заброшен в мир как конечное существо, осознающее свою смертность. Этот мир – место вечного изгнания человека.

Где же сущность?

Платон сформулировал вопрос, связавший философию с мифологией и религией: можно ли преодолеть случайность человеческого бытия? Случайность человеческого бытия – это приговор окончательный и обжалованию не подлежащий? Или же человек сохранил связь с необходимым, безусловным и вечным бытием, которая питает его надежду на самоидентификацию? Существует ли в человеке тяга и призвание к возврату к своей исходной полноте и необходимости?

Плотин и Августин считали, что бренность человеческого существования проявляется в его временности. Жизнь человека имеет начало и подчинена течению времени. Эту идею Плотин заимствовал у Парменида. И создал философскую конструкцию, которая позволила бы человеку вскарабкаться на одну ступеньку выше. Парменид рассматривал бытие как производное от единого или абсолюта.

Плотин не стремился доказать, что реальность единого может быть выведена из наблюдения за видами конечного бытия. Хотя существование единого трудно выразить словами, оно очевидно. Существовать в строгом смысле слова – значит быть неизменным во времени. Истинное бытие не подлежит времени и не делится на прошлое и будущее. Жизнь конечного и обусловленного бытия – это постоянное бегство от прошлого, которого уже нет, к будущему, которого еще нет. Поэтому всякое конечное и обусловленное бытие вынуждено воспри-

нимать себя с помощью памяти и воображения. Такое бытие не дано непосредственно. А только посредством различия между прошлым и будущим. Оно не тождественно самому себе, поскольку не может существовать в целом в каждый миг. Конечное бытие живет только в настоящем. Настоящее в любой момент своего бытия исчезает. И появляется позже только благодаря памяти.

Лишь Единое тождественно самому себе, и не относится к бренному миру. Его можно познать только посредством его самого. Говорить о едином надо без всякого соотнесения с любыми телами. Даже слово *есть* не годится для описания Единого, поскольку *есть* предполагает определенное отношение к видам бытия. Единое – это то, что никогда не отклонялось от самого себя. Только оно есть то, что есть.

Всякое сложное (составное) бытие не тождественно самому себе. Одно дело сказать, что нечто есть, и совсем другое – что нечто есть чем-то. Единое не подчиняется власти языка. Даже термины *единое* или *бытие* не подходят для описания неизреченного. Люди, которые познали единое, знают, о чем говорят. Но опыт этого познания они никогда не смогут передать с помощью языка.

Плотин нащупал проблему, которая выходит за пределы языка. О конечных телах нельзя сказать, что они *есть*. Они сокращаются и исчезают в каждый миг своего существования. Сами себя они не могут ни ощутить, ни познать, поскольку для этого требуется взгляд вперед или назад. По отношению к абсолюту слово *существовать* не является подходящим, ибо повседневный язык приписывает существование тому, что можно выразить с помощью понятий. Единое не имеет понятия. Разум не в состоянии приблизиться к единому путем отрицания: оно есть то, чем не является наш ограниченный мир, который мы ощущаем с помощью идей разума. Но этот путь – дурная необходимость, поскольку в действительности все обстоит наоборот: посредством негативности, ограничения и участия в небытии определяется только мир конечных и изменчивых вещей. Единое не есть *нечто*, ибо существование *нечто* предполагает отрицание других видов бытия. Существование *нечто* можно постичь лишь через фиксацию ему присущих качеств. Они находятся в оппозиции к иным качествам, которыми *нечто* не обладает. Существование *нечто* тождественно ограниченному бытию или участию в небытии.

Действительность состоит из ипостасей, каждая из которых образует ступень деградации (нисхождения) единого. Бытие или разум – это вторая ипостась единого, нисхождение которой обусловлено многим. Бытие (разум) есть возврат к себе. Сам факт такого возврата предполагает различие того, кто возвращается, и того, к кому возвращаются. Единое не может познавать, поскольку акт познания предполагает различие субъекта и объекта.

Душа – третья ипостась единого. Ее деградация обусловлена контактом с телесным миром, поскольку тело есть небытие и зло.

Материя и тела как ее качественная определенность – последняя ступень деградации единого. Материи присущи пассивность, несамодостаточность, беспорядок. Поэтому бытие материи тождественно небытию.

По мере нисхождения от единого к многому, от покоя к движению, от вечности ко времени оформляются очередные стадии все более ослабевающего бытия. Движение – это болезнь покоя, действие – ослабленное созерцание, время – закат вечности. Человеческий разум знает вечность только как отрицание времени. В действительности время есть отрицание вечности и бытия. Время – это ослабленное и больное бытие. Существовать во времени значит не существовать сейчас. Души не существуют во времени, но время существует в них, поскольку они сами создали время, обращаясь в чувственные тела. Вечность есть целое здесь и сейчас, жизнь бытия в строгом значении слова. Вечность не знает различия между прошлым (что уже прошло) и будущим (что должно произойти). Поэтому вечность тождественна реальному существованию. Истинное бытие равно небытию, а оба они тождественны неизменности и постоянству.

Душа находится в темнице бренности. Душа осуждена на постоянное бегство от небытия прошлого к небытию будущего. Но отсюда не следует, что этот приговор вечен. Плотин описывает не только бесконечную удаленность истинного бытия от наших чувств, разума, языка и понятий. Он дает также очерк обратного пути души из места изгнания к соединению с абсолютом. Этот возврат не является сверхъестественным возвышением человека над условиями его существования. Душа возвращается к самой себе, поскольку ее природа никогда не позволяет ей опуститься к абсолютному небытию. Если душа падает вниз, «на дно», то она нисходит ко злу и небытию, но не к абсолютному небытию. Если душа движется в противоположном направлении, она поднимается к самой себе, а не к некому иному бытию. Только двигаясь вверх, душа выполняет свое предназначение.

Таким образом, даже на самом дне падения человеческая душа никогда не отделена от своего источника. Обратный путь всегда открыт. Тело может притянуть душу к себе, но и в этом случае абсолютное бытие в ней не погибает, а только отдыхает. Абсолют расточает свои дары постоянно, а не один раз в жизни. Поэтому путь соединения с абсолютом не заключается в поисках того, что находится вне души. Наоборот, соединение с абсолютом состоит в разрыве всех связей души с внешними реалиями – телесным бытием и миром идей. Лишь таким способом душа может общаться с абсолютом, который творит в ней ее собственное и наиболее действительное бытие.

На мой взгляд, тексты Плотина вряд ли можно считать изложением философской системы. Ведь о главном предмете своих исследований он так и не смог сказать ничего вразумительного. Его творчество – наставление для тех, кто на свой страх и риск решит начать путешествие к абсолюту, предварительно освободившись от существования во времени. Тексты Плотина – это разновидность «душеполезных поучений», соединяющих религию с философией.

Платон запустил религиозно-философскую машину понятий и категорий, которые должны были отразить различие между эмпирическим фактическим конечным существованием человека, с одной стороны, и его аутентичным вневременным самотождественным существованием, с другой стороны. Плотин сформулировал идею, которая существует до сих пор. Ее можно определить как философское выражение мифотворческой тоски за потерянным раем и не менее мифической веры в того, кто является тем, чем он есть на самом деле. Абсолют или верховное бытие по отношению к человеку выступает как: апофеоз самодостаточности; бог-создатель мира; высшее благо; к себе зовущий верховный глас; место, в котором может осуществиться истинное призвание человека.

Платоники доказывали, что «естественное место» человека находится вне его реального существования. Описали призвание человека «Быть самим собой». Раскрыли путь падения и возвышения человека, его движение «вверх» и «вниз». Попытались выразить в словах и образах раздвоение человека на случайное и аутентичное существование. Открыть перспективу преодоления такого раздвоения на путях самообожествления. Отвергали тезис о том, что человек приговорен к случайному бытию. Верили, что движение к абсолюту открыто перед каждым из нас и человечеством в целом.

Одновременно Плотин показал связь между раздвоением и ограниченностью человеческого бытия. Мы вынуждены рассматривать окружающий мир как принципиально отличающийся от нас самих. Каждый человек находится в таком положении, когда его мысль и восприятие оказываются глубоко чуждым по отношению ко всему, что мыслью не является. Поэтому ликвидация отчуждения духа от самого себя упраздняет отчуждение духа от всего, к чему обращены его желание, познание и любовь. Время – главный источник такого отчуждения, поскольку оно предписывает нам воспринимать самих себя как уже прошедших или еще не пришедших.

Платон писал в одном из писем: «Человека, не сроднившегося с философией, ни хорошие способности, ни память о ней сроднить не смогут, ибо в чуждых для себя душах она не

пускает корней» (Письма. VII. 344 а). Философию можно считать действительно важным знанием. Занятый ею субъект не может просто воспринимать информацию о внешней по отношению к нему реальности. Он должен войти в интимную связь с объектом своего познания. Познание такого объекта есть способ улучшения собственного бытия, подъема его на более высокую ступень. Для платоновской традиции движение духа к освобождению от случайности есть постепенное устранение отчуждения между духом и его предметом.

Главный принцип платонизма гласит: все, что делает мир чуждым и принципиально отличным от человека, является одновременно источником его собственной ограниченности, слабости и несовершенства. В этом смысле возврат к самому себе есть присвоение внешнего мира как своего собственного. Это встреча человека с бытием. Единство любого человека образуется его единством с миром. Движение нашего знания в мир тождественно движению бытия к потерянному единству. Логика как процесс человеческого мышления о мире является одновременно вступлением самого бытия на путь к единству.

Плотин указывал, что диалектика не сводится к правилам и предписаниям. Она имеет непосредственное отношение к действительности, поскольку все виды бытия образуют ее материю. Диалектика движется к каждому предмету методически, так что обладание определенными правилами мышления тождественно обладанию вещами. Космическая одиссея есть история духа, а главный труд духа состоит в логическом мышлении. Движение понятий и движение бытия совпадают, диалектика теряет отличие от метафизики. Мысль в собственном смысле слова есть мысль, обращенная к самой себе. Если мысль относится только к внешним предметам, такое мышление неполно и не соответствует своему назначению.

По Плотину существует одна-единственная абсолютно неслучайная действительность, тождественная своему бытию. Случайность человека состоит в том, что его истинная сущность находится вне его. Эмпирическое существование человека противостоит его истинному существованию. Время – наиболее яркое доказательство человеческого падения. Возврат к необходимому бытию есть возврат к единству с абсолютом, хотя это единство остается непонятным и неизреченным. Такой возврат есть освобождение от времени и угасание памяти. Движение духа, освобождающегося от своих временных параметров, есть одновременно движение обусловленного бытия к безусловному. В этом движении исчезает различие между человеком и миром, познающим и познаваемым. Субъект и объект сливаются. Мир перестает быть чуждым человеку.

Зачем создан мир?

Философия Августина как христианская версия неоплатонизма отличается от версии Плотина. Августин оперирует классическими христианскими идеями воплощения бога и искупления греха, персонифицированного и активного бытия бога, который на основании своего личного решения приводит в движение весь этот мир. Но для Августина тоже случайность человека наиболее ярко выражается в его бренности. В «Исповеди» Августин с разных сторон обсуждает идею жизни между несуществующим прошлым и несуществующим будущим.

Время субъективно и является качеством души, переживающей собственное существование. Прошлое и будущее не имеют никакой иной формы бытия, кроме времени, которое охватывается человеческим мышлением. Лишь с точки зрения души можно осмысленно что-то утверждать о различии между прошлым и будущим бытием. Однако само это различие демаскирует случайность бытия, которое осознает тот факт, что его жизнь есть вечное исчезновение и падение. В каждый момент времени жизнь есть точка между двумя видами небытия.

Вслед за Плотином Августин описывает несамодостаточность человека, используя при этом идею божественного провидения. Персонифицированный бог и сотворенный мир – главная дихотомия бытия. Мир пребывает под опекой бога. Земля – это место изгнания чело-

века в результате совершенного греха, а не итог неизбежной эманации бытия. Освобождение от греха есть дело воплощенного в человеческом образе спасителя. Поэтому главное содержание текстов Августина сводится к молитве о помощи, а не является призывом совершить усилие, как у Плотина. Августин постоянно полемизирует с манихейством. Он строит свою концепцию бытия с опорой на идею всесилия бога и его отцовской власти над своим собственным произведением. Для Плотина бытие воплощено в образе пути вниз и вверх.

Понятие абсолюта у Плотина определяется «человеческой природой». Человек находит этот абсолют в себе и тем самым открывает «естественное» содержание вечности. Тогда как согласно Августину человек есть средоточие бессилия и нищеты, главным свойством которого является неспособность к освобождению собственными силами. У Плотина деление на естественное и сверхъестественное бытие лишено смысла. У Августина оно образует становой хребет метафизики. Бог не есть сущность человека. Бог есть непререкаемый авторитет и источник помощи для человека. Существование во времени – очевидное свидетельство ничтожности человека и его потребности в поддержке и заботе со стороны бога.

Короче говоря, Плотин и Августин по-разному аргументируют концепцию возврата человека к потерянному раю. Если мне нравится концепция Плотина, я должен отождествиться с абсолютом на основе своего личного усилия - суметь освободиться от давления телесного бытия и бытия понятий, хотя в принципе абсолют существует во мне. Если мне по душе Августин, я должен согласиться, что возврат в потерянный рай зависит, прежде всего, от благодати бога, а уже затем от моих усилий. Независимо от выбора этих путей надо осознать, что второй из них намного труднее. Ибо не предполагает снятия различий между создателем и сотворенным миром и не является возвратом к потерянному и забытому их тождеству. Начало этого пути связано с четким и беспощадным осознанием пропасти, отделяющей человека от бога.

Но обе концепции оставляют нерешенным вопрос: почему вообще бытие деградировало? Плотин и Августин неоднократно говорят, что этот вопрос выходит за пределы человеческого разума. Но оба мыслителя пытаются дать на него ответ. Причем, вопрос формулируется по-разному, в зависимости от способа понимания абсолюта: зачем единое выделяет из себя многое? или зачем бог создал мир? Единое у Плотина и создатель у Августина отличаются абсолютной самодостаточностью. Поэтому приписывать им «потребность» в неком ином бытии было бы богохульством. Это означало бы признать недостаточность единого или бога, которые могут найти удовлетворение только в сотворенном мире.

Однако вопрос «зачем?» или «почему?» не может быть поставлен в том смысле, когда мы стремимся найти и понять причину, извне определяющую божественную волю или активную эманацию абсолюта. Абсолютное бытие ни в чем не нуждается и ничего не требует. Оно просто не может быть совершеннее, чем есть. Следовательно, такое бытие не может указать и разъяснить человеческому разуму причину сотворения мира. Само представление об абсолюте-творце содержит противоречие. Если бытие абсолютно, то зачем оно создает еще что-то? А если сотворенная действительность содержит зло (в смысле чистого отрицания или отсутствия), то как объяснить, что это зло содержится в мире, сотворенном абсолютом, который по определению есть одно-единственное добро и сила?

Ответы Плотина и Августина на эти вопросы напоминают студенческий лепет. Плотин говорит, что все произошло от добра (блага) и все к нему стремится, поскольку каждое тело в нем нуждается, тогда как благо не нуждается ни в чем. Но если существует не одно только благо, а также то, что из него излучается, то предел данного излучения неизбежно оказывается злом – т.е. самим отсутствием или материей. И это происходит по необходимости. Тем самым путь от единого к низшим ипостасям содержит в себе некую неизбежность. Различные ступени зла оказываются необходимым коррелятом единого – абсолютного блага. Но почему высшее благо должно было выйти за свои собственные рамки и создать бытие, в котором оно не нуждается и которое приносит зло в замкнутую автаркию абсолюта? В этом контексте

Плотин высказывает идею об «избытке» добра. Единое есть само совершенство, оно ничего не ищет и ни в чем не нуждается. Абсолют переполнен благом и изливает его в мир. Излишек блага производит все существующее и сам этот излишек является разумом.

Иначе говоря, исходным пунктом христианской религии и философии является метафора «избыток (или излишек) блага». А с метафоры взятки гладки. Достаточно спросить: избыток по отношению к чему? – чтобы убедиться в отсутствии ответа. Августин просто постулировал, что здесь особо размышлять не о чем. И удивлялся «ошибкам», которые допустил в этом вопросе Ориген. По Августину, бог ни в чем не чувствует недостатка. Все мироздание есть продукт его благодати. Но он создал этот мир не по необходимости и не для удовлетворения собственной потребности, а просто потому, что является всеблагим. Даже создание мелких благ соответствует верховному благу.

Эта мысль склоняется на все лады в богословских трактатах и церковных проповедях. Ее можно обозначить как предел религиозной мудрости. Если исходить из тезиса об абсолютной самодостаточности Бога, то ничего больше сказать нельзя.

Что же это за «избыток блага», породивший этот кровавый и никому не нужный мир? Для человеческого разума благо остается относительным атрибутом. Невозможно понять, в чем состоит благо самодостаточного бога, адресованное всем и никому. Если считать бога самодостаточным и не нуждающимся в мире, который он сам создал, то благодать или доброта такого бога является словесной, а не действительной. Но этот вывод противостоит не менее важному постулату христианства: в боге не содержится никакой потенции. Можно предположить, что акт создания мира был нужен богу для того, чтобы он мог обнаружить свою доброту. Создавая мир, бог приобрел большее совершенство, нежели было у него до того. Однако этот вывод противоречит следующему принципу христианства: совершенство бога абсолютно и никакого приращения обрести не может.

Христианская теология и философия толкует, что нет смысла говорить о бытии бога «до» сотворения мира, поскольку время начало свой отсчет вместе с актом создания. А бог не подвержен и не подчинен времени. Он не занимался созданием часов до сотворения мира, как утверждал Августин. Отец христианства добавляет, что человеческий разум вообще неспособен познать бога внутри его интимной природы. Разум может познать бога только через свойства, которые относятся к сотворенному миру. В этом смысле мы говорим о боге как о всесильном, всеблагом и милосердном создателе, из чего втекает, что богу не присущи никакие относительные свойства. Он постоянно остается сам по себе, а созданный мир не принес ему ничего нового.

Но все такие ответы – объявление о том, что ответа нет. Если наше знание божественного бытия показывает это бытие только по отношению к человеку, а это отношение в самом боге реальностью не является, – то отсюда вытекает, что сам вопрос о бытии бога самом по себе и о его отношении к бытию бога «после» создания мира не может быть предметом вопроса. Разум вынужден остановится на формулах Священного писания, не вникая в их смысл!

Если мы объясняем мир через излишек божественной благодати, тоже возникают неразрешимые проблемы. Главная из них – наличие зла в мире. Почти вся христианская теология со времени борьбы с гностицизмом и манихейством в один голос утверждает, что зло не является бытием, а только чистым отрицанием, недостатком или отсутствием добра. Зло есть недостаток или отсутствие того, что должно быть. Поэтому понятие зла предполагает некую нормативную идею, с которой никогда не может сравниться бытие. Неравенство видов бытия не является злом, а только порядком, «складом и ладом», как сказал бы В. Белов. Зло в строгом смысле слова относится к сфере морали, вытекает из действий и помыслов разумных существ, а его причиной является грех непослушания. Разумные существа сплошь и рядом используют свою личную волю вопреки воле бога. Поэтому зло не есть продукт верховного существа.

В Священном писании есть фрагменты, которые совершенно четко указывают, что именно бог есть творец зла: «Я Господь и нет иного. Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствия; Я, Господь, делаю все это» (Исайя, 45, 6-7). «Смотри на действование Божие: ибо кто может выпрямить то, что он сделал кривым?» (Екклезиаст, 7, 13). «Трубит ли в городе труда, – и народ не испугался бы? Бывает ли в городе бедствие, которое не господь попустил бы?» (Амос, 3, 6). Однако все эти фрагменты при надлежащей экзегетике могут быть сведены к желаемой схеме: бог допускает зло, но не творит и не совершает его. Но вопрос о причинах создания мира, который порождает зло, остается открытым.

Христианские теодицеи осциллируют между *двумя схемами*.

Первая стремится доказать, что зло есть необходимый элемент совершенного космоса в целом, из чего вытекает: зла в строгом смысле слова нет, поскольку оно появляется только тогда, когда мы смотрим на мир с точки зрения части, а не целого. При глобальном подходе зло исчезает. Этот тип теодицеи характерен для доктрин, тяготеющих к пантеизму.

Вторая схема объявляет, что хотя зло есть только отрицание и частность, оно имеет своим источником искажение воли, отклоняющейся от требований бога. В этой версии бог не отвечает за зло мира. Однако из нее вытекает, что человек есть источник спонтанной творческой инициативы даже при совершении зла. Поэтому человеческая свобода, на основании которой можно противостоять богу, является абсолютно свободной и равной свободе бога, хотя без его всесилия и доброты. Этот путь ведет к признанию человека центром абсолютного и самостоятельного начала всяких действий. Тем самым человек есть абсолют, независимый от бога. Формулировка такого следствия принадлежит Декарту.

С первой версией (зло как условие добра) трудно согласиться, если понимать ее в том смысле, что зла просто не существует. Согласие возможно, если выдумать такую концепцию мира, в котором зло квалифицируется как необходимое условие будущей победы добра. Согласно этому популярному убеждению, зло нужно для того, чтобы добро засияло ярким светом. Из такого решения проблемы вытекает идея: зло и случайность необходимы для того, чтобы бытие могло обнаружить все свои возможности.

Идея отрицания решает вопрос о причинах создания мира, зла и преходящего содержания человеческой жизни. Это решение выходит за рамки ортодоксального христианского мировоззрения. Оно вынуждает высказывать положения, которых нет в Священном писании: мир необходим богу; только в создании мира бог достигает своей полноты; посредством несовершенной реальности, которую он сам создал, бог достигает высшего совершенства. Эти положения противоречат принципу божественной самодостаточности, сформулированной в Новом завете: «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи господином неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду» (Деяния, 17, 24-25). Тем самым бог входит в историю и умножает сам себя в сотворенном бытии.

Развитие через смерть

Эта идея первоначально была сформулирована Эриугеной. Затем она превратилась в тенденцию средневековой пантеистической мистики. Различные формулировки данной идеи переходят из поколения в поколение и завершаются в системе Гегеля. В общем виде речь идет об идее потенциального абсолюта. Опять мы наталкиваемся на выражение типа «деревянное железо», поскольку о потенциальном абсолюте можно говорить только как о половинчатом, чтобы не попасть в противоречие.

Такой абсолют актуализирует свою полноту путем выделения из себя неабсолютной реальности. Ее главные свойства - распад, случайность, зло. Данные свойства есть разновидности бытия бога и образуют необходимую фазу движения абсолюта к самореализации. В этой функции они оправдывают историю мира. Бог может вернуться к себе только в них и

через них, прежде всего в человеке. Создавая конечный дух, бог затем освобождает его от конечности и впитывает его заново в себя, благодаря чему обогащает собственное бытие. Дух человека есть средство созревания Бога. В процессе этого созревания дух обретает бесконечность. Преодолевает свое отчуждение от мира, лишается случайности, снимает различие между субъектом и объектом. В космической драме воплощен бог и человек одновременно. Поэтому тайна бытия абсолюта и тайна сотворенного мира раскрываются одним махом. Перспектива окончательного воплощения единства бытия придает смысл человеческому существованию как истории бога. В то же время человек реализует себя как божественное начало.

Конечно, я упростил эту схему. Сформулировал ее на языке, который трудно найти в текстах Эриугены, Экхарта, Николая Кузанского, Беме, Силезиуса и им подобных мыслителей. Такая интерпретация позволяет открыть в различных выражениях одну и ту же идею, которая лежит в основе философии Гегеля и Маркса, особенно их философско-исторических воззрений.

Например, в главном произведении Эриугены «О разделении природы» при разделении четырех видов природы эта идея сформулирована очень четко. Бог как создатель мира и бог как место окончательного соединения бытия выступает под двойным именем не потому, что этого требует ограниченность человеческого познания или дидактические соображения. Сопоставление обоих названий дает нам историю самого бога, который в конце сотворенного мира не остается тем же, кем он был в начале. История Бога есть история становления бога в мироздании. Свою концепцию бога и космоса Эриугена упорно стремится согласовать с истинами христианской веры.

Историки философии давно заметили подобие между указанным трудом Эриугены и «Феноменологией духа» Гегеля. В обоих произведениях повествуется увлекательная история о том, как дух возвращается к себе через сотворенный мир. Дух познает себя в своих продуктах и привлекает их к соединению с собой. В пункте соединения исчезают все различия, любое отчуждение и случайность. Но богатство сотворенного мира не подлежит простому уничтожению, а воплощается в высшую форму существования. Условием этой формы является распад и смерть.

Эриугена исходит из принципа: бог не предшествует миру во времени, ибо само время есть форма сотворенного бытия. Жизнь бога протекает в точке, в которой исчезает различие между прошлым и будущим. Бог неизменен. Акт сотворения мира не приносит Богу ничего нового и не является случайным по отношению к его сущности. В то же время постоянство и неизменность бога сразу оказывается сомнительной, едва возникает вопрос о причинах сотворения мира. Чудесным и невыразимым образом бог создает сам себя в своем создании, поскольку таким образом он заявляет о себе. Тем самым невидимый бог становится видимым, непонятный – понятным, неизвестный – известным. Отсутствие формы превращается в красоту, сверхъестественное – в естественное, простое – в сложное, необходимость – в случайность, бесконечность – в конечность.

Эриугена особо отмечает, что этот вывод относится не только к воплощению бога в слове, но и ко всему процессу нисхождения бога в сотворенный мир. В строгом смысле слова бытием обладает только бог, поскольку он есть бытие и форма всего существующего. Любая вещь с точки зрения бытия является богом. Высказывание «Бог есть» не совсем точно, поскольку оно должно означать, что бог есть нечто одно, а не другое. Однако если бытие есть само божество, то и природа божества в равной степени является творящая и творимая. Она творит самое себя посредством первопричин, в своих многообразных богоявлениях раскрывается человеку. Божество стремится вылезть из всех щелей, нор и захолустных углов, в которых оно остается неизвестным и непознаваемым для самого себя. Природа как божество является безграничной, сверхъестественной и сверхсущественной. Превышает все, о чем можно и невозможно мыслить. Поэтому акт создания мира можно понять через причины, от-

носящиеся к богу. Бог вступает в природу ради того, чтобы раскрыть себя и стать «всем во всем», а затем все опять возвратить в себя.

Однако не все создания участвуют в этом процессе наравне и непосредственно. Весь видимый мир существует для человека, чтобы он мог над ним господствовать. Поэтому человеческая природа разлита во всем мироздании. Космос в целом сосредоточен в человеческой природе и только благодаря человеку может достичь освобождения. Человек есть микрокосмос всего сотворенного бытия, содержит в себе все качества видимого и невидимого мира. Род человеческий – вождь и предводитель всего космоса, который вместе с ним падает и возрождается для соединения с божественным источником бытия.

Таким образом, акт сотворения мира Эриугена рассматривает как удовлетворение потребностей самого создателя. Мир возвращается к своему создателю в круговороте вещей и людей. Так возникает движение, которое возвращает богу его собственную природу уже иной, чем она была в начале. Эриугена ставит вопрос: зачем весь мир был призван к жизни из небытия, чтобы, в конце концов, возвратиться к своим причинам? И утверждает, что ответ на этот вопрос превышает пределы человеческого понимания. Тем не менее, формулирует ответ: все возникло из ничего ради того, чтобы сделать явными полноту и безбрежность божественной благодати. Чтобы всякая сотворенная вещь пела хвалу богу. Если бы божья благодать бесцельно и бездеятельно находилась в вечном покое, то бога хвалить было бы не за что. Когда бог изливается в видимый и невидимый мир и позволяет познать себя разумным существам, – тогда весь мир поет ему осанну. Благо, которое существует само в себе и само из себя, должно было породить иные блага, принимающие участие в первичном благе. В противном случае бог не был бы господином, творцом, судьей и распределителем всех благ.

Короче говоря, Бог должен выпрыгнуть из самого себя, чтобы в случайном, конечном и смертном сотворенном мире увидеть себя словно в зеркале. Вдоволь насладиться своим видом. А затем воспринять его в себя, чтобы стать еще совершеннее. Богаче на множество своих связей с миром. И перейти от замкнутой самодостаточности в положение познанного абсолюта, горячо любимого своими собственными созданиями. Так возникла схема «обогащающего отчуждения» для объяснения истории бытия. Перед нами образ бога, который развивается посредством собственного падения.

Каков смысл падения? Нисхождение в мир собственных созданий есть воплощение бога в низшую форму бытия. Следует ли отсюда, что зло как небытие тоже охватывается этой универсальной схемой? Выполняет ли зло необходимую функцию в цикле порождения и возвращения мира? На эти вопросы Эриугена не дает определенного ответа. Падение (и смерть) человека не может быть приписано его природе, поскольку последняя является благом по определению. Оно не может быть и делом свободной воли, поскольку и она есть благо, если даже относится к звериной и животной природе человека. Падение человека – продукт злых желаний, которые хороши для зверя, но противны природе человека. Эриугена не объясняет, как вообще стало возможным такое падение. Зато пишет об обратном пути человека к потерянному совершенству.

Рай – это первичная человеческая природа, созданная богом и предназначенная к бессмертию. Смерть и все прочие последствия изгнания из рая есть результат греха. Однако само изгнание есть свидетельство милосердия творца, который не захотел осудить человека на вечные муки. Он предпочел обновить, просветить, сделать человека способным пользоваться плодами древа жизни. Поэтому возврат человека к богу вернет падшим созданиям их первоначальное достоинство и величие. Этот возврат включает пять стадий: телесная смерть; воскресение; преобразование тела в дух; возврат духа вместе со всей природой к первопричинам; возврат всего космоса вместе с причинами, принципами, идеями к богу.

Данные первопричины (эссенциальные формы) не содержат в себе никакой случайности, изменчивости и сложности. Каждый род возникает посредством участия в своей форме,

а форма только одна и присутствует во всех экземплярах рода. В каждом отдельном человеке содержится одна и та же форма человечности.

С одной стороны, соединение человечества в боге предполагает падение единичности и отождествление всего человеческого рода со своим универсумом, который принадлежит к божественной сущности. Этот факт Эриугена объясняет единством и простотой первопричин, которые не принадлежат к созданиям и не имеют никакой пространственно-временной определенности. Все, что становится тем, чем оно не было, перестает быть тем, чем оно есть. Поэтому люди отличаются друг от друга случайными, индивидуальными качествами. Только в небе исчезнут случайные различия.

С другой стороны, Эриугена предсказывает неравное положение людей и на небесах. Хотя все будут спасены и зло целиком исчезнет, все же статус людей на небе будет зависеть от меры любви к богу.

Тем самым характер соединения человека и космоса с божеством остается неясным. Сохранится ли и до какой степени человеческая индивидуальность в окончательном контексте? – на этот вопрос ответа нет. Надо радоваться тому, что все, сотворенное богом, не пропадет, хотя изменится. Низшее не будет уничтожено, а станет высшим. Тело станет духом, но не потеряет себя, а возвысится. Дух соединится с богом. Высшие этажи бытия целиком поглотят низшие. Предводителем на обратном пути к богу будет человек.

Сам возврат не является насилием бога над природой, но вытекает из природы человечности. Воскресение и обратное путешествие в рай – естественное явление. Там всем хватит места, перенаселения не будет. Сверхъестественным даром божественной благодати будет только расположение людей в раю. В самом центре бог посадит избранных во Христе. Они-то и сподобятся обожествления. Таким образом, все вернется к истокам.

По окончании космической эпопеи бог тоже изменится. Обогатится познанием собственных созданий и еще более возвысится. При возврате к своим истокам человек тоже к ним не вернется. Он достигнет такого состояния, при котором повторное грехопадение и изгнание из рая невозможно. Единство с богом будет обеспечено навечно для всех людей, хотя обожествлены будут не все. Роль слова божьего не сводится к наделению людей бывшим райским счастьем и сожжению кондуита, на котором записаны все их грехи. Во Христе акт воплощения бога выходит за рамки спасения. Христос всех освободил, но одних возвратил в первобытное состояние, а других сподобил богу. Благодаря этому человечество вознесется до божественного достоинства.

Стало быть, можно утешиться тем, что грехопадение человека и деградация бытия не прошли даром. Раздвоение человека есть условие его возврата к самому себе на пути к богу. Человек заново найдет свою потерянную природу и даже выйдет за ее рамки в ходе уподобления богу. Конец истории космоса и человека заключается в обретении богоподобного бытия, самоидентификации, ликвидации различий между формами бытия. Все это ведет к совпадению духа с его предметом. В этом смысле логическим завершением системы Эриугены является тезис: зло открывается нам только тогда, когда мы смотрим на части; если же взглянуть на мир в целом, то зла вообще не существует; зло выполняет свою роль в божественных планах космоса и способствует тому, чтобы добро засияло еще ярче.

Иначе говоря, все становится оправданным. Эсхатологическая история космоса – это история саморазвития бога в человеческом духе и история возвышения человека до божества. Так возникает история спасения через отрицание бытия. Создание есть отрицание божества через дифференциацию, величину, конечность. Поэтому бог как место возврата может быть названо отрицанием отрицания. Хотя Эриугена не пользуется этим выражением (оно появилось впервые в трудах Экхарта). Независимо от этого Эриугена разработал систему категорий, которые позволили включить историю человека в историю становления бога. Оправдать муки человеческой жизни надеждой на обожествление. И открыть перспективу

окончательного соединения человека с самим собой через соединение с абсолютным бытием.

В XX веке Тейяр де Шарден построил свою теорию человека по образцу теологии Эриугены. Все ее идеи в разных сочетаниях встречаются в христианском мировоззрении на протяжении тысячелетия. В упрощенном виде они выглядят так:

Бог целиком тождествен самому себе. Человек раздвоен и никогда не может достичь тождества, поскольку существует во времени. Сущность человека находится вне его или в нем как стремящийся к воплощению нереализованный абсолют. Перед человеком открыта перспектива преодоления случайности бытия. Для этого человеку надо слиться с богом. Такое преодоление является не только призванием человека и его возвратом к бытию самим собой. Но также путем бога к полноте, которой у него нет без смертного и случайного сотворенного мира. Процесс выделения из бога обусловленного бытия для самого бога не является утратой себя ради обогащения и обретения будущего совершенства. Деградация бытия есть условие возвышения бога.

История мира – это история безусловного бытия, которое через зеркало конечного духа достигает своего окончательного совершенства. На окончательной фазе исчезает различие между конечным и бесконечным. Бог заново присвоит свои собственные творения, которые воплощаются в его бытии. Исчезнет различие субъекта и объекта, отчуждение между познающим духом и духом, вдохновляющимся любовью, и остальным бытием. Дух обретет бесконечность, в которой исчезнут различия отдельных предметов.

Эти идеи можно считать каркасом мировоззренческой машины христианской религии и философии. Каждая из них в разных сочетаниях встречается по сей день. К этим идеям можно относиться как к предмету глубокого внутреннего убеждения, а не поверхностной моды и общепринятого культа. В этом случае каждый верующий и неверующий оказывается перед вопросами: возможно ли спасение человека без преодоления его случайности и не образует ли такая случайность коррелят частичного, индивидуального бытия человека? если человек при любых условиях хочет быть самим собой, то разве должен он терять свою специфику, которая делает из него предводителя всех остальных видов бытия, чтобы в абсолютном безразличии просто перелиться в божественное бытие?

Потерять, чтобы найти

Такой вывод был сделан мистиками в целях освобождения от двусмысленностей системы Эриугены: зло не имеет причин – причиной зла является испорченная человеческая воля; никто не будет осужден на вечные муки – некоторые будут страдать вечно; бог есть воплощенное единство – на небе остается иерархия; вечные идеи разума принадлежат к творениям бога – вечные идеи являются бесконечными. Для преодоления этих дихотомий Экхарт сформулировал лозунг о взаимодействии и сотрудничестве каждого человека со своим богом. Кто хочет сотрудничать с богом – должен уничтожить себя. Кто хочет обрести все – должен от всего отказаться!

В этих лозунгах содержатся не просто моральные рекомендации для истинно верующих, а формулируется идея онтологической трансформации человека. Обладание всем есть обладание богом. Отбрасывание всего означает отбрасывание себя. Индивид стремится присвоить бога, но бог принадлежит целому. Чтобы ликвидировать это раздвоение, душа должна дойти до крайних пределов убожества и внутреннего опустошения. Только в этом случае она может присвоить бога в целом, бог станет свойством индивидуальной души. Тогда в ней не окажется ничего, что не было бы богом. Таким образом душа освободится от небытия, ибо всякое сознание есть чисто небытие. Тем самым мистическое самоуничтожение индивидуальной души парадоксально связано с уничтожением небытия. Каждый человек обязан

преодолеть сопротивление пустоты перед бытием. Только целиком освободившись от своей частичной природы, можно достичь божественного бытия.

Самоуничтожение необходимо для того, чтобы освободить подлинное содержание души. В каждой душе скрыта искра божья. Но она затемнена связью с другими созданиями и единичной ограниченной формой. В душе скрывается сын божий как нечто несотворенное. Соединение бога-сына с богом-отцом есть состояние, которое доступно каждой душе. Быть с самим собой значит быть с богом. Тем самым человеческая воля отождествляется с божественной и присваивает ее всесилие. Если человек нашел себя (т.е. нашел бога в себе), то исчезает проблема отношения между собственной волей и волей бога. Обе воли переплетаются и теряют различие. Проблема послушания или непослушания богу становится беспредметной. Для этих целей Экхарт проводит различие между двумя видами воли: частичной и случайной, которая стремится удержать частичное субъективное бытие в его отдельности; действительной волей, которая идентична с волей всеобщего бытия.

Одна из главных мыслей Экхарта – бытие есть бог. Все множество живых и неживых тел есть ничто, небытие. Вопрос о причинах мироздания для Экхарта несущественен. Правда, он разделяет бога как абсолют, совершенно не поддающегося описанию (типа Плотиновского единого) и бога как личный, персонифицированный абсолют. Бог реализует себя в создании как бог. Только в искре божьей, которую бог обронил в человеческую душу, он становится самим собой. В этом смысле можно говорить о боге как причине мироздания. Однако конечной целью человеческих усилий является не открытие, а уничтожение бога в себе. Чтобы вернуться в неизреченное единство абсолюта, надо сломать последний барьер, который отделяет душу от бога. Такой возврат происходит в познании и заканчивается состоянием, в котором исчезает всякое различие между познающим и познаваемым.

Таким образом, Экхарт повторяет несколько фундаментальных идей, о которых уже шла речь. Человек, по сути, есть небесное существо. Поэтому случайность человеческого существования является мнимой. Эта иллюзия должна быть разрушена усилием человеческого духа, благодаря чему дух обретает себя. Дух теряет свойства частичного бытия и обретает себя как целое, как божество, как абсолют. Партикуляризация бытия принадлежит к истории становления бога, который только в душе реализует свое бытие. В то же время душа не принадлежит к истории бога, но свободна от становления.

Пантеистическая мистика христианства сохраняет до сих пор большинство идей Экхарта, но они редко приобретают характер практических наставлений для верующих, а не спекулятивных рассуждений. Этому способствовал ряд социальных и церковных обстоятельств. Уже в XV в. Николай Кузанский предпринял попытку построить новую спекулятивную теогонию в духе неоплатонизма. Этот мыслитель стремился объяснить потребность, которой руководствовался бог при создании мира.

Подобно человеку, бог не свободен от честолюбия. Человек и мир нужны богу для того, чтобы они могли его познавать, любить и славить. Но если бог нуждается в чем-то помимо самого себя, то это противоречит принципу его самодостаточности. В конечном счете, Кузанский капитулировал перед противоречием, которое содержится в сущности бога.

С одной стороны, абсолютное единство бога есть все существующее, полная актуальность, не подлежащая увеличению и умножению. С другой стороны, бог снисходит в многообразный и дифференцированный мир и создает универсум как реальность бытия. Мироздание само по себе есть ничто, но поскольку оно существует, – оно есть бог. О мироздании нельзя сказать, что оно состоит из бытия и небытия. В качестве божественной сущности оно вечно, а поскольку существует во времени – не имеет никакого отношения к богу. Получается, что сотворенный богом мир есть конечная бесконечность.

Бог есть сумма всех вещей подобно тому, как единство образует сумму всякого множества, покой – сумму движения, настоящее – сумму времени, тождество – различия, равенство – неравенства. Однако в боге единство и тождество не противоречат свернутому в нем

многообразию мира. Обратное отношение называется экспликацией. Тем самым мир есть объяснение бога, множество – объяснение единства, движение – покоя. Но характер и содержание этой двухсторонней связи выходит за пределы человеческого разума и понимания, - констатирует Кузанский. Поскольку понимание и бытие бога тождественны, постольку понимание величины предполагает соответствующее увеличение бога, что абсурдно. Развитие бога посредством увеличения невозможно без нарушения его абсолютного единства или полной актуальности или исключительности его бытия.

Любой из предикатов бога должен от него отвалиться, если признать, что движение от единства к множеству (т.е. сам процесс сотворения мира) выводит бытие из состояния возможности в состояние актуализации. Так оно и бывает на самом деле, поскольку во множестве вещей бытием является только бог. Мышление попадает в ловушку, а вместе с ним и бог. Мы можем знать, что все находится в боге, поскольку он есть сумма всех вещей. Одновременно бог есть во всем, поскольку мир образует объяснение божества. Но как это происходит? – разгадать невозможно. Мироздание есть посредник между богом и величиной. Всеобщее бытие не может быть отдельным бытием. Проблема остается неразрешимой, поскольку бытие всех вещей есть только бог и ничего более.

Творчество Кузанского ярко обнаружило противоречия любого монизма. Выдающийся христианский мыслитель так и не смог найти окончательной формулы, которая позволила бы сохранить движение от единства к множеству как действительное движение – и в то же время не признать его движением от потенциального к актуальному бытию. Такой вывод несет в себе угрозу приписывания потенциальности самому богу. Мысль Кузанского оказывается распятой между двумя крайними возможностями, из которых ни одна не согласуется с догматами христианского мировоззрения: поддаться искушению и объявить все мироздание иллюзией и мнимым бытием, а единство абсолюта единственной реальностью или признать мир богом в становлении? А это значит лишить бога полной актуальности и провозгласить, что бог не является абсолютом. В лучшем случае он может стать таким абсолютом только в конце истории сотворенного мира и посредством этого мира.

В религиозном мировоззрении глубоко укоренено пантеистическое мышление. Оно осциллирует между членами альтернативы, присущей всякому монизму – религиозному и безрелигиозному, материалистическому и спиритуалистическому. Первая возможность ведет к обоснованию созерцательной позиции человека в отношении мира. В идеале она ведет к выработке морали и политики, проповедующей самоуничтожение. Вторая – к религиозному прометейству и политическому фанатизму, которые живут надеждой на самообожествление, обретаемое собственными усилиями.

Кузанскому ближе идея становящегося бога, чем идея сотворенного мира, остающегося чистой иллюзией. Человеческий дух есть медиум, благодаря которому происходит актуализация бога. Абсолют оказывается истинным осуществлением человека. Но путь возврата духа к актуализированному абсолюту становится парадоксальным знанием. Знание о целом и его отношении к частям вынуждено отбросить принцип противоречия в пользу принципа сосуществования противоположностей, который имеет свой прототип в математике бесконечных множеств. Благодаря знанию дух открывает себя как бога и усваивает бесконечный предмет своего знания как самого себя.

Так мыслители обнаружили в бытии бога неустранимое противоречие или неустранимую болезнь (если всерьез относиться к идее бога). Правда, вслед за Гегелем это противоречие можно объявить результатом спекулятивного мышления, ведущего к антиномии. Однако само размышление над природой божества ведет к выводу: бог должен содержать в себе качества, которые во всяком конечном бытии исключают друг друга. Если бог есть чистая актуальность, которая одновременно охватывает целостность бытия, то в бытии нет ничего, что было бы не реализовано в абсолюте, хотя и непонятным способом.

Христианские мыслители детально проследили антиномическую ситуацию, которую порождает развитие понятия абсолюта. В эту ситуацию попадает каждый человек, пользующийся этим понятием на уровне практики и теории (типа знаменитого чеховского лозунга «В человеке все должно быть прекрасно…»). У Кузанского это противоречие имело логическую, а не энергетическую форму. Оно не было столкновением действительных сил, из антагонизма которых может возникнуть нечто новое. Кузанский не пытался объяснить творчество бога, а скорее соглашался с неизбежными абсурдами, на которые наталкивается конечный разум, едва захочет выйти в сферу бесконечного. Других мыслителей такой вариант не устраивал.

Борьба и спасение

Противоречие и антагонизм как онтологические категории первоначально появляются в текстах мистика Беме. Историки философии сравнивают его сочинения с дымовой завесой, однако они сыграли важную роль в генезисе и обосновании диалектического мировоззрения. Представление о мире как сфере космического соперничества между враждебными силами было традиционным и постоянно повторялось в разновидностях манихейской теологии. Но одно дело признать всю действительность сценой бесконечной борьбы враждебных сил – и совсем другое выводить внутренний конфликт бытия из раздвоения единого абсолюта.

Творчество Беме – продолжение платонизма, который развивали пантеистически ориентированные диссиденты Реформации и в котором другими словами повторялись идеи Экхарта. Но Беме добавил к ним новые аспекты. В соответствии с традицией алхимиков он считал мир совокупностью знаков (символов), за которыми скрывается невидимая реальность. Можно видеть и читать эти знаки, чтобы постичь откровение. Но это откровение есть необходимость и потребность самого бога, который открывает себя посредством овнешнения. Бог – вечный искатель и открыватель самого себя. Он удваивает себя для того, чтобы из состояния недифференцированного покоя обрести статус истинного бога.

Таким образом, в понятии бога скрывается та же самая двусмысленность (двузначность), которую инициировали Плотин и Экхарт. В понимании Беме бог есть эхо двух первых ипостасей бога у Плотина. Видимый бог изливается в мироздание. Это преобразование происходит путем разделения единого абсолюта на противостоящие силы света и тьмы. Свет – это огонь божьей любви, тьма – огонь божьего гнева. Но человек имеет дело только с огнем, который разделяется на две стихии или принципа, чтобы один из них раскрывался и проявлялся в другом. Пламень гнева есть выражение великой любви. Свет познается только во тьме, ибо по-иному бог не может раскрыться. Покидая свою обитель и выходя за двери своего Я в поисках себя, бог неизбежно порождает раздвоенный мир. Свойства этого мира познаются благодаря тому, что каждое из них имеет свою противоположность. Беме имеет в виду внутренний антагонизм, который возникает в человеческом духе из-за противоположных стремлений и желаний.

Драма сотворенного мира разыгрывается в индивидуальной душе, которая распята между противоположно направленными силами. Бог есть действительная родина души, ибо он посеял в ней зерно благодати. В то же время душа стремится утвердить свою частичную волю. Поэтому возврат к богу невозможен без внутренней борьбы, в которой стремление к гармонии, в конечном счете, побеждает волю человеческого самоутверждения.

Теософия Беме может рассматриваться как темное и запутанное самосознание главной антиномии, содержащейся в идее абсолютного бытия, которое порождает из себя конечные виды бытия. Они есть проявление и отрицание абсолюта и не могут существовать одно без другого. Если абсолютный дух стремится раскрыть себя, – он неизбежно себя же отрицает. Мир конечных видов бытия несет в себе дуновение исходного единства. Этот мир не может целиком отвергнуть силу, которая притягивает его к истокам. Но он не может освободиться и

от воли самоутверждения в своей конечности. Такой конфликт в системе Беме впервые приобрел форму антагонизма двух космических энергий, которые вытекают из раздвоения исходной творческой силы.

Идеи самоограничения бога и нетождественности человеческого бытия бесконечно повторяются в мистике XVII-XVIII вв. Например, у Бенедикта де Канфельда и Анжело Силезия можно обнаружить те же схемы. Первый из них делал акцент на небытие всякого сотворенного бытия и бытийную исключительность бога. Второй (до перехода в католичество) на этом не останавливался и подчеркивал, что бог есть сущность и призвание человека. Зов вечности постоянно присутствует в каждом человеке. И если человек прислушается к этому гласу, то его случайное существование станет сущностью и необходимостью. А частичность единичного бытия растворится в бытии абсолютном. Поэтому противопоставление случайного и сущностного бытия для Силезия имеет принципиальное значение.

Правда, в некоторых эпиграммах Силезия случайность единичного бытия толкуется как зло. Наличие зла остается непонятным. Ликвидировать его можно только путем добровольного отказа от всех связей с самими собой. Но в основном Силезий повторяет эриугеновскую идею о цикле мироздания, который через сотворение мира возвращает богу его собственное бытие иным, чем оно было до того. Только в человеке бог находит своего двойника, который сравняется с ним в вечности. Лишь человек есть образ, в котором может проглянуть бог. И только во мне бог становится чем-то конкретным. Тогда можно сказать, что бог вступает в мир человеческой случайности, бренности и нищеты для того, чтобы человек мог в свою очередь овладеть богом.

Значит, перед нами одна и та же модель бога-абсолюта. Бог отчуждает собственное бесконечное бытие в конечное для того, чтобы снять эту конечность и возвратиться к единству с самим собой. Но это единство обогатилось всем тем, что обусловлено раздвоением духа, т.е. обращенным на себя рефлексивным единством. Случайность, зло и конечность означают одно и то же. Но они не являются напрасным и необъяснимым падением бога или продуктом его конкурента дьявола. А принадлежат к необходимой фазе диалектического круговорота. Творят отрицание бога, которое снимается следующим отрицанием. Отрицание отрицания есть уже дело конечного духа, по своей собственной воле стремящегося к самоуничтожению. И наоборот – возврат бога к себе есть одновременно возврат человеческого духа к себе, т.е. к вечности, которая образует его действительную природу и призвание и которую существование во времени по необходимости затушевывает. Самоуничтожение – предел невыносимого раздвоения и страдания, которые привносит время в жизнь духа. Правда, страдание необходимо для становления бога. В этом смысле оно рано или поздно будет излечено.

Идея случайности человека – органическая составная часть христианского мировоззрения в его пантеистической и мистической версии, независимо от католической, православной или протестантской ориентации грамотных или неграмотных верующих. Фенелон отмечал, что человек есть не то, чем он является. Человек есть то, что не существует. И воспринимает он сам себя как таинственную и непонятную связь между бытием и ничто. Человек есть то, что было и будет, и чего не было и не будет. Остается неясно, что такое человек в настоящем или что такое настоящее для человека. Это знать невозможно.

Настоящее как промежуток между бытием и ничто не может становиться и не обладает постоянством. Оно течет как вода. Его нельзя ни схватить, ни понять. Оно вечно ускользает из рук и разума, заканчивается в тот же момент, когда начинается. И никогда не может найти самого себя как устойчиво существующее. Настоящее никогда не может сказать «Я есть».

Все вещи в природе обладают бытием, за исключением человека. Если рассматривать его самого по себе – он не тот, каким существует. Человек полагает, что он есть «нечто». На самом деле он «ничто». Все вещи обладают бытием не сами по себе, а только в том, кто их создал. Человек тешит себя иллюзией, что он есть нечто существующее. Это жульническая идея!

Указанный образ раздвоенного человека, который оставил свое истинное бытие в боге, является универсальным для всего христианского мировоззрения и всегда связан с надеждой на возвращение в «родительский дом» бога. Случайное бытие человека есть негативная стадия вызревания абсолюта! – так можно сформулировать главный принцип не только христианской, но и всей религиозной мудрости. Разумеется, этот принцип требует дополнительного объяснения и аргументации. Их можно обнаружить у тех мыслителей, которые сознательно выходили за рамки христианской ортодоксии, закрепленной в существовании различных церквей. И хотя они обычно квалифицировались как вероотступники и еретики, проблема усвоения, культивирования и опровержения их концептов и аргументов остается вечно актуальной для любого человека, независимо от того, является ли он верующим или неверующим. Надо их рассмотреть детально. Об этом пойдет речь в следующих статьях.

Редакция приглашает коллег и читателей высказаться по вопросам, затронутым в данной статье. Как возникает и функционирует религиозно-философская машина? Куда нас везут ее водители? Лучшие ответы и комментарии неравнодушных пассажиров будут опубликованы.

Общие проблемы политической концептологии

НА МОСТУ ИНТЕРПРЕТАЦИЙ: Р. МЕРТОН И СОЦИАЛЬНАЯ ЭПИСТЕМОЛОГИЯ

В.Н. Порус
Высшая Школа Экономики

Аннотация: *Социологическая концепция «этоса науки» Р. Мертона рассматривается с точки зрения ее социально-эпистемологического содержания. Как «социальная эпистемология», эта концепция служит одним из источников «мифа о Большой науке», сыгравшего заметную роль в философии науки XX века. Критика этой концепции может рассматриваться как спор различных эпистемологических интерпретаций социологических данных о науке и действиях ученых в исследовательских ситуациях.*

Ключевые слова: *наука, поведение ученых, этос науки, социология науки, социальная эпистемология, интерпретация.*

Отношения между социологией познания и философией в прошлом веке могли бы стать канвой для нарратива о взаимных влечениях и размолвках, о склоках, выносимых на публичные форумы, и примирениях «со смешанными чувствами печали и радости, с улыбкой и в слезах»[1]. Эта «love-story» длится и в веке нынешнем, а тем временем уже подросло и окрепло дитя любви – *социальная эпистемология*, относительно каковой уместен чуть ли не кантовский вопрос: как она возможна? Точнее, как возможна эта *философская* (а не социологическая!) *дисциплина*?

На этот вопрос иногда отвечают «негативно»: говорят, что она представляет собой «*направление в социологии познания, которое исходит из того, что традиционные эпистемологические проблемы должны решаться социологическими методами и средствами*»[2], иными словами, это все же *социология*, уверовавшая, будто пришло время ей стать на место *философской эпистемологии*, не способной дать *научное* решение своих традиционных проблем. Поэтому дилемма заостряется так: либо философия познания продолжает *свой* путь, некогда начатый столь славно, но ныне поставленный под сомнение своей принципиальной незавершаемостью, либо она должна посторониться и пропустить вперед целый ряд научных дисциплин, исследующих познавательные процессы, среди которых социология по-

[1] Сейчас мало кто вслух повторит запальчивые слова «Социология познания часто служит удобной ширмой, за которой скрывается невежество» (Лакатос, 2008:434), но многие сторонники «рациональных реконструкций» не только истории науки, но и процессов познания как таковых, и сейчас произносят их «про себя». Впрочем, их оппоненты не менее радикально оценивают «эпистемологию без познающего субъекта», тем более – без

знания займет видное, если не главное, место. Самой же *философии* – пора отдыхать в кунсткамерах человеческих заблуждений, как к тому и клонил в свое время создатель научной социологии О. Конт.

Что противопоставить этой «негации»? Самое простое – поиграть словами. Дело ведь не в вывесках. Называем же мы философами мыслителей, доказывавших *невозможность* и *ненужность* философии в «век науки». Сменить вывеску – пара пустяков. Можно, например, назвать психологические исследования процессов познания «натурализованной *эпистемологией*»[3], а междисциплинарные науковедческие исследования – «*философией* науки»[4]. То же можно проделать и с социологией познания: и волки (ревнители научных методов решения философских проблем) будут сыты, и овцы (охранители традиционного статуса философии) будут целы. Правда, слова «философия» или «эпистемология» станут бирками, которые можно перевешивать как угодно, но вели-ка ли беда?

Более сложный путь избирают те, кто видит в социальной эпистемологии «постнеклассическую теорию познания», которая одновременно почтительна к философии и признает важность междисциплинарного взаимодействия. Речь, по-видимому, идет о некоем «объединении усилий», которое положило бы конец бесперспективному соперничеству философов и сторонников специально-научной ориентации на решение вопросов о познании. «Не стоит, впрочем, надеяться, – замечает И.Т. Касавин, – на какую-то фундаментальную устойчивость такого синтеза. Проблемы, над которыми задумываются социальные эпистемологии, являются философскими в той степени, в какой они оказываются неразрешимыми; специальные же задачи могут успешно решаться в рамках исторического, социологического, психологического и других способов исследования знания»[5]. Тогда для чего же нужна «социальная эпистемология»? По-видимому, она призвана *практически* решить противоречие, которое не поддается *теоретическому* решению: вместо того, чтобы ломать голову над всеобщими (а потому и абстрактно сформулированными) гносеологическими проблемами, не лучше ли поработать в рамках конкретных case-studies, а добившись каких-то интересных результатов, тем самым, возможно, пересказать в более понятных и точных терминах сами эти проблемы?

Позволю себе сравнение: социальная эпистемология выступает как бы мостом между философией и специально-научными исследованиями познания; она призвана сообщать результатам последних философский смысл (воз-вращать им «вечную» проблемность), а философские рассуждения – опускать с небес абстракции на почву фактов и эмпирических исследований. Но если так, надо приготовиться отвечать на трудные вопросы.

Во-первых, не ясно, кому, кроме философов-оптимистов, пребывающих в безмятежной уверенности относительно своей полезности и значимости для науки, он мог бы понадобиться? Найдутся ли охотники из числа ученых пройтись по нему в сторону философии? Во-вторых, мост качается, обе его опоры неустойчивы. Одна из них – от того, что философия принципиально плюралистична. Существует множество различных философских концепций, часто решительно несогласных друг с другом в интерпретации фактов и результатов, которые

социокультурного контекста, в котором *субъекты* (!) принимают эпистемологически значимые решения, как схоластику, лишенную чувства реальности.

[2]Мамчур Е.А. Еще раз о предмете социальной эпистемологии // Эпистемология и философия науки, 2010, т. XXIV, № 2. С. 72-74. - С. 47.

[3] «Эпистемология (или нечто подобное ей) должна занять свое место в качестве раздела психологии, а следовательно, естествознания в целом» (Quine, 1969: 78).

[4] «Я поддерживаю ту точку зрения, что философия отпочковывает от себя различные сферы знания. Все они – из лона философии, но приходит пора – и им оттуда следует вылезать. Вот и философия науки, с моей точки зрения, уже вполне созрела, чтобы порождать уже не философствование о науке, а *знание* о науке. Когда говорят, что философия науки – это раздел науковедения, я и с этим согласна, это правильная линия ее развития». Это реплика Н. И. Кузнецовой при обсуждении моего доклада (Порус, 2005).

[5]Касавин И.Т. Социальная эпистемология: к истории и постановке проблемы / Социальная эпистемология. Идеи, методы, программы. Под ред. И.Т. Касавина. М., «Канон+», 2010. С. 5-14. - С. 14.

поставляют специальные науки. Другая – от того, что никаких «чистых фактов» и «эмпирических обобщений», свободных от эпистемологических интерпретаций, специальные науки о познании дать не могут. Та информация, которая была бы свободна от таких интерпретаций (если это даже было бы возможно), никакого интереса для философии не представляла бы, а следовательно, сам мост был бы сомнительным элементом интеллектуального ландшафта.

Если мост все же нужен, сто́ит дать ему некое имя. Я бы назвал его Мостом Интерпретаций. В самом деле, отношения между различными философиями и науками о познании (в том числе, конечно, и может быть, даже в первую очередь – социологией познания) являются интерпретативными, и в этом их смысл. Конечно, имея множество различных интерпретаций, хорошо бы надеяться на «правильный» выбор из них. Для этого понадобится некий мета-уровень размышления о том, как различаются между собою философские интерпретации. Впрочем, ничего неожиданного в этом нет. Саморефлексия есть обычное состояние философии, и примеров тому сколько угодно. Особенно – в случае социальной эпистемологии. Ведь она претендует на *исследование познания и знания в контексте* (со всеми возможными и соответствующими «наслоениями», зависимостями, коннотациями и т.п.). Контексты, что вполне очевидно, бесконечно многообразны и переменчивы, поэтому результаты их исследований не могут быть истолкованы раз и навсегда, исходя из каких-то априорных философских установлений. На всякий контекст не напасешься установлений, да и априорность противоречит контекстуализму как концептуальному основанию социальной эпистемологии[6]. Но контекстуальны и знание о знании, и рефлексия над ним и т.д., *ad infinitum*. Контекстуальность есть принцип, примиряющий с логическим кругом, и это – приходится признать – есть неизбывное положение, в каком очутится всякий, кто ступит на Мост Интерпретаций.

* * *

Об этом, я думаю, и свидетельствует восприятие философами идей социологов познания, в том числе Р. Мертона, одного из создателей этой ветви социологии. Пожалуй, ни одна из статей или книг, написанных философами, начиная с 50-х гг., где так или иначе затрагивалась тема научного этоса, не обходилась без ссылок на его работы (Merton, 1972, 1973; Мертон, 2006), в которых была сформулирована так называемая система этических императивов CUDOS[7]. В «нормативной структуре науки» Р. Мертона даже видели модель демократического общества, сближая ее с идеалом «открытого общества» К. Поппера. Философский аспект мертоновской концепции выглядел очевидным, и критики часто переносили ее обсуждение на страницы собственно философских работ без каких-либо оговорок. Тем более, что сам Мертон, по-видимому, не был слишком озабочен различиями между социологией и философией науки. Речь шла о принципиальных установках, какими должны руководствоваться ученые в своей деятельности, об их ценностном характере и о том, что именно такие, а не иные установки составляют комплекс условий, при которых наука живет и развивается «правильно», то есть достигает своих целей наиболее эффективным образом и кратчайшим путем. По сути, «Этос науки» Р.Мертона и «Большая наука» К. Поппера, хотя и с разных сторон (Поппер акцентировал, что лучшим этосом в науке является соблюдение требований методологического фальсификационизма), подходили к определению неких «трансцендентальных» условий познания, разумеется, с тем радикальным отличием от классического трансцендентализма, что сами эти условия создаются людьми и действуют только до тех пор, пока с ними согласны, по меньшей мере, представители научной элиты. Но считается, что вывод об *универсальности* норм этоса и

[6]Касавин И.Т. Контекстуализм / Социальная эпистемология. Идеи, методы, программы. Под ред. И.Т. Касавина. М., «Канон+», 2010. С. 15-35.

[7] Аббревиатура, составленная из заглавных букв названий этих императивов: communism, universalism, disinterestedness, organized skepticism; их содержание анализировалось бессчетное число раз [см., например: (Мирская, 2008; Демина, 2008)].

ценностей в науке, обеспечивающих ее существование как таковой, был сделан Мертоном на основании *исторического* и *социологического анализа научных институтов* (в их взаимодействии с социальными, идеологическими и религиозными институтами) с позиции методологического функционализма и в дальнейшем использовался при объяснении различных социальных дисфункций, в особенности тех, какие вызываются разрывом между целями культуры, с одной стороны, и возможностями социальных институтов обеспечивать достижение этих целей.

Если так, то это вывод *социолога познания*, а его философский смысл может быть выявлен соответствующими интерпретациями. Одним *философам* эта концепция нравилась, другие ее критиковали (за пресловутую утопичность и несоответствие историческим реалиям науки), но и те, и другие искали в наблюдениях и выводах Мертона подкрепления своим мыслям о науке и этике ученых. Это напоминает историю с *историком науки* Т. Куном, которого причислили к философии науки XX века и даже сделали одним из ее корифеев: одни затем, чтобы найти в его концепции аргументы в пользу релятивизма, другие – чтобы на ее примере показать пагубность последнего для научной рациональности, третьи – чтобы, наконец, перевести отвлеченные философские рассуждения на язык историко-научного исследования[8].

Еще раз: философское прочтение социологически устанавливаемых норм, соблюдаемых в научном сообществе, есть не что иное, как *интерпретация*. Если социологические наблюдения за поведением ученых позволяют сделать какие-то обобщения о связи этого поведения с результатами научной работы, то истолкование этой связи и выбор обобщений (то, что они не однозначны, подтверждается социологической практикой) зависят от того, каких философских взглядов придерживается либо сам социолог, либо тот, кто использует его выводы для целей философии.

Например, «организованный скептицизм» как будто должен означать эти-чески фундированную готовность ученого поставить под сомнение даже ос-новы своей науки, не говоря уже о частностях, если к тому подвигает опыт и логика, а если эти основы – мнения высших научных авторитетов, то *отказаться от этих мнений ради истины*. Это и есть философская интерпретация: предполагается, что ученые следуют нормам этоса, поскольку верят в *существование истины*, какой бы смысл ни вкладывался в этот термин. Разумеется, вера ученого в истину – не та, что вера богослова[9], но у них есть общее: они верят в то, что истина есть *цель* познания, существующая независимо от движения к ней. Поэтому успешность познания измеряется тем, приближает оно к этой цели или не приближает, а то и отдаляет от нее. Именно поэтому функциональность институтов, предназначенных для осуществления познавательных процессов, зависит от того, что перевешивает: комфорт согласия ученых с мнениями научных авторитетов или степень приближения к истине, хотя бы это приближение и было для них сопряжено с трудностями и беспокойством. Можно сказать, что именно «классическая наука», по сути, ратовавшая за рациональную свободу от религиозной догматики, в известном смысле, все же может считаться законной наследницей богословия, взяв у него жизненно важное для себя – уверенность в том, что познание направляется к истине, и ради достижения этой цели нельзя постоять за ценой.

Та же интерпретация уместна и по отношению к другим нормам «мертоновского» этоса науки. Это очевидно. Не очевидно следующее: допускают ли эти нормы иную интерпрета-

[8] Т. Кун, сохраняя достоинство историка, был не против, чтобы его концепцию считали философской (если уж так хочется философам). Во всяком случае, он заявлял, что его теория «раскрывает природу науки» и указывает путь, «по которому должны следовать ученые для того, чтобы их предприятие было успешным» (Кун, 2001: 266).

[9] Сравнивая научное и религиозное понятия истины, Э. Жильсон пишет: «Я знаю благодаря разуму, что нечто истинно, потому что я вижу, что оно истинно, но я верю в то, что нечто истинно, потому что Бог сказал, что оно истинно. В этих двух случаях причины моего принятия истины совершенно различны, и, следовательно, науку и веру следует рассматривать как два совершенно разных типа принятия истины» (Жильсон, 1992: 35).

цию, отличную от названной? Другими словами, возможно ли, чтобы мертоновская концепция этоса науки предстала в виде другой социально-эпистемологической теории? Например, такой, в которой идейной подоплекой «организованного скептицизма» была бы вера не в истину, а во всесилие критического метода, дающего возможность науке избавляться от заблуждений, т. е. убеждение, лежащее в основе «критического рационализма» К. Поппера (напомним, что попперовское представление о целях познания сильно отличается от «классического»). А не совместим ли «организованный скептицизм» и с «догматизмом», царящим в куновской «нормальной науке»? В самом деле, ведь этот догматизм относится только к фундаментальным положениям теории, взятой вместе с ее методами за «парадигму», но в рамках стандартной деятельности по решению конвенциональных задач даже самому преданному ревнителю «парадигмы» отнюдь не противопоказано быть критиком самого себя; даже напротив, ведь все сомнения, неизбежно возникающие в трудных поисках разрешения научных «головоломок», должны относиться именно к исследователю, к его способности правильно использовать возможности, заключенные в «парадигме». Но если так, то «универсальные» принципы этоса, оказывается, могут быть «скорректированы», приспосабливаясь к тем или иным философским интерпретациям.

На Мосту Интерпретаций может происходить сложное взаимодействие между интерпретирующими и интерпретируемыми положениями; философский взгляд на данные социологов может изменить если не данные, то их отбор с последующим обобщением, имитирующим «строго научный» вывод. Отсюда вопрос: в каком смысле можно вообще говорить о так получаемых выводах, что они представляют собой «нормы» научного этоса? Иначе: эти «нормы» *выводятся из социологических исследований* или *являются следствиями определенной философской интерпретации* последних?

В своих ранних работах Мертон считал нормой все, что полезно и разумно для функционирования науки[10]. Но в науке – различные нормы: «образцы практической деятельности, с одной стороны, и образцы их восприятия как актов познавательных, с другой», «нормы речевой коммуникации», образцы систематизации знания»[11]. Этос ученого складывается из объединения и пересечения этих норм, которым можно придать и этический смысл. Что может сделать социолог науки, исследуя эти нормы?

Методологические действия ученого становятся нормативными, если они следуют образцам, какие в достаточной мере зарекомендовали себя гарантами успеха. Такие нормы регулируют построение различных типов теорий, осуществление наблюдений и формирование эмпирических фактов (Степин и др., 1996). Принятие этих норм, как правило, осуществляется «автоматически»: если ученый работает в рамках какой-то научной традиции, он следует ей как чему-то само собой разумеющемуся. Это почти то, что Л. Флек называл «стилем мышления» (Флек, 1999), а Т. Кун – приверженностью «парадигме» (Кун, 2001, Kuhn, 1963, 1974). Социологический анализ таких норм возможен, но чаще он касается фактов, когда ученые по каким-то (заметным для социолога) причинам *нарушают* эти нормы или *удерживают* их под давлением внешних обстоятельств, например, когда какие-то социальные институты пытаются навязать ученым свои представления о ценностях; тогда именно сопротивление этому давлению может стать силой, охраняющей суверенитет науки (Barber, 1952). В какой мере успешным может быть это сопротивление, вопрос всегда открытый; в различных ситуациях и контекстах ответ может быть разным. Но всякий раз речь идет о чьих-то конкретных поступках, решениях, выборах. Значит, и социологическое исследование этих ситуаций должно быть конкретным, привязанным к фактам. Можно ли из него вывести универсальные «императивы» поведения ученых?

[10]Мирская Е.З. Этос науки: идеальные регулятивы и повседневные реалии// Этос науки. Под ред. Киященко Л.П., Мирской Е.З. М., «Academia», 2008. С. 123-143. - С. 130.

[11]Розов М.А. Нормативная структура науки / Этос науки. Под ред. Киященко Л.П., Мирской Е.З. М., «Academia», 2008. С. 184-204. - С. 197-198.

Ответ, скорее всего, отрицательный. Слишком разнообразны мотивы по-ведения конкретных людей, работающих в науке (как, впрочем, и во всякой другой сфере деятельности). Слишком неоднозначна связь этого поведения с результатами научного исследования. Ведь мыслимы ситуации, когда не соблюдение каких-то этических требований, а наоборот, их нарушение приводит к успеху. Например, если стимулом для ученого является получение более или менее крупного вознаграждения за результат (изобретение, внедрение новации и т. п.), то он способен пойти напролом к этой цели, не считаясь с моральными сдержками, и его шансы на успех могут оказаться выше, чем у «бескорыстного» служителя истины, критически относящегося к промежуточным результатам своего исследования и потому упускающего приоритет, проигрывающего в конкурентной борьбе.

Это означает, что нормативный этос науки, как его изображал Мертон, является, по сути, следствием некой, стоящей за кулисами его социологии, концепции «идеальной науки», которая служила «ситом», позволяющим се-парировать социологически значимые факты, отсеивать одни из них и принимать в расчет другие, соответствующие концепции в целом.

Но тогда приходится признать, что эта концепция выступает в роли *схемы интерпретации социологических фактов*, и потому теорию «научного этоса» следует отнести к социальной эпистемологии. А это означает, что ее критика (явная или неявная) со стороны альтернативных, например, «исторических», интерпретаций эволюции науки (Т. Кун, С. Тулмин, Дж. Агасси, П. Фейерабенд и др.) – спор между философскими теориями, а не попытки ее эмпирического доказательства или опровержения. Разумеется, то же самое можно сказать и о совпадениях этических характеристик науки, по Мертону, и «кодекса научной чести», по К. Попперу[12]. В концепции Куна «нормальный» ученый *морально* наступает на горло своему скептицизму и лезет из кожи вон, чтобы продемонстрировать всесилие «парадигмы» (а значит, и правоту господствующих мнений) при решении задач-головоломок. Но К. Поппер видел в этом *моральное уродство*, заслуживающее снисхождения, только если допустить, что ученый «плохо обучен» или является «жертвой индоктринации». Больше того, он называл это уродство большой опасностью «для науки и, возможно, для нашей цивилизации»[13], имея, конечно, в виду взаимосвязь между «критическим рационализмом» и демократией, которую, ему казалось, разрушает как догматизм куновской «нормальной науки», так и его изнанка – релятивизм.

Все это, повторю, есть конкуренция философских интерпретаций социологических, исторических, социально-психологических данных. Если продолжить сравнение, спор происходит на качающемся Мосту, который от усилий спорящих раскачивается еще сильнее. Чтобы укрепить свои позиции, кое-кто из спорящих иногда сбегает с Моста на тот берег, где науковеды (социологи, психологи, историки и пр.) собирают факты о науке и поведении ученых, заимствует эти факты у них (или сам принимает участие в их сборе), а затем, возвращаясь на Мост и ссылаясь на эти факты, включает в спор какую-то иную интерпретативную схему объяснения. Это происходит, когда в этом есть нужда, то есть когда существующая схема подвергается слишком внушительной критике, когда она все больше занимается самооправданием, чем объяснением фактов, и потому вынуждена уступать оппонентам; иногда к этому ее подвигает изменившееся умонастроение ученых и философов, изменение социально-культурного статуса науки и т.д. Тогда социальная эпистемология на Мосту Интерпретаций выполняет определенный культурный «заказ»: она создает *мифы* (в том числе и в первую очередь – *мифы о науке*), которых требует изменившаяся культурная среда. Эти мифы

[12]Лакатос И. Фальсификация и методология научно-исследовательских программ / Лакатос И. Избранные произведения по философии и методологии науки. М., «Академический проект», 2008. С. 281-462. - С. 287.

[13]Поппер К. Нормальная наука и опасности, связанные с ней // Кун Т. Структура научных революций / Лакатос И. Избранные произведения по философии и методологии науки. М., «Академический проект», 2008. С. 525-537. - С. 529-530.

затем выстраиваются (более или менее удачно) в новую *мифологию*, призванную возвратить культуре устойчивость, время от времени колеблемую историческими изменениями, в том числе трансформациями смыслов «культурных универсалий»[14]. Характерная особенность этих мифов в том, что они «облачены в научные тоги», то есть оформлены так, как это принято в науке[15], но отличаются своей очевидной «ангажированностью», подчиненностью философски определяемым целям. Именно поэтому социально-эпистемологические концепции так избирательны по отношению к интерпретируемым фактам (тому материалу, который поставляет им комплекс научных дисциплин о познавательных процессах).

Сам Мертон (его трудно упрекнуть в невнимательности к фактам) во имя поддержания своей интерпретативной схемы объявлял факты, свидетельствующие о том, что реальное поведение ученых значительно отличается от «нормативного», свидетельствами «патологии» этого поведения. Совсем как философы, пытавшиеся объяснить почему добрые по природе люди совершают неправедные и свирепые поступки, ссылались при этом на «искажения» природы, идущие либо от неправильного устройства человеческого общежития, либо от духовной патологии, коренящейся в болезнях или действиях «темных» сил. Так недобросовестная конкуренция, своекорыстие, специфический ressentiment со стороны алчных и мелкодушных работников науки причисляются к «порокам», подлежащим осуждению. Отсюда – один шаг до изображения современной науки специфической сферой отчуждения, вызываемого властью денег и превращением знаний в товар, участвующий во всеобщем обмене[16]. Мертон этого шага не сделал и не собирался делать. Ему было достаточно указать на «амбивалентность» этоса науки: чтобы остаться самим собой, ученый может и должен находить разумную середину между различными, даже противоположными модусами поведения, не падая в крайности, но и не уклоняясь от существа дела: поведение должно быть таким, чтобы оно способствовало «нормальному» развитию науки, а не тормозило его (Merton, 1976). Это воскрешение аристотелевского учения о «золотой середине» в этике на почве социологии науки почти умиляет своей наивной деловитостью. Но миф о «Большой науке» (или о «Классической науке», если угодно) оставался для Мертона позицией и ценностью, расставаться с которыми он не хотел и не мог.

Правда, этот миф не был закосневшим и прямолинейным. Когда требовалось, Мертон вносил в него важные добавления и «уточнения», а некоторые из них получили не меньшую известность, чем «нормы этоса». Например, это «эффект Матфея», ставший хрестоматийным в социологии познания: маститый ученый и малоизвестный труженик науки за одинаково значимые результаты получают отнюдь не равное вознаграждение (как в виде почестей и признания со стороны научного сообщества, так и в виде различных выплат) (Merton, 1968, 1988). Так устроен мир (и не только научный!), ничего не поделаешь, да и делать не надобно, ведь это не мешает, а скорее, даже помогает «правильно» или «успешно» развиваться научным (и не только научным!) институтам. Ну, да, «эффект Матфея» как-то не очень согласуется с нормой «бескорыстности» (разве что мы предположим, что получающий почести и деньги мэтр скрепя сердце мирится с этими обстоятельствами, из скромности или застенчивости не выступая против них; но такое предположение не выглядит правдоподобным; пример Григория Перельмана потому и взволновал общественность, что явился исключением, подтверждающим правило, да и мэтром-то замечательный математик фактически не был и не захотел им стать!). И что с того? «Признание со стороны сообщества может служить личной заинтересованности ученого в получении материальных и моральных благ, однако добиться

[14] Подробнее об этом я рассуждаю в (Порус, 2002).

[15] Наука и миф – проблема, которую нельзя решать плоскими противопоставлениями в духе наивного «прогрессизма». Об этом – глубокие работы К. Хюбнера (см.: Хюбнер, 1996; 1999), см. также: (Депперт, 1999).

[16] Этот шаг по пути, проложенному К. Марксом, в двадцатом веке делали многие теоретики, рассуждавшие о науке. См., например, многочисленные высказывания о науке Э. Фромма.

его можно только путем скрупулезного соблюдения норм научного этоса»[17]. Вот и все, и не стоит, право слово, слишком задумываться над тем, что означает «скрупулезное соблюдение норм». В этом вообще суть мифа, он безучастен к критике – пока он нужен. А он действительно нужен, ибо призван вдохновлять тех, кто верит в то, что наука тем функционально успешнее, чем в боль-шей степени ученые следуют проверенным временем нормам.

Когда же приходит пора новых мифов (а чтобы они вошли в силу, надо вначале дискредитировать старые!), на интерпретативную схему Мертона начинают падать упреки: она де неправильно (упрощенно, утопично и т. п.) описывает и объясняет действительность науки. Эту критику иногда изображают как «дальнейшее развитие мертоновской социологии науки», а иногда – как разрыв с ней[18]. Указывают, что мертоновская модель поведения ученых, якобы всегда обеспечивавшая науке наилучшую функциональность, была только ошибочной «универсализацией» особенностей, какие имели место только в определенный период развития науки. Кроме того, «она описывает статичный набор норм и не учитывает переменные предпосылки, которые могут оказать влияние на продуктивность интеллектуальных процессов»; для изменившихся исторических условий, в каких работает наука, лучше подходит «модель теоретических групп» Гриф-фита и Маллинза (Griffith, Mullins, 1972), которая могла бы быть «интегрирована в более общую картину научных инноваций, если бы включала также структуру соперничающих теоретических групп и длинной последовательности стадий, через которые они проходят» (Коллинз, Рестиво, 2002). Обсуждение «сетевой концепции» социологии науки Р. Коллинза (Коллинз, 2002, 2009), которому принадлежат эти замечания, здесь неуместно, но отметим, что его критика явно направлена на *метод социологических исследований* Мертона, а не на *философскую интерпретацию* последних. Такую критику мертоновской концепции можно считать типичной. Между тем, учитывая сказанное выше, «за спиной» этой критики часто стоит спор различных эпистемологий.

Для примера можно взять критику мертоновской концепции И. Митроффом. В 70-х гг. прошлого века он опубликовал данные, полученные при изучении действий группы ученых-селенологов и свидетельствующие, по его мнению, о том, что этос успешного научного коллектива прямо противоположен тому, какой Мертон считал свойственным науке как таковой (вместо «универсализма» – «партикуляризм», вместо «бескорыстности» – «скаредность», вместо «организованного скептицизма» – «организованный догматизм» и т. п.) (Mitroff, 1974a, 1974b). Вряд ли разумно трактовать этот вывод в том духе, что за тридцать лет после работ Мертона нормы этоса ученых сменились на противоположные и более тщательный (или более добросовестный!) социологический анализ эти изменения зафиксировал. Скорее дело в том, что философская интерпретация социологических данных (влияющая, конечно, и на отбор последних) у Митроффа иная, нежели у Мертона. И не случайно, что именно в эти годы происходят изменения воззрений на науку, фиксируемые в философских дискуссиях 60-70-х гг., в которых громко звучали голоса критиков абстрактно-рационалистического идеала науки (П. Фейерабенд и др.).

Когда напряжение дискуссий спало, наступило время иронической критики *любых нормативных изображений науки*. Чего стоит эта нормативность, если так легко заменить нормы «антинормами», то есть показать удручающую симметричность положительных и отрицательных модусов поведения ученых? С. Фуллер пишет, что «нормальной науке», по Т. Куну, присущи черты «мафии, королевской династии и религиозного ордена»[19], что ученые во все времена двурушничали и лицемерили, сопровождали призывы к интеллектуальной свободе полной безответственностью, когда речь шла о социальных последствиях их дея-

[17]Коннов В.И. Принципы научного самоуправления в современной социологии науки // Философские науки. 2007, № 4. С. 97-114. - С. 3.

[18]См. Barnes, S., Dolby, R. The Scientific Ethos: a Deviant Viewpount // European Journal of Sociology. 1970, vol. 11, № 1. P. 3-25. - P. 13.

[19]Fuller, S. Kuhn vs. Popper. Revolutions in Science. Cambr., Icon Books, 2003, – 227p. - P. 46.

тельности, льстили авторитетам с расчетом получить добро на публикации и т. д. (Fuller, 1997). О нормативном этосе как факторе функциональной успешности науки, казалось бы, пора забыть, когда наступают тяжкие времена для науки в целом или для отдельных ее отраслей, как это случилось в России после того, как рухнула система имперского патронажа, резко упало финансирование и наука беспомощно ввалилась в дикий рынок со всеми печальными последствиями.

Но в ситуации общего функционального кризиса науки (Юревич, Цапенко, 1998), как это ни парадоксально, поведенческие нормы ученых остаются более или менее стабильным условием выживания и даже удерживают надежды на выход российской науки из «коматозного» состояния (разумеется, при условии, что «инновационные стратегии развития страны» не станут пропагандистским маневром власти, а получат реальную перспективу[20]). Возможно, именно в ситуации кризиса (а не при относительном благополучии) «бескорыстие» ученых как принцип этоса проходит решающую проверку, и над этим уже не так легко иронизировать. Здесь не стоит ссылаться на факты (конечно, их не трудно отселектировать так, что нормативный этос Мертона станет совсем беспомощной мишенью для глумления; но, возможно, именно те, совсем не такие уж редкие, случаи, когда ученые соблюдают эти нормы, хотя это и выглядит совершенно невозможным, оставляют надежду на то, что российская наука имеет достойную перспективу).

Мифы о науке, лишенной нормативных ориентиров, науке, едва ли не более аморальной, чем общество, в котором она существует, пришедшие на смену мифу о науке как о модели нравственного и действительно демократического общества, были нужны в период, когда требовалось снять флер оптимизма, чтобы не оставаться в положении обманутых глупцов. Но проходит время, и они перестают выполнять свою культурную роль, ибо с такими мифами нельзя надеяться на будущее.

Это, на мой взгляд, демонстрирует культурную действенность мифов о науке, возможно, гораздо большую, чем научных исследований последней. «Мифы о науке – это полезные иллюзии, без которых ее мораль не могла бы существовать»[21]. Вообще-то принято думать, что иллюзии – это всегда что-то вредное, от чего надо избавляться как можно скорее. Но это, конечно, упрощенное мнение, если угодно, тоже одна из иллюзий, к которым требуется вполне конкретное, обусловленное потребностями людей, отношение. Авторы цитируемой работы предлагают видеть в нормах научного этоса не «императивы», а некие образцы-ориентиры, пред-назначенные не для того, чтобы им безоговорочно следовать, но чтобы уменьшать возможное зло как следствие отступления от них. Между норма-ми мертоновского типа и реальным поведением ученых есть существенный зазор, и осознание этого факта предохраняет как от этического ригоризма, так и от этического релятивизма. Можно было бы уподобить отношение *провозглашаемых* норм к «закулисной» жизни ученых, отмеченной субъективностью, пристрастностью, как и другими «антимертоновскими» чертами, отношению между сознательным и бессознательным в психике человека. «Как и бессознательное отдельного человека, "бессознательное" науки является вместилищем запретных инстинктов, желаний и намерений и поэтому подавляется сознанием. Но одновременно оно – источник жизненной энергии, незаменимая форма мышления и основа творчества»[22]. Конечно, это не согласуется с моделями науки, базирующимися на «абсолютистских» представлениях о научной рациональности (Порус, 2002), но зато соответствует «функциональной» методологии

[20] Это, безусловно, условие sine qua non, но «опыт последних лет убедительно свидетельствует о том, что попытки создания инновационной экономики путем «внутренних» изменений в отечественной науке не дают результатов. Необходимы соответствующие изменения всего нашего общества, а не только его науки» (Юревич, 2010: 65).

[21] Аллахвердян А.Г., Мошкова Г.Ю., Юревич А.В., Ярошевский, М.Г. Психология науки. Учебное пособие. М., Московский психолого-социальный институт. «Флинта», 1998. - 312 с. - С. 290.

[22] Там же.

науковедческих (в том числе – социологических и психологических) исследований: «Рациональны и субъективность ученых, и отрицающие ее мифы, и живучесть этих мифов в самосознании науки, и их разрушение ее критической рефлексией. Но это – рациональность особого рода, к которой мышлению, воспитанному на мифах о науке, предстоит долго привыкать»[23]. Я добавлю к этому, что и это мнение, которому я симпатизирую, является определенной социально-эпистемологической позицией, в которой – при желании – нетрудно увидеть философскую интерпретацию фактов научной жизни.

* * *

В заключение замечу: мне бы не хотелось быть неправильно понятым. Рассматривая социологию познания Р. Мертона (точнее, определенную часть его социологических исследований, посвященных этосу науки) как одно из направлений в социальной эпистемологии, я нисколько не умаляю научную значимость этих исследований. Видя в них мифологическую составляющую, я не принижаю науку, к которой они относятся. Совсем наоборот: именно благодаря тому, что эти исследования впитывают в себя научную методологию и данные вместе с их философской интерпретацией, они получают тот культурный резонанс, какой сопровождает всю историю мертоновской социологии науки. Это, я думаю, и есть то, что делает вклад Р. Мертона в науку и философию, а шире – в современную культуру, столь заметным.

Литература

Демина Н.В. Мертоновская концепция этоса науки: в поисках социальной геометрии норм / Этос науки. Под ред. Киященко, Л. П., Мирской, Е. З. М., «Academia», 2008. С. 144-165.

Депперт В. Мифические формы мышления в науке на примере понятий пространства, времени и закона природы / Разум и экзистенция. Анализ научных и вненаучных форм мышления. Спб., РХГИ, 1999. С. 187-204.

Жильсон Э. Разум и Откровение в Средние века / Богословие в культуре Средневековья. Киев, Христианское братство «Путь к Истине», 1992. С. 5-48.

Коллинз Р. Социология философий. Глобальная теория интеллектуального изменения. Новосибирск, «Сибирский хронограф», 2002. – 1280 с.

Коллинз Р. Четыре социологических традиции. М., Издательский дом «Территория будущего», 2009. – 320 с.

Коллинз Р., Рестиво С. Пираты и политики в математике // Отечественные записки, 2002, № 7/www.strana-oz.ru/numbers/2002_07/2002_07_42.html.

Кун Т. Логика открытия или психология исследования? // Кун Т. Структура научных революций. М., АСТ, 2001. С. 539-576.

Кун Т. Структура научных революций. М., АСТ, 2001. – 606 с.

Мертон Р. Социальная теория и социальная структура. М., АСТ, 2006. – 873 с.

Порус В.Н. Рациональность, наука, культура. М., УРАО, 2002.

Степин В.С., Горохов В.Г., Розов М.А. Философия науки и техники. М., «Гардарика», 1996. – 400 с.

Флек Л. Возникновение и развитие научного факта. Введение в теорию стиля мышления и мыслительного коллектива. М., «Дом интеллектуальной книги», 1999. – 208 с.

Хюбнер К. Истина мифа. М., «Республика», 1996. – 448 с.

[23]Там же.

Хюбнер К. Прогресс от мифа через логос к науке как теоретико-познава-тельная проблема / Разум и экзистенция. Анализ научных и вненаучных форм мышления. Спб., РХГИ, 1999. С. 114-125.

Юревич А.В. Стратегии развития российской науки // Социология науки и технологий, 2010, № 1. С. 52-66.

Юревич А.В., Цапенко И.П. Функциональный кризис науки // Вопросы философии, 1998, № 1. С. 17-29.

Barber, B. Science and the social Order (with a foreword by R. K. Merton). Glencoe, Ill., The Free Press Publ., 1952. – 288 p.

Fuller S. Science (Art of Living). Buckingham, Open Uni Press and Uni of Minnesota Press. 1997. – 160 p.

Griffith, B., Mullins, N. Coherent social groups in scientific change // Science, 1972, vol. 77. P. 959-964/

Kuhn T. Second Thoughts on Paradigms / The Structure of Scientific Theories (ed. by F. Suppe), Urbana, University of Illinois Press. 1974. P. 459-482.

Kuhn T. The Function of Dogma in Scientific Research / Scientific Change (ed. by A. Crombie), L., Heinemann, 1963. P. 347-369.

Merton R. The Ambivalence of Scientists // Sociological Ambivalence and other essays (ed. By R. K. Merton). N.-Y., The Free Press, 1976. P. 32-51.

Merton R. The Institutional Imperatives of Science // Sociology of Science. Ed. by B. Barnes, L., Penguin Books, 1972. P. 65-79.

Merton, R. The Matthew Effect in Science // Science, 1968, Vol. 159 , p. 56-63.

Merton, R. The Matthew Effect in Science, II. Cumulative Advantage and the Symbolism of Intellectual Property // ISIS, 1988, vol. 79. P. 606-623.

Merton R. The Normative Structure of Science / Merton R. The Sociology of Science. Chi., Univ. of Chicago Press, 1973. P. 267-268.

Mitroff I. Norms and counter-norms in a select group of the Apollo Moon scientists: a case-study of the ambivalence of scientists // American Sociological Review, 1974a, vol. 39, № 4. P. 579-595.

Mitroff I. The subjective side of science. A psychological inquiry into the psychology of the Appolo Moon scientists. Amsterdam, Elsevier, 1974b.

Quine W. Ontological relativity and other essays. N.Y, Columbia University Press, 1969. -169 p.

ТЕЗИСЫ О ПОЛИТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ[1]

Б.Г. Капустин
Институт философии РАН

Аннотация: *В статье дается общая концептуальная схема политической философии, рассматриваемой, в отличие от эссенциалистского, в рамках деятельностного подхода, позволяющего осмыслять прогнозы и проектировать социальные преобразования, не разрушающие общество.*

Ключевые слова: *политические предметы, политическая деятельность, политическая наука, политическая онтология, формы реализации политического сознания.*

Еще в середине 1990-х годов я сделал набросок программы формирования политической философии, которые затем реализовывалась в монографиях, две из которых были посвящены ключевым условиям существования политической философии. Позволю себе кратко воспроизвести суть этой программы.

1. Исходный пункт – тезис о том, что политические предметы не существуют как «объективные факты», не зависящие от восприятия их, отношения к ним, обращения с ними людей. Еще менее правильно было бы сказать, что их политическая «природа» обусловлена их принадлежностью особой сфере общественной жизни, называемой политической, которая объективно дана нам – с ее законами, механизмами, функциями – наряду со сферами экономики, культуры, интимной жизни и т.д. Напротив, политические предметы становятся таковыми вследствие наделения их политическими смыслами определенным образом ориентированными действиями людей. Политика и есть специфический вид духовно-практической деятельности людей, создающей некоторые предметы в качестве политических, равно как и границы, а также структуру той зоны общественной жизни, на которой политика осуществляется. К данному утверждению можно было бы относиться как к малополезной тавтологии, если бы оно не ставило знак «Осторожно!» на некоторых основательно протоптанных путях мысли. Например, всякий ли предмет, называемый государством, является «политическим»? Добавим к списку таких предметов партии, парламенты, реформы, выборы и т.д. Напротив, всегда ли предметы, полагаемые неполитическими как бы по определению (семья,

[1] Данные тезисы были вынесены на обсуждение открытого семинара Центра политической теории при ИнОП, которое состоялось 1 октября 2009 года в Государственном университете – Высшей школе экономики.

церковь, фабрика, спортивный клуб и т.д.) являются таковыми? Смысл той почти тавтологической формулировки, которую я привел выше и с которой начинает политическая философия, заключается именно в том, чтобы серьезно поставить эти вопросы и не оставаться в плену фиктивных самоочевидностей[2].

2. Каковы же особенности того вида духовно-практической деятельности, которым является политика? В первую очередь, они обусловлены тем, что политика имеет дело с конфликтами между людьми, причем такими, которые затрагивают «общие условия» их совместной жизни. К тому же такие конфликты не допускают чисто «рационального» их разрешения посредством убеждения одной силой аргументов и добровольного принятия открывающейся таким образом «истины» всеми сторонами конфликта при их полном равенстве. В этом состоит различие, если воспользоваться терминами Бертрана де Жувенеля, между «научными проблемами» и «политическими»[3]. Если бы политические проблемы были сводимы к «научным», то политика стала бы (пусть «в конечном счете») не нужна. Представлениями о такой сводимости питались и питаются все утопии о *пост*политической общественной гармонии, – марксистские («отмирания государства»), либеральные («конца идеологии», «постиндустриализма» и т.д.), консервативные и националистические (упирающие на высшее единство «народа», сообщества единоверцев, нации и т.д.). Признание же несводимости политических проблем к «научным» (техническим, административным, моральным и т.д.) делает власть и насилие – в качестве основополагающего метода реализации власти – ключевыми категориями политической философии. При этом нужно иметь в виду два обстоятельства. Первое. Тенденции и практики «деполитизации» («нейтрализации» политики), классически описанные Карлом Шмиттом, – реальные и очень важные явления современного мира, в которых выражается определенный тип господства, консолидированный и «технологически» отлаженный настолько, что он перестает нуждаться в политике, более того, стремится вытеснить ее как потенциально «подрывной» тип деятельности, чреватый инверсиями позиций власти. В этих условиях политика как таковая, а не только определенный вид ее, приобретает освободительное значение. Второе. Насилие как ключевую категорию политической философии, конечно же, нельзя отождествлять с «физическим принуждением». Последнее при его актуальном применении вообще есть показатель неэффективной, незрелой и даже, по Никласу Луману, «исчезающей» власти[4]. Свое фундаментальное и широкомасштабное значение в политике насилие обнаруживает в его символической и структурной ипостасях.

3. Сказанное выше отнюдь не означает то, что разум и рациональное, говоря точнее – «политическая рациональность», малосущественны в политике, будто она является «иррациональным» процессом par excellence. Напротив, разум и рациональность также выступают ключевыми категориями политической философии. В случае так называемого инструментального разума это почти самоочевидно. В конце концов, все политические акторы действуют или стремятся действовать стратегически – в соответствии с логикой максимизации или оптимизации своих так или иначе понятых интересов, и, игнорируя эту логику, мы окажемся в плену самых фантастических представлений о политике. Однако политический реализм не есть синоним политического цинизма, сводящего всю политику к игре стратегических интересов. Лютеровское «на том стою, и не могу иначе» – отнюдь не уникальное явление в политическом мире, и оно – в его многообразных и конкретных формах – особенно значимо, когда история совершает крутые повороты, когда рождается качественно новое – нации, государства, модели общественного устройства, господствующие мировоззрения…

[2] Можно сказать, что методологически первым шагом, который делает политическая философия, если продолжить наш пример с государством, является принятие следующей формулы Макса Вебера. Государство «перестает “существовать” в социологическом (мы скажем – в политическом. Б.К.) смысле, как только исчезает *возможность* функционирования определенных типов осмысленно ориентированного социального действия». Вебер М. Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990, с. 631.

[3] См. Jouvenel B. de. *The Pure Theory of Politics*. Indianapolis (IN): Liberty Fund, 2000, pp. 268-269.

[4] См. Луман Н. Власть. М.: Праксис, 2001, с. 97 и далее.

Конечно, нравственное долженствование, побуждающее идти дальше черты, к которой подводят интересы, или даже действовать в определенных обстоятельствах вопреки им, не обязательно проявляется в столь драматичной форме, как та, символом которой стала позиция Лютера на Вормсском съезде церковных иерархов. Нравственное долженствование может влиять на наши действия, вполне «вписывающиеся» в рутину политической жизни, хотя в чем-то, пусть в малом, «корректирующие» ее. Это может быть безвозмездный сбор подписей в пользу оппозиционного кандидата, анонимное пожертвование на полагаемую нами благородной цель, участие в санкционированном митинге, даже если слаба надежда «достучаться» до власть имущих… Но и в первом, и во втором случаях нравственное долженствование играет свою роль, хотя очевидно, что в большой политике радикальных перемен и в малой политике «корректировки рутины» его роли будут существенно различны. Поэтому непременной задачей политической философии является раскрытие форм и способов участия нравственного (а не только инструментального) разума в осуществлении разных видов политики. И без такого раскрытия невозможен подлинный политический реализм – в его отличии от цинизма. Ведь в том и дело, как писал Гегель, что «*долженствование* есть в такой же мере и *бытие*»[5]. Именно таким образом понятое «бытие» выступает общим предметом политической философии – с двумя уточнениями. Первое. «Должное» – это конкретная воля, а не пустое мечтание или неокантианская «норма», или «ценность», к которой безучастный наблюдатель «относит» явления действительности. Второе. «Действительность» есть соотношение общественных сил[6], даже если устойчивая традиция сообщила ему кажимость «естественного порядка вещей». Такая действительность не допускает, говоря языком Ницше, «удвоения» на «мир сущностей», трансцендентных или имманентных, и «мир явлений». Иными словами, в свете сказанного любые представления о детерминации политики чем-то внеположенным ей – от Провидения до «императивов экономического роста» – представляются ложными. Политика – «первичная реальность» общественной жизни людей. Но это отнюдь не означает, будто все в этой жизни есть политика, или будто специфические для каждой исторической ситуации обстоятельства не кладут ей пределы и не придают ей определенную направленность.

4. Сказанное позволяет прояснить отличия политической философии от «смежных» с ней теоретических дисциплин, в первую очередь – моральной философии, философии политики и политической науки. Исторически философствование о политике складывалось и существовало в виде отрасли моральной философии – как *приложение* к вопросам государственного и правового устройства учений о нравственно должном, обычно восходящих к теологии. Закат в условиях Нового времени представлений об онтологичности морали (еще вдохновлявших влиятельные доктрины «естественного права» периода ранней Современности) привел к двоякому эффекту. *С одной стороны*, мораль в приложении к политике отодвигается в область нравственного *оценивания* последней и – в более радикальных версиях – *требований* ее (максимально возможного) соответствия нормам морали[7]. Эта область оказывается *потусторонней* политике как таковой. Находясь в ее пределах, невозможно ни вывести (генеалогически или функционально) моральные оценки и требования из логики самой политики, ни показать действительные политические механизмы, благодаря которым такие оценки и требования необходимым образом могли бы входить в «реальную жизнь». Политическую философию, конечно, можно отождествить с таким «нормативным» подходом к по-

[5] Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук. Т. 3. М.: Мысль, 1977, с. 339.

[6] А. Грамши убедительно показывает, что такое понимание «действительности» развивает Макиавелли и закладывает его в фундамент *современной* политической философии. См.: Грамши А. Никколо Макиавелли. В кн.: Грамши А. Искусство и политика. Т. 1. М.: Искусство, 1991, с. 285 и далее.

[7] Так, Кант требует, чтобы политика «преклонила колени» перед правом и, следовательно, моралью. Он даже ищет «эмпирические» условия «согласия политики с моралью» (об обратном не может быть и речи!), которые, с его точки зрения, обеспечиваются только «федеративным союзом». См. Кант И. К вечному миру / Кант И. Собр. соч. в восьми томах. Т. 7. М.: Чоро, 1994, с. 49, 54.

литике и благодаря этому сохранить ее производность от моральной философии. Но ценой такой операции будет ее неспособность описывать и объяснять политику, включая отмеченную выше роль в ней нравственного разума[8]. Иными словами, ценой будет *деполитизация* политической философии, регрессирующей в морализаторство «по поводу» политики. Политической философии, чтобы остаться политической, необходимо преодолеть свою производность от моральной философии и подойти к нравственному долженствованию под своим специфическим углом зрения, а именно – поставив вопрос о том, каким образом оно *работает* (или почему оно не работает) в политике. Именно он приходит на смену традиционным для моральной философии вопросам о том, как правильно нравственно оценивать политику или какой она должна быть в соответствии с нормами морали.

С другой стороны, закат теорий онтологической морали привел к поиску иных «сущностей», детерминирующих политику. В разные эпохи и в разных теоретических школах на их роль претендовали «неизменная природа человека», провиденциальный «план истории», неумолимые законы прогресса или (уже социологически интерпретированной) эволюции, что угодно – вплоть до грубых мифологем Шпенглера о «морфологическом строении» историко-культурных форм и их неотвратимой судьбе. Все это – разные версии философии политики. Всем им политическая философия противопоставляет не только видение политики как действительности, не редуцируемой к до- и внеполитическим «сущностям» и не выводимой из них. Она может делать это, только выявляя политическое происхождение самих таких «сущностей». Она должна показать, каким образом необходимость и разумный порядок образуются из того, что в ретроспективе, с точки зрения сложившейся «системы» выглядит «случаем» и внеразумной и «доисторической» коллизией[9]. Но именно благодаря этому политическая философия может утверждать достоинство человеческой деятельности в качестве «первопричины» всего сущего в истории. И вместе с этим – возможность свободы как творчества, а не «познанной необходимости».

Политическая наука как *наука*, а не как общая рубрикация всякого возможного знания о политике, есть объективирующий и квантифицирующий подход к ней, который по сути дела усматривает в ней только необходимость или, говоря кантовским языком, «причинность природы», но никак не «причинность свободы». Ведь для нее противоположностью и парной категорией необходимости будет «иррациональность», а не свобода. Политическая наука не знает субъектов – она знает только агентов процессов, которые принято в ее рамках считать политическими, даже не задаваясь вопросами о том, в чем именно состоит их политическое качество и при каких условиях оно может быть утрачено или обретено вновь. Свобода, как и

[8] Сказанное ярко иллюстрирует хабермасовская версия «дискурсивной этики» и попытка создания на ее основе политической теории. Эта операция является двухступенчатой. Первая ступень – обоснование моральных норм (эрзац классической моральной философии). Вторая ступень – их приложение к политическим явлениям. Но и на этой ступени «моральные правила валидируют *абстрактное* состояние дел, способ регулирования содержания практики». О самом ее «содержании», не говоря уже об объяснении того, *что* может сделать его податливым для морально валидированного регулирования, речь не идет вообще. (См. Habermas, J. “Remarks on Discourse Ethics”, in Habermas, J. *Justification and Application*, tr. C. Cronin. Cambridge (MA): MIT Press, 1993, p. 36 ff. Курсив мой. – Б.К.). Попытки же социологического описания содержания практик (современного «демократического капитализма») выявляют лишь их вопиющие противоречия морально предписанным способам их регулирования. Такими антиномиями «фактов» и «норм» изобилует одна из самых значительных книг позднего периода творчества Хабермаса, носящая в высшей мере выразительное название «Между фактами и нормами». (См. Habermas, J., *Between Facts and Norms*, tr. W. Rehg. Cambridge (MA): MIT Press, 1996).

[9] Суть генеалогического метода, пишет Фуко, состоит в познании того, что разум «рождается совершенно “разумным” образом – из случайности…». «То, что можно найти у исторического истока вещей, – это не нерушимая идентичность их происхождения, а разлад между другими вещами. Их несоответствие и неравенство». (Foucault, M., “Nietzsche, Genealogy, History”, in Foucault, M., *Language, Counter-Memory, Practice. Selected Essays and Interviews*. Ed. D.F. Bouchard and S. Simon. Ithaca (NY): Cornell University Press, 1977, p. 142). В этом плане генеалогия Фуко есть специфическая, но характерная версия метода политической философии.

любое другое понятие политической нравственности, выступает в политической науке эвфемизмом. Свобода оказывается уже не характеристикой деятельности, в качестве которой она может иметь единственный смысл *освобождения*, всегда неокончательного и условного преодоления некоторой «гетерономии», а *предметом* обладания. В этом смысле говорят, например, о «свободном обществе», которое ведь в любом случае есть совокупность некоторых механизмов социальной спайки и уже поэтому – институтов субординации и принуждения, или даже о «партии свободы», что уже совсем беззастенчиво объявляет о приватизации свободы определенной группой лиц, данную партию образующих. При всем своем презрении к метафизичности и беллетристичности философии политики политическая наука отмечена той же печатью эссенциализма, как и ее в этом отношении мнимый антипод. Для нее политика тоже – лишь проявление неких не- и внеполитических сущностей. В настоящее время в роли такой сущности обычно выступает экономика. Вследствие этого сама политическая наука все больше становится «экономорфной»[10], подобно тому, как, скажем, томистская философия политики была «теологичной». Ленинская формула – политика есть «концентрированное выражение экономики»[11] – представляет собою лишь четкое и емкое выражение магистральной тенденции трансформации современной политической науки как таковой. Раскрытие же того, что «экономика завоевала титул королевы социальных наук, выбрав в качестве своей области проблемы, уже решенные политически»[12], стало важной задачей политической философии, а также одним из направлений ее борьбы с методологическим эссенциализмом.

5. Антиэссенциализм политической философии обусловливает ее полемичность по отношению к доминантным сциентистским и сохраняющимся метафизическим формам обществознания. Но такая полемика выходит за рамки собственно академических дискуссий. Это означает, что политическая философия воспринимает своих оппонентов не в качестве самодостаточных явлений изолированной сферы академической жизни, а как необходимые (интеллектуальные) моменты производства и воспроизводства общества – со всеми присущими ему структурами неравенства, угнетения и насилия. Само выявление способов участия теоретических продуктов в производстве и воспроизводстве общества означает их идеологическую критику, т.е. критику реифицированных форм их существования в качестве якобы «только знания» и «чистой теории». Реализуя эту функцию, политическая философия существует в логике «критической теории», как ее описывал Хоркхаймер, – в противопоставлении логике «традиционной теории»[13]. *Последовательный* антиэссенциализм есть критика форм и условий господства в обществе, проведенная и на уровне их культурного и теоретического инструментария. Поэтому последовательная политическая философия с необходимостью есть критика статус-кво, есть *оппозиционная мысль* – мысль в оппозиции к господству, даже если она не отождествляет себя с идеологией и программой той или иной партии и движения. (Но это не равнозначно утверждению о том, что оппозиционная мысль – даже в современном «постметафизическом» мире – не может быть эссенциалистской).

6. Критичность и оппозиционность политической философии означают, что она сознательно становится, или стремится встать, на точку зрения тех общественных сил, чье сопротивление определенным существующим институтам и явлениям культуры позволяет опознать их в качестве институтов и культурных явлений господства. По большому счету, политическая философия – в самых новаторских и глубоких своих выражениях – была раци-

[10] См. Shapiro I., *The Evolution of Rights in Liberal Tradition*. Cambridge: Cambridge University Press, 1986, p. 198 ff.

[11] Ленин В.И. Еще раз о профсоюзах, о текущем моменте и об ошибках т.т. Троцкого и Бухарина / Полн. собр. соч. Т. 42, с. 278.

[12] Эта формулировка принадлежит американскому экономисту А. Лернеру. Цит. по *Capitalism and Democracy: Schumpeter Revisited*, ed. R.D. Coe and C.K. Wilber. Notre Dame (IN): University of Notre Dame Press, 1985, p. 154.

[13] Классическое изложение этого противопоставления см.: Horkheimer M., “Traditional and Critical Theory”, in *Critical Sociology. Selected Readings*, ed. P. Connerton. Harmondsworth (UK): Penguin, 1976, pp. 212 ff.

онализированной и акцентированной артикуляцией сознания таких сил. В этом отношении политическая философия сохраняет верность той общей, базовой установке критической философии как таковой, которую еще Кант, обращаясь к своим оппонентам, формулировал следующим образом: «Но неужели вы требуете, чтобы знание, касающееся всех людей, превосходило силы обыденного рассудка и открывалось вам только философами? …В вопросе, касающемся всех людей без различия, природу нельзя обвинять в пристрастном распределении своих даров, и в отношении существенных целей человеческой природы высшая философия может вести не иначе как путем, предначертанным природой также и самому обыденному рассудку»[14]. Политическая философия сохраняет, таким образом, демократизм кантовского привязывания критической философии к «обыденному рассудку» и размежевания с любой эзотерикой. Но политическая философия делает сам этот «рассудок», а вместе с ним – универсалистские претензии Канта, объектом идеологической критики. Историческая и политическая контекстуализация и конкретизация «обыденного рассудка» показывают его как определенную структуру гегемонии (которая – в тех или иных ее формах – может быть «прогрессивной» для данной исторической ситуации) и потому ставят задачу перехода от его (мнимой) универсальности к партикулярности «точек зрения» борющихся социальных сил.

Относительно связи политической философии с такими «точками зрения» следует отметить два момента, создающих для нее немалые трудности и вызывающих активные дебаты. Первый. Эта связь вовсе не сводится к «улавливанию», систематической «тематизации» и публичному оглашению мнений, высказываемых с позиций тех сил, с которыми политическая философия в качестве оппозиционной мысли ассоциирует себя[15]. Напротив, политическая философия оставляет за собой право критики и тех мнений, которые исходят от сил сопротивления. В отличие от льстивого и всегда манипулятивного «народопоклонства» такая критика сама по себе есть свидетельство демократического признания равными тех, кому она адресована, и тех, кто ее высказывает. Она есть важный показатель отказа политически ангажированных интеллектуалов от элитизма и политического авангардизма[16]. Второй момент. Политическая философия может оказаться в сложной ситуации, в которой она утрачивает свои социологически идентифицируемые референты. Говоря прямо, она может не находить силы сопротивления, артикуляция сознания которых является ее modus operandi и сообщает ей политически актуальное значение. В такой ситуации политической философии остается критиковать статус-кво с точки зрения *абстрактной* возможности освобождения, честно признавая таящуюся в этом угрозу собственной трансформации в «еще одну» академическую дисциплину, политически выхолощенную истеблишментом и инкорпорированную в него. Это неизбежно создает двусмысленность ее положения. Единственной реакцией на него, если политическая философия желает спасти себя как таковую, будет следование максиме, которую Мерло-Понти формулирует следующим образом. «Мы должны сохранить свободу (как практику критической дискуссии и как ориентир общественной практики. – Б.К.), ожидая новый исторический импульс, который может позволить нам *без двусмысленности* включиться в народное движение»[17].

---

[14] Кант И. Критика чистого разума. Пер. Н. Лосского. М.: Мысль, 1994, с. 485-486.

[15] В этом плане наше понимание политической философии противоположно трактовке «публичной сферы» и описывающей ее «демократической теории» (поздним) Хабермасом. Напомним, что с его точки «публичная сфера» является в первую очередь «сенсором» мнений общественности, а также каналом трансляции таких мнений в «правительственные сферы». См. Habermas J. “Civil Society, Public Opinion, and Communicative Power”, in *Between Facts and Norms*, pp. 359-387.

[16] Быть демократом, как верно отмечает Касториадис, означает «быть способным сказать людям “вы ошибаетесь”, если таково его суждение». Castoriadis C. “Intellectuals and History”, in Castoriadis C. *Philosophy, Politics, Autonomy. Essays in Political Philosophy*, ed. D.A. Curtis. NY: Oxford University Press, 1991, p. 12.

[17] Merleau-Ponty M. *Humanism and Terror*, tr. J. O’Neill. Boston: Beacon Press, 2001, p. xxiii (курсив мой. – Б.К.).

7. Но *что* в плане познания социальной действительности дает ассоциация политической философии с силами сопротивления даже тогда, когда такая ассоциация возможна? Может ли принятие партикулярной «точки зрения» вести к раскрытию истины, если последней приписываются такие (так или иначе понятые) свойства, как объективность, общезначимость, достоверность? Современной политической философии приходится отказаться от того утвердительного ответа на этот вопрос, который в наиболее решительной форме дает «ортодоксальный марксизм» Лукача: «…Только тогда, когда появляется пролетариат, познание общественной действительности приобретает завершенность. Это достигается благодаря тому, что классовая точка зрения пролетариата и есть тот наконец-то найденный пункт, откуда становится обозримым общество в целом»[18]. Теоретически такой отказ вызван не окончательным разочарованием в освободительной миссии пролетариата. Он мотивирован тем соображением, что *ничья* освободительная миссия – при самом успешном ее осуществлении – не способна установить «царство целей» на земле («бесклассовое общество», прибегая к марксистскому вокабуляру). Иными словами, недостижим тот «пункт», в котором особый интерес особой социальной силы отождествится с «интересом человечества», что позволило бы беспристрастно (в интересах *всех*) и объективно обозреть «человечество в целом»[19]. Коли так, мы всегда будем оставаться с «перспективами» (в ницшеанском смысле) тех или иных общественных сил и никогда не выйдем на «объективную истину». А это значит, что невозможно общезначимым образом ответить на вопросы типа «в чем состоит в данном деле правильная политика?», «каков (обще-) национальный интерес данной страны?», «в чем, *в самом деле*, суть нашей (этнической, национальной или иной) идентичности?». Абстрактности всех этих вопросов будет противостоять перспективизм конкретизаций «для кого (правильна данная политика)?», «с чьей точки зрения (это является национальным интересом)?», «кто (определяет границы «мы», о чьей идентичности идет речь)?» И дело политической философии настаивать на необходимости таких конкретизаций.

Но означает ли сказанное, что перспективизм политической философии делает бессмысленным само понятие «истины», коли достижение в делах людей истины объективной и общезначимой невозможно? Франц Фанон как-то написал: «Что же касается феллаха, безработного, голодного, то он не претендует на истину. Он не говорит, что представляет истину, поскольку является истиной в самом своем бытии»[20]. «*Быть* истиной» можно только в истории, только принадлежа конкретной ситуации. Это, конечно, не более, чем иносказание гегелевской концепции историчности и конкретности истины. Но у Фанона достоинство историчности и конкретности бытующая истина обретает уже не в качестве определенной ступени развития духа, «руководящего ходом мировых событий». Поэтому у него истина не *воплощается* в исторически определенных коллективных «индивидуумах», а *является* ими. Причем такими «индивидуумами» выступают уже не «духи народов» – с атрибутом «единства», обусловленного их «духовными сущностями» (sic!)[21]. В качестве их выступают угнетенные. Соответственно, достоверность истине (данной исторической ситуации) сообщает страдание, а *политической* ее делает борьба с тем, что это страдание вызывает.

---

[18] Лукач Д. Что такое ортодоксальный марксизм/ Лукач Д. Политические тексты. М.: Три квадрата, 2006, с. 69-70.

[19] Будь это возможно, особый интерес, сливающийся с «интересом человечества», в полном смысле слова превратился бы в чистый моральный (в кантовском смысле) долг. Веря в это, Лукач совершенно серьезно, вовсе не играя словами, пишет о том, что пролетариат превращает «игнорирующий все земные связи этический идеализм» (Канта и Фихте) в практическое «действие». См.: Лукач Д. Большевизм как моральная проблема. В указ. соч., с. 8.

[20] Фанон Ф. О насилии (пер. М. Федоровой) / Мораль в политике. Хрестоматия. Отв. ред. Б.Г. Капустин. М.: изд-во Московского университета – Книжный дом Университет, 2004, с. 75.

[21] См. Гегель. Философия истории / Гегель. Сочинения. Т. VIII. М.-Л.: Соцэкгиз, 1935, с. 50.

* * *

Такая экзистенциальная трансформация исторической, но остающейся эссенциалистской истины Гегеля не просто выводит за рамки его (и любой другой) философии истории, но создает прямо противоположную ей политическую перспективу. У Гегеля «частное в большинстве случаев слишком мелко по сравнению со всеобщим: индивидуумы приносятся в жертву и обрекаются на гибель. Идея уплачивает дань наличного бытия и бренности не из себя, а из страстей индивидуумов»[22]. Историческая истина страдания и борьбы есть бунт против любой «идеи», провиденциальной или технократической, заставляющей расплачиваться за свое осуществление «страстями» других и полагающей, что этот трюк не компрометирует ее «разумность и необходимость». Этот бунт опровергает ее претензии на «всеобщность» и низводит ее к статусу частного – одной из возможностей исторического движения, одной из «точек зрения» на него, а именно – «точки зрения» господствующих. «Точка зрения» поднимающихся угнетенных, конечно, тоже является частной и не совпадает, как отмечалось выше, с «интересом человечества». Но в ней есть момент всеобщего. Он заключается в отношении к угнетению, осознаваемому угнетенными в качестве такового, как к *недолжному*. История как общее поле бытия людей и как нравственная надприродная реальность сохраняется до тех пор, пока такое отношение воспроизводится. И именно поэтому поднимающийся угнетенный есть конкретная историческая истина, которую в каждой специфической ситуации должна раскрывать политическая философия, остающаяся верной себе. И Гегель прав – «периоды счастья являются в ней [истории] пустыми листами»[23]. Ибо это – периоды, когда такое отношение к угнетению отсутствует. И это – время от времени наступающие и завершающиеся периоды «конца истории».

[22] Там же, с. 32.
[23] Там же, с. 26.

ОТ «АНТАГОНИЗМА» К «АГОНИЗМУ»: К ТЕОРИИ ДЕМОКРАТИИ Э. ЛАКЛАУ и Ш. МУФФ

С.П. Поцелуев
Южный федеральный университет

Аннотация: *Статья посвящена сопоставлению и анализу двух социологических моделей демократии – «радикальной» и «агонистической», предложенных Э. Лаклау и Ш. Муфф. Рассмотрен аспект диалогичности в рамках: агрегативной и деливеративной моделей демократии; демократического плюрализма, демократического гегемонизма; демократического радикализма. Показана эклектичность методологических основ последнего.*

Ключевые слова: *модели демократии, антагонизм, «радикальная», «агонистическая», агрегативная, деливеративная модели, политический плюрализм, гегемонизм, радикализм.*

В данной статье речь пойдет о критике теорий «радикальной» и «агонистической» демократии, предложенных Э. Лаклау и Ш. Муфф. Сразу оговоримся, что, хотя между данными теориями есть некоторые различия, в принципиальных моментах они сходятся, а потому позволяют рассматривать себя как единую концепцию. Выражения «радикальная (агонистическая) модель демократии» и «радикальная (агонистическая) демократия» мы будем употреблять как синонимы. Заметим также, что под «радикальной демократией» здесь *не* подразумевается радикализация (в каком бы то ни было смысле) концепта взвешенного обсуждения (deliberation), как он представлен у Ю. Хабермаса.[1]

[1] С такого рода идеей выступил, к примеру, Джон Дрыжек, предложив понятие «дискурсивной демократии». (См.: Dryzek J.S. Discursive Democracy. Cambridge: Cambridge University Press, 1990). В отличие от деливеративной модели, *дискурсивная* модель демократии акцентирует беспокойный, беспорядочный, неряшливый в плане аргументов и логики способ обсуждения проблем (что вполне отвечает этимологии латинского *discursus*). Акцент здесь делается не на внутреннем размышлении, а на внешней дискуссии. Впрочем, некоторые авторы не без основания считают теоретически необоснованным различие между «дискурсивной» и «деливеративной» моделями демократии, усматривая здесь скорее терминологическую игру, чем существенное различие.

Радикально-плюралистическая» критика агрегативной и делиберативной моделей демократии

Концепция радикальной демократии есть результат идейно-политического размежевания с одной стороны, с (нео-)либеральной политической философией, а с другой – с якобинской моделью политики по принципу «друг – враг». В поисках «третьего пути» указанная концепция оказывается вблизи «делиберативной» модели демократии. Эту теорию Э. Лаклау и Ш. Муфф не без уважения называют «наиболее обещающим философским видением прогрессивной политики».[2] В данной концепции они усматривают своего союзника в оппозиции к «агрегативной» модели демократии Й. Шумпетера, в которой акцент ставится на «агрегировании предпочтений» политическими партиями, за которые народ голосует через равные промежутки времени. Данная модель, по словам Ш. Муфф, исходит из «стабильности и порядка» как главных политических ценностей, которые реализуются через компромисс между конкурирующими политическими силами, а не путем «мобилизации народа во имя иллюзорного консенсуса относительно общего блага».[3] В шумпетерианстве демократическая коммуникация описывается по аналогии с рыночной экономикой, при этом «индивиды изображаются в виде рациональных существ, стремящихся к максимизации своих интересов и действующих в политическом мире, в сущности, инструментальным образом».[4]

В основе «агрегативной» модели демократии лежит классическая либеральная «робинзонада», над которой любил в свое время иронизировать К. Маркс: наделенные «естественными правами» индивиды, неведомым образом предшествующие обществу и занимающиеся в нем максимизацией выгоды как принципом «рационального» поведения. Именно эти индивиды образуют у либералов «естественный» базис демократии, понимаемой, соответственно, как простое соревнование интересов, происходящее в нейтральном пространстве (в «социальной среде»).

Ш. Муфф и Э. Лаклау солидарны со стремлением делиберативной демократии показать ограниченность демократического консенсуса, как он представлен упомянутой «агрегативной» моделью. Они тоже отвергают чисто инструменталистское понимание рациональности и в ущерб рациональности, выраженной в свободном публичном общении.[5] Хотя демократические права имеют конститутивное значение для современных форм демократии, они не могут служить единственным критерием для оценки демократической политики. Ш. Муфф убеждена: без действенного участия граждан в принятии решений относительно их общей жизни не может быть реальной демократии.[6]

Авторы концепции «радикальной демократии» солидаризируются и со стремлением делиберативных теоретиков обогатить «агрегативный» образ демократической политики конструктивистским принципом политических идентичностей, которые не даны (или заданы), но «образованы и реконституированы посредством дебатов в политической сфере».[7] Однако суть и место этих дебатов Лаклау и Муфф понимают иначе, чем Хабермас и другие сторонники делиберативной демократии. В этом смысле концепт «радикальной демократии», развитый Э. Лаклау и Ш. Муфф в их известной книге «Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics» (1985), находится в частичной оппозиции к делиберативной теории демократии.

[2] Лакло Э., Муфф Ш. К радикальной демократической политике: предисловие ко второму изданию «Гегемонии и социалистической стратегии». Политиздат. 2004/http://www. politizdat.ru/outgoung/15/.

[3] Муфф Ш. К агонистической модели демократии // Логос. 2004. – № 2. (42). – С. 181.

[4] Муфф Ш. Пространства публичной полемики, демократическая политика и динамика настроений // Материалы Международной конференции по философии, политике и эстетической теории «Создавая мыслящие миры». Москва, 17-18 ноября 2006 г. /http://2nd.Moscowbien-nale.ru/ru/muff_doklad1/.

[5] Муфф Ш. К агонистической модели демократии … С. 189.

[6] Mouffe Ch. Democracy in Europe: The Challenge of Right-wing Populism. The Barcelona Debate, Centre de Cultura Contemporania de Barcelona. 2002/ http://www.cccb.org/rcs_gene /mouffe.pdf.

[7] Лакло Э., Муфф Ш. К радикальной демократической политике …

Теоретики «радикальной демократии» упрекают делиберативную модель в некритическом воспроизведении либеральной парадигмы. Стремление Хабермаса и Ролза заменить рыночно-инструментальную рациональность коммуникативной оборачивается, по мнению авторов «радикальной демократии», лишь другой крайностью: политические дебаты мыслятся как особая сфера приложения морали с рационально достижимым консенсусом, так что специфика политических отношений подменяется теперь не экономикой, но этикой. Тем самым делиберативная модель демократии на свой лад упускает своеобразие политического.[8]

В этой связи Лаклау и Муфф упрекают теоретиков «рефлексивной модернизации» (У. Бека, Э. Гидденса) и делиберативной демократии (Ю. Хабермаса, Дж. Ролза) в ложном понимании содержания и роли свободной публичной дискуссии в политическом процессе. Основой этого выступает ложный диагноз современной эпохи, внушающий мысль, что с завершением «холодной войны» и наступлением «информационного общества» социальные антагонизмы исчезают, открывая путь новому типу «политики обоюдного выигрыша» (‘win-win politics’). Политическая «игра с ненулевым результатом» дает решения, которые удовлетворяют всех, но при условии, если она организуется профессиональными коммуникативными менеджерами.

Эти профессионалы отталкиваются непосредственно от «жизненных», а не «политически заостренных» вопросов. Вокруг этих вопросов они собирают общественность, включающую внепарламентские элементы, для всестороннего и свободного обсуждения сути дела. Обсуждение понимается как важнейший момент в принятии окончательных решений по указанным вопросам. Поэтому речь идет не просто о беспорядочном «дискурсе», но и не о квази-идеологической полемике с выяснением антагонизма интересов. В обоих последних случаях нет практического эффекта, к которому стремятся коммуникативные менеджеры – рационального (что значит, к выгоде *всех* сторон) решения конкретных жизненных проблем. Поэтому речь идет об обсуждении как *упорядоченной дискуссии* или *диалоге*, где противоречия разрешаются посредством слушания партнера, через компромисс и консенсус.

Это означает, что политический «враг» (противник) заменяется здесь «партнером» по общему делу. Диалогическая коммуникация предполагает рациональный консенсус относительно базовых моральных ценностей, которые в диалоге (в отличие от полемики) выходят на первый план. Все это настолько меняет привычный образ политики, что сторонники модели рефлексивной модернизации говорят даже о наступлении «постполитики», созвучной духу «постмодерна». «В такой ‘постполитике’ конфликт глобальных идеологических проектов, представленный борющимися за власть партиями, замещен сотрудничеством просвещенных технократов (экономистов, специалистов по связям с общественностью и т.д.) и либеральными мультикультуралистами, занятыми поиском более или менее универсального консенсуса».[9]

Эта модель постполитики не понимает сути политики, – считают Лаклау и Муфф. Они ставят под сомнение тезис делиберативной теории о том, что в демократии можно и нужно ставить знак равенства между рациональностью, беспристрастностью и легитимностью. Делиберативная теория, по убеждению Лаклау и Муфф, необоснованно допускает возможность последнего примирения (final reconciliation) любого вида рационального консенсуса, полностью включающих «нас».[10] Однако установление рационального консенсуса невозможно без исключения, ибо отношения включения-исключения относятся к сути любой политики, в том числе демократической. В этом смысле «идеальная речевая ситуация» не может служить даже регулятивом демократического дискурса, ибо она принципиально чужда специфике политических отношений.

[8] Муфф Ш. Карл Шмитт и парадокс либеральной демократии // Логос. 2004. 6 (45). С. 146.
[9] Михайловский А.В. Борьба за Карла Шмита // Вопросы философии. 2008. № 7. С. 164.
[10] Лакло Э., Муфф Ш. К радикальной демократической политике …

На самом деле, убеждены Лаклау и Муфф, никакого исчезновения политики сегодня не происходит, поскольку и в информационном обществе социальные конфликты и антагонизмы не исчезают, а только модифицируются. «Деполитизация политики» есть ложный тезис делиберативной модели, который проистекает из методологических пороков либеральных «робинзонад». В них общество рассматривается как сумма отдельных индивидов, которым для успешной жизни нужны лишь рационально продуманные морально-правые регулятивы, а не какая-то «политика», ассоциирующаяся в данном контексте с иррациональной стихией «естественного состояния».

Итак, есть нечто общее в позициях Шумпетера и Хабермаса, что в них равно отвергает «радикальная демократия» – либеральное сужение политики, специфически либеральный концепт плюрализма, не видящий, что «политические вопросы всегда включают в себя решения, которые требуют выбора между конфликтующими альтернативами».[11] Даже «арендтовский плюрализм», в котором (в отличие от хабермасовского) согласие возникает посредством убеждения, а не неопровержимых доказательств, кажется Ш. Муфф слишком мирным, не признающим неискоренимость антагонизма в политике, а потому совпадающим в своей основе с либеральным плюрализмом.

Следующий упрек в адрес делиберативной демократии, прямо вытекающий из предыдущего, состоит в якобы непонимании сторонниками этой модели гегемонизма их собственного «рационального консенсуса». Стремление выстроить такой консенсус подавляет различные мнения, бытующие в обществе и сопротивляющиеся такому консенсусу. По словам Ш. Муфф, Ролз и Хабермас, постулируя возможность рационального согласия, тем самым подрывают концепцию демократического плюралистического процесса. Но, по мнению Э. Лаклау, само понятие множественности точек зрения требует присутствия антагонизма, причем в различных формах.

Принципиальный тезис «радикальной демократии», отличающий ее от демократии делиберативной, состоит в том, что подавление какой-то определенной формы антагонизма не должно приводить к подавлению антагонизма как такового.[12] Чтобы этого не произошло, теория радикальной плюралистической демократии подразумевает возможность постоянного оспаривания самих условий спора. Последовательный демократический плюрализм должен признавать это нормальным, потому что «не-исключающая публичная сфера рационального аргумента концептуально невозможна», а любая форма консенсуса есть результат «гегемонистической артикуляции», полной реализации которой препятствуют соперничающие дискурсы.[13] Важно только не рассматривать консенсус – наивным образом – как высшую цель демократической политики. Плюралистическая демократия должна не только признавать нормальными существующие в обществе различия, разногласия и антагонизмы, но и *гарантировать* их существование.[14]

Есть один любопытный парадокс в теории «радикальной» и особенно «агонистической» демократии: хотя делиберативная модель в целом оценивается здесь более благожелательно, чем шумпетерианская агрегативная модель, последней уделяется гораздо меньше внимания, чем критике концепций Хабермаса и Ролза. Более того, с Шумпетером Лаклау и Муфф роднит настороженное отношение к моральным аргументам в политике. Муфф, к примеру, не разделяет оценку делиберативными теоретиками шумпетерианства как морально несостоятельной модели, признающей своекорыстие универсальной «валютой» политических гешефтов. В этом пункте Муфф следует широко распространенной среди марксистов и ницшеанцев привычке рассматривать моральные суждения как закамуфлированное

[11] Муфф Ш. Пространства публичной полемики …

[12] Hegemony and Socialism: An Interview with Chantal Mouffe and Ernesto Laclau // Palinurus: Engaging Political Philosophy. Issue 14, April 2007/http://anselmocarranco.tripod.com/id68.html.

[13] Лакло Э., Муфф Ш. К радикальной демократической политике …

[14] См.: Laclau E., Mouffe Ch. Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics. London: Verso, 1985.

выражение классовых и прочих властных интересов. Именно поэтому она считает опасной «моралистическую тенденцию» в современной теории демократии.

Одновременно Ш. Муфф отмечает ряд методологически неудовлетворительных моментов, общих для «демократии обсуждения» и классического либерализма. В частности, считает Муфф, указанные точки зрения упускают из вида роль страстей и аффектов в формировании и поддержании политических идентичностей, в том числе демократических. Понимание демократических процедур как «страстных» форм жизни означает, помимо прочего, незаменимость эстетического измерения политики. В теории радикальной демократии это находит специальное обоснование посредством концепта «культурной гегемонии», о котором пойдет речь ниже. Здесь же важно зафиксировать, что для модели «радикальной демократии» артистические практики играют существенную роль в учреждении и поддержании наличного символического порядка или, напротив, при его оспаривании.

Принцип «страстной» политики направлен против того, что С. Липсет назвал политикой «скучных» партий. Имеется в виду ситуация, весьма характерная для демократии «шумпетерианского» типа, когда расхождения внутри «демократического лагеря» (т.е. среди партий, принявших системные правила игры) обессмысливаются до такой степени, что становится безразлично, какая политическая партия контролирует политику.[15] Но столь же «скучной», хотя и по другой причине, оказывается делиберативная модель демократии – из-за ее сухого этического нормативизма, подкрепленного не формами политической жизни, а доводами рассудочной логики.

Впрочем, при всех оговорках, остается релевантным вывод, который делают Лаклау и Муфф из критики делиберативной концепции: теоретические и практические проблемы современных демократий невозможно решить, лишь заменив господствующую «рациональность целей и средств» другой формой рациональности – совещательной и коммуникативной. «Чтобы всерьез заняться решением этих проблем, необходимо рассмотреть демократическое гражданство с иной точки зрения, сделав акцент на *типах практик*, а не на формах *приведения доводов*».[16] Однако «практики», о которых идет речь у теоретиков «радикальной демократии», имеют уже мало что общего с марксистским принципом «практики как критерия истины». В своей критике рационалистического метода делиберативной модели Лаклау и Муфф опираются, скорее, на «языковые игры» позднего Л. Витгенштейна.

В этом понятии Муфф усматривает новый способ теоретического осмысления политического, который «порывает с универсализирующей и гомогенизирующей формой, характерной для большей части либеральной теории со времен Гоббса».[17] Этой теории противопоставляется так называемый «контекстуалистский» подход. Если «рационалисты» вроде Ролза и Хабермаса видят задачу политической теории в установлении универсальных и общеобязательных политических истин, не зависящих от конкретных культурно-историчес-ких условий, то «контекстуалисты» в лице Уолцера, Рорти и др. вообще отрицает возможность «независящих от контекста» суждений. Согласно последней точки зрения, – пишет Муфф, – либерально-демократические «принципы» не могут считаться единственным и окончательно установленным ответом на вопрос о том, что такое «хороший режим», и представляют собой лишь один из вариантов «языковых игр».[18]

Критика агрегативной и делиберативной моделей открывает в теории радикальной демократии некоторые новые перспективы для концепции политического диалога, в какой мере демократия понимается здесь как множество различных форм политической «жизни», обнаруживающих лишь семейные сходства. Впрочем, диалогический потенциал концепций

[15] См.: Lipset S.M. Political Man. Garden City, New York: Anchor Books, 1963. Цит. по: Капустин Б.Г. Идеология и политика в посткоммунистической России. М.: Эдиториал УРСС, 2000. – С. 58.
[16] Муфф Ш. К агонистической модели демократии … С. 191. *Курсив мой* – С.П.
[17] Муфф Ш. Витгенштейн, политическая теория и демократия //Логос. 2003. 4-5 (39). С. 153.
[18] Там же. С. 155-156.

радикальной и агонистической демократии не является очевидным, что во многом объясняется крайней эклектичностью и двусмысленностью методологических основ этих концепций.

Плюральные идентичности демократической гегемонии

Чтобы разобраться в категориальной схематике «радикальной» и «агонистической» моделей демократии, надо для начала обратиться к книге Лаклау и Муфф «Гегемония и социалистическая стратегия», в которой целостно представлен весь методологический фон указанных моделей. А фон этот восходит не только к «лингвистическому повороту» в духе Соссюра и Витгенштейна, но также к неомарксистским идеям А. Грамши, прежде всего, к его понятиям «культурной гегемонии», «исторических блоков», «позиционной войны». Как известно, эти понятия весьма существенно повлияли на разработку Р. Далем концепции «полиархии»; Грамши вообще следует рассматривать в качестве одной из ключевых фигур в становлении современных коммуникативных теорий демократии.

Заметим, что Лаклау и Муфф отталкиваются от идей Витгенштейна не только в принципиальной критике делиберативной модели, но и в позитивном видении того, что они называют «радикальной плюралистической демократией».

Ключевым при этом оказывается витгенштейновский концепт «следования правилу». Под ним Витгенштейн подразумевает совокупность игровых интерсубъективных «практик» или «обычаев», которые следует понимать не как субъективную «интерпретацию» игрового правила (а значит, несовершенную игру), но как его нормальную и единственную реальность. Отсюда Лаклау и Муфф выводят аналогичное понимание следования правилам и процедурам демократии. Общая формулировка этих правил имеет вторичный теоретический и практический смысл, потому что она есть лишь попытка описания «семейных сходств» между различными вариантами и случаями демократической «игры». Свести все эти случаи к общеобязательным процедурам невозможно, поэтому бессмысленно декларировать в качестве цели демократии установление рационального консенсуса на универсальных основаниях.

Более того, Муфф упрекает авторов делиберативной модели демократии в европоцентристском предрассудке – будто западная демократия превосходит все другие формы народовластия и обладает какой-то особой (надкультурной) значимостью как самая чистая и рациональная форма демократического общества. В отличие от этого, модель радикально-плюралистической демократии не только признает, но сознательно культивирует разнообразие способов ведения «демократической игры». Это означает «взращивание институтов, которые учитывали бы множественность направлений возможного развития демократических правил».[19]

Причем эта множественность мыслится не как временное, компромиссное решение на пути к «полноценной» (читай – западного образца) демократии, а как коренной принцип и своеобразие демократического общественного устройства. Данная позиция перекликается, в частности, с пониманием демократии в партиципаторной теории демократии, развиваемой коммунитаристом Б. Барбером. Последний тоже считает, что каждая страна должна создавать свою собственную демократию, а не импортировать западную. В этом смысле, – пишет Барбер, – «истинной демократии в Афганистане может добиться только Лойя Джирга».[20]

Таким образом, какое определение демократии является наиболее существенным, зависит от «демократической игры» как эффекта политической культуры данной страны. Когда А. Пшеворский определяет демократию как «систему, при которой партии *про*игрывают выборы»,[21] то этот признак является наиболее важным именно в контексте «демократической

[19] Муфф Ш. Витгенштейн … С. 162.

[20] Барбер Б. Существует законное право на насилие ("La Vanguardia", Испания) // inosmi.ru, 23 июня 2004/http://www.inosmi.ru/text/translation /210623.html.

[21] Пшеворский А. Демократия и рынок. Политические и экономические реформы в Восточной Европе и Латинской Америке. – М.: Наука, 1999. – С. 29.

игры» в странах бывшего Восточного блока. Там такое определение противостояло концепту «социалистической» или «народной» демократии, где все выборы *вы*игрывали коммунисты.

Р. Даль тоже замечает, что институциональное определение демократии актуальнее в странах, лишенных демократических институтов, в то время как «интеллектуалы в странах, где демократия существует без перерывов уже на протяжении нескольких поколений или около того, пресыщены ее институтами и оскорблены их недостатками».[22] В этих странах акцент ставится не столько на наличии институтов демократии, сколько на их качестве, а также на качестве политического участия. Кстати, Пшеворский соглашается с тем, что существуют взгляды на демократическое общество с точки зрения участия и с точки зрения борьбы, но упор на участие важен именно в контексте развития демократии в Западной Европе**,** а не в других культурных регионах.[23]

Концепция радикальной демократии также отправляется от специфически западных условий левой борьбы за демократию, а именно, от грамшианского понятия «коллективных воль» как реальных политических субъектов в отличие от «классов» догматического марксизма. По словам Грамши, «любой исторический акт может быть совершен только ‘коллективным субъектом’, что предполагает достижение ‘культурно-социального’ единства, благодаря чему множественность разрозненных побуждений при разнородности целей сплачивается воедино для достижения одной и той же цели на основе единого (одинакового) и общего мировоззрения (всеобщего и частного, временно действующего и посредством эмоций — или постоянного, благодаря чему интеллектуальная основа настолько укореняется, усваивается, приживается, что может превратиться в бурную страсть)».[24]

Вопрос только в том, как достичь упомянутого «культурно-социального единства», лежащего в основе политически дееспособной «коллективной воли»?

В ответе на этот вопрос Грамши творчески использует понятие «гегемонии», выводя его за рамки ленинского «классового альянса». У итальянского марксиста культурная гегемония выступает основой идеологического согласия в обществе, что изнутри цементирует его в единый «исторический блок». Соответственно, социалистическую политику Грамши понимает как серию гегемонистских формаций исторических блоков. Такой взгляд существенно меняет Марксово понимание общества как процесса, в основе которого лежит логическая схема вроде «отрицания отрицания», обосновывающая освободительную миссию пролетариата. В ортодоксальном марксизме коммунистическая партия «вычитывает» эту логику из актуального исторического процесса, чтобы потом разъяснить непросвещенным рабочим их «объективные интересы» и «конечные цели». Грамши, напротив, исходил не из гегельянской «мифологии понятий», а из наличного – в данном конкретном обществе – многообразия общественных сил и интересов, понимая это разнообразие не как препятствие для «чисто пролетарской» политики, но как условие реального освобождения ныне живущих людей (а не «будущих поколений»). Этот момент плюрализма Лаклау и Муфф кладут в основу своего «радикально-демо-кратического» концепта социалистической политики.

Правда, они при этом существенно развивают грамшианское понятие гегемонии, пытаясь по-новому объяснить логику идеологического единства гегемонистских формаций. При этом помимо идей Грамши и философии языка позднего Витгенштейна, для описания парадоксальной идентичности гегемонистской формации авторы «Гегемонии и социалистической стратегии» привлекают лакановские понятия вроде «с*шивания*» и т.п.

Ключевую роль играет при этом понятие «артикуляции» (articulation – сочленение). *Артикуляцию* Лаклау и Муфф определяют как «любую практику, устанавливающую отношение между элементами таким образом, что их идентичность модифицируется в результате дан-

[22] Даль Р. Демократия и ее критики. – М.: РОССПЭН, 2003. – С. 343.
[23] Пшеворский А. Демократия и рынок … С. 29.
[24] Грамши А. Тюремные тетради / Грамши А. Искусство и политика: В 2-х т. Т. l. М.: Искусство, 1991. – С. 66.

ной артикуляционной практики».[25] Под *элементами* в этой дефиниции подразумевается «любое различие, артикулированное *не*дискурсивным образом», а под *дискурсом* – структурированная тотальность, образующаяся из артикуляционной практики. Характерные позиции, как они проявляются артикулированными в дискурсе, Лаклау и Муфф называют *моментами*, отличая их, таким образом, от *элементов*.[26]

Отрицая подход к социальным отношениям в духе философского рационализма XIX века, авторы «Гегемонии …» утверждают невозможность фиксации смысла «элементов» в каком-то окончательном («сущностном») виде. Свой смысл элементы получают в дискурсе, становясь его моментами. Но дискурсивная тотальность, – подчеркивают Лаклау и Муфф, – не является чисто «когнитивной» или «контемплятивной» сущностью. Она есть артикуляционная практика, конституирующая и организующая социальные отношения.[27]

Смысл этой дискурсивной практики принципиально открыт, он не задан никакой «политической логикой», определяемой «объективными классовыми интересами». Напротив, «классовые интересы … возникают внутри политической практики, идентифицируясь как результат определенных ее видов. Политическая практика не постигает вначале классовые интересы, а потом представляет их: она *конституирует интересы, которые представляет*».[28]

В какой мере субъективная позиция есть *дискурсивная* (в упомянутом смысле) позиция, она приобщена к *открытому* характеру этой конституирующей практики. Как следствие, субъективные позиции не могут быть полностью зафиксированы в какой-то закрытой системе различий. Субъекты так понятой дискурсивной практики принципиально де-центрированы, их идентичность есть «изменчивая артикуляция непрерывно изменяющихся положений» и «калейдоскопическое движение различий».[29] В этой связи Лаклау и Муфф подчеркивают подвижный и неустойчивый характер субъектов артикуляционных практик. Таких субъектов можно вслед за авторами «Империи» назвать «гибридными идентичностями», т.е. изменчивыми субъективностями без чет-кой социальной идентификации, производимыми одновременно несколькими социальными институтами.[30]

Таким образом, артикуляция – это не посредническая активность неизменных субъектов, преследующих свои готовые интересы; артикуляция предполагает трактовку субъективности в духе постмодернистского «распадения» или – точнее – «плюрализации» идентичностей. Идентичность агента гегемонистской стратегии не задана его «классовым характером», но дана исключительно его артикуляцией (сочленением) внутри гегемонистской формации. Это придает идентичности относительный, неустойчивый, случайный и – что немаловажно – принципиально незавершенный, как бы отсроченный характер. В таких условиях любая попытка теоретически схватить гегемонистскую стратегию посредством простого нарративного упражнения оказывается «миражом». Эта связь, – подчеркивают Лаклау и Муфф, – должна определяться в новых категориях, статус которых проблематичен, коль скоро они претендуют на понимание такого типа отношений, которые никогда не ухитряются быть идентичными самим себе.[31]

Такой тип идентичности, отвечающей артикуляционной практики, авторы «Гегемонии …» рассматривают как закономерный результат усложнения и фрагментации индустриального общества. Причем речь идет именно об усложнении его субъективной стороны – на

[25] Laclau E., Mouffe Ch. Hegemony and Socialist Strategy … P. 105.

[26] Ibid.

[27] Ibid. P. 96.

[28] Cutler A., Hindess B., Hirst P., Hussain A. *Marx's «Capital» and Capitalism Today. Vol*. 1. London: Routledge and Kegan Paul, *1977. – P.* 237. Цит. по: Laclau E., Mouffe Ch. Hegemony and Socialist Strategy… P. 120. *Курсив мой.* – С.П.

[29] Лаклау Э. Невозможность общества // Логос. 2003. – № 4-5 (39). – С. 56.

[30] Хардт М., Негри А. Империя. – М.: Праксис, 2004. – С. 308.

[31] Laclau E., Muff Ch. Hegemony and Socialist Strategy … P. 86.

общественной «сцене» становится тесно от активных и сознающих свои интересы субъектов (игроков). Как следствие, остается все меньше пространства для «просвещенного деспотизма интеллектуалов и бюрократов», которые выступали от имени масс и навязывали им тоталитарные формы контроля. Теперь же любое принятое решение с очевидностью и неизбежностью вступает в конфликт с решениями других социальных субъектов. Специфическая сложность (пост-)современных обществ выражается не только во множественности их субъектов, но и в том, что они порождают «фундаментальную асимметрию» между «пролиферацией» (избытком, неконтролируемым разрастанием) различий (значений) социального и трудностями, с которыми сталкивается любой дискурс, стремящийся зафиксировать эти различия как моменты стабильной артикуляционной структуры.[32]

В результате так понятого усложнения социальной практики, становится все труднее говорить, даже на уровне здравого смысла, что общество в целом движется в каком-то одном направлении, под воздействием каких-то лежащих в его основе структур. Таким образом, – поясняет Э. Лаклау, – социальная объективность обнаруживает здесь свои границы, причем границами социального выступает политическое, именно потому, что оно с необходимостью содержит в себе конфликт (антагонизм) интересов.[33] Но – опять же – «интересов» не в смысле рационалистической догматики позапрошлого века, а интересов как политических воль, конституирующих социальную реальность. Политические субъекты постоянно находятся перед необходимостью достраивать (завершать) социальную реальность, не достигая, однако, никогда горизонта этой деятельности.

Понятие *антагонизма* играет ключевую роль в концепции радикальной демократии, причем «антагонизм» еще больше, чем «интерес», приобретает в «Гегемонии …» вид крайне субъективного отношения, далекого от объективно-социо-логического смысла в классическом марксизме. «Антагонизм» авторы «Гегемонии ….» определяют как дискурсивный опыт границы всякой объективности, как живое доказательство невозможности конечного «сшивания» (в терминах Лакана) социальности. Причем граница социального – это не граница, разделяющая две объективно существующие территории; граница пролегает внутри самого социального, как нечто его ниспровергающее (субвертирующее), разрушающее его амбиции на полное присутствие и развертывание. В этом смысле антагонизм показывает, что «обществу никогда не удается быть вполне обществом».[34] Но границу социального антагонизм лишь показывает, не проговаривая ее – подобно витгенштейновским предложениям, которые не могут высказать, но только показать отраженную в них логическую форму.

По сути, антагонизм, понятый в духе методологии *linguistic turn*, оказывается несколько мистифицированным понятием, обслуживающим исходный тезис Лаклау и Муфф о политической артикуляционной практике как границе социальных порядков. Можно сказать, что так понятый «антагонизм» есть перифраз известного *action directe* – приглашение для открытой идентичности непосредственно вмешаться в открытую «логику» политического процесса, с его «избытком значений».

Но этот избыток значения должен быть обнаружен и в области субъективности. И он действительно представлен там, а именно, в форме упомянутых парадоксальных идентичностей, которые никогда не бывают тождественными самим себе. Такие идентичности чем-то напоминают героев Л. Кэрролла, что авторы «Гегемонии и социалистической стратегии» хорошо понимают. Неслучайно при описании логики гегемонистской операции они обращаются к идеям позднего Витгенштейна, с его многочисленными аллюзиями на кэрролловские тексты.

[32] Ibid, P. 96.
[33] Hegemony and Socialism: An Interview with Chantal Mouffe …
[34] Laclau E., Mouffe Ch. Hegemony and Socialist Strategy… P. 126.

Логика гегемонистской формации

«Логика гегемонистской формации» выражена в «Гегемонии …» как процесс убеждения. Причем убеждения, на первый взгляд, не столько в эристическом (полемическом), сколько диалектическом (диалогическом) смысле. Во всяком случае, Э. Лаклау считает ложной трактовку убеждения как процесса, в котором кто-то, обладающий убеждением *A*, сталкивался с убеждением *B*, а сам процесс убеждения заключался в переходе от одного к другому. Скорее происходит «дополнение картины новыми элементами и старое правило неспособно установить над ними гегемонию».[35] Поясняя, о чем идет речь, Лаклау ссылается на витгенштейновский пример «играющего» правила, определяющего последовательность числового ряда. Соответственно, процесс убеждения тоже играет по играющим правилам, и в нем тоже «все зависит о того, как выразился бы Льюис Кэрролл, кто главный».[36] Гегемонистское убеждение оказывается в итоге процессом, весьма далеким от *классического смысла диалога* – неким постмодернистским интеллектуальным потлачом, участники которого пытаются перещеголять друг друга выдумыванием все новых и новых правил, придающих событиям некую видимую закономерность.

Чтобы понять, как выглядит упомянутое «дополнение картины новыми элементами», и как ведут себя при этом старые и новые правила дискурса, надо иметь в виду *логику эквивалентности* и *логику различия*, которые объясняют в «Гегемонии …» механизм образования парадоксальной идентичности, конституированной антагонизмом внутри определенной историко-дискурсивной формации. Логика эквивалентности и логика различия структурируют, по Лаклау и Муфф, все политическое пространство.

В качестве примера социального движения, где превалирует *логика эквивалентности*, они приводят секту милленариев,[37] для которой реальность поделена на «мир добра» (сельская крестьянская культура) и «мир зла» (городская культура), причем злой мир есть негативное обращение (реверсия) доброго мира. Чтобы сконструировать эти миры, логика эквивалентности выстраивает цепь (систему) эквивалентностей, где повторяются сходные признаки, а различия подвергаются инверсии, реверсии и субверсии.

Пример политически работающей *логики различия* авторы «Гегемонии …» находят в политике британского премьера Б. Дизраэли, который хотел из двух наций (бедных и богатых) сделать *одну английскую* нацию. Для этого Дизраэли стремился разрушить систему эквивалентностей, составлявших народную революционную субъективность и настроенных антагонистически против тогдашнего режима. Дизраэли акцептировал требования этой революционности, но дифференцировал их, трансформировав в объективные различия внутри единой национальной общности, уже как ее «позитивные» качества. Тем самым антагонизм был удален из центра общества на его периферию.[38]

Эксплицитно ссылаясь на понятие товарного отношения в «Капитале» Маркса, авторы «Гегемонии …» подчеркивают двусмысленность (ambiguity) *отношения эквивалентности*: два термина, чтобы быть эквивалентными, должны быть различны – иначе они составляли бы простое тождество. В этом смысле различие в отношении эквивалентности неуничтожимо. С другой стороны, эквивалентность терминов существует только посредством акта низвержения (subversion) различающего их момента.[39]

Упомянутая ссылка на «Капитал» отнюдь не является ритуальным жестом авторов «Гегемонии …» в сторону классика левой политической мысли, как это кажется некоторым современным читателям Лаклау и Муфф. У Маркса «выражение эквивалентности» сводит

[35] Лаклау Э. Сообщество и его парадоксы: «либеральная утопия» Ричарда Рорти // Логос. 2005 – № 6 (45) – С. 110-111.

[36] Там же. С. 110.

[37] Члены этой секты верили в наступление тысячелетнего царства Христа на земле.

[38] Laclau E., Mouffe Ch. Hegemony and Socialist Strateg ... P. 129-130.

[39] Ibid. P. 127.

разнородные виды труда, содержащиеся в разнородных товарах, к тому, что в них есть общего – к человеческому труду вообще. Таким образом, отношение эквивалентности выражает качественно одинаковое для всех товаров, – то, что делает их однородными вещами в качестве стоимостей. Но речь здесь идет не просто о том, что две вещи, чтобы быть эквивалентными, должны быть различны. Гораздо более важным является то, что «эквивалентная форма стоимости» есть лишь *одна из ролей* (помимо относительной формы стоимости), которую играет товар в отношении к другому товару, а именно, когда он выступает в пассивной роли «эквивалента» его стоимости.

Причем роли, которые исполняют вещи в товарном отношении, взаимно обусловливают друг друга и в то же время друг друга исключают, будучи полюсами одного (товарного) отношения. В этом отношении каждая вещь поочередно принимает на себя то активную, то пассивную роль, выступая для другой вещи зеркалом, в котором отражается их общая (стоимостная) природа. Даже деньги как всеобщий эквивалент могут продаваться, т.е. выступать в роли относительной, а не эквивалентной формы стоимости. Эквивалентность здесь в том смысле не отделима от отличия, что различные в своей осязательной натуральной форме вещи эквивалентны (качественно одинаковы) как воплощения абстрактного человеческого труда.

Таким образом, в случае Марксова «выражения эквивалентности» речь идет не просто о банальности вроде тождественности некоторых черт различных вещей, но о *ролевом обмене* в рамках единого отношения, обнаруживающего *рефлексивную логику*: «посредством стоимостного отношения натуральная форма товара В становится *формой* стоимости товара А, или тело товара В становится *зеркалом* стоимости товара А».[40] Но самое интересное – с учетом общей темы нашего исследования – заключается в том, что эта рефлексивно-ролевая логика товарного отношения связывается в «Капитале» с *диалогическим общением*. «Чтобы *высказать*, что труд в своем абстрактном свойстве человеческого труда образует его, холста, собственную стоимость, он *говорит*, что сюртук, поскольку он равнозначен ему, и, следовательно, есть стоимость, состоит из того же самого труда, как и он, холст. Чтобы *высказать*, что возвышенная предметность его стоимости отлична от его грубого льняного тела, он говорит, что стоимость имеет вид сюртука и что поэтому сам он в качестве стоимости как две капли воды похож на сюртук».[41]

Дж. Торфинг, на наш взгляд, не совсем точно характеризует логику эквивалентности как выстраивание цепей эквивалентностей, акцентирующих момент сходства при ограничении связанного с ним момента различий.[42] В «Гегемонии …» речь идет не просто об «ограничении» или «уничтожении» различий, но именно об их *субверсии*. Этот термин используется авторами «Гегемонии …» отнюдь неслучайно, ибо за ним стоит определенная методологическая «история», уходящая в лакановский структурный психоанализ[43] и даже дальше, в «культурную гегемонию» Грамши.

Субверсия – это ведь не просто операция абстрагирования от различий и выстраивание абсурдных (с точки зрения предметной логики отношений) идеологических клише вроде «оси зла» Буша-младшего.[44] Такая интерпретация логики эквивалентности, возможно, оправ-

[40] Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Т.1. – М.: Изд-во полит. лит-ры, 1988. – С. 62. *Курсив мой* – С.П.

[41] Там же. С. 61.

[42] Torfing J. New Theories of Discourse: Laclau, Mouffe and Žižek. Oxford: Blackwell, 1999. – P. 97

[43] У Ж. Лакана есть работа с характерным названием: Lacan J. Subversion du sujet et dialectique du desire dans l'inconscient freudien / Lacan J. Escrits. P.: Seuil, 1960. P. 793-827. См. рус. пер.: Лакан Ж. Субверсия субъекта и диалектика желания во фрейдовском бессознательном / Культурология. Ростов-на-Дону: Феникс, 1995. – С. 516-527.

[44] В политике под термином *subversion* понимается подрывная деятельность против существующего политического режима, включающая террор, саботаж, диверсии, неформальные субкультуры и т.п. В постструктуралистских же теориях, не без влияния «культурной гегемонии» А. Грамши, данный термин, напротив, употребляется в позитивном ключе, как инструмент интеллектуальной эмансипации. Однако в любом случае имеется в виду сопротивление системе в лоне самой системы, ее низвержение через ее

дана в дискурсе С. Жижека, но она не вполне согласуется с трактовкой логики различия у того же Э. Лаклау. Последний, сравнивая марксистское понятие равенства с аналогичным концептом в «радикальной демократии», замечает, что предпосылкой человеческого равенства у Маркса было прогрессирующее упрощение социальной структуры (пролетаризация социальных слоев) в условиях капитализма. Но в действительности развитие пошло по другому пути, как это предсказывал уже Э. Бернштейн: в сторону усложнения общественной структуры, усиления его разнообразия и многообразия. «Но в таком случае, – делает отсюда вывод Лаклау, – логика равенства не может быть логикой гомогенизации. Она должна быть логикой того, что мы называем ‘эквивалентностью’, потому что в отношении эквивалентности вы не просто открываете тождество, но вы открываете нечто такое, что тождественно внутри пространства различий. Это указывает на гораздо более тонкую форму политической логики».[45]

В качестве примера действия логики эквивалентности Лаклау и Муфф приводят не только религиозных фанатиков, но и более позитивные (для либерально-демократического дискурса) случаи: расширение социал-демократами в XIX веке принципа равенства на экономические отношения или современную борьбу национальных меньшинств за право на самоопределение.

В обоих случаях логика эквивалентности предполагает расширение принципа равенства на большое многообразие социальных отношений, так что в обществе создается некая «прагматическая универсальность», в которой особенные требования формулируются в универсальных терминах.

Авторы «Гегемонии и социалистической стратегии» видят основную стратегию современных левых также в «расширении цепи эквивалентностей между различными видами освободительной борьбы».[46] При этом подчеркивается, что эквивалентностная артикуляция между анти-расизмом, анти-сексизмом и анти-капитализмом требует гегемонистской конструкции, которая в определенных обстоятельствах может быть условием консолидации всех упомянутых форм борьбы.

Причем конечный эффект логики эквивалентности может подразумевать разложение автономных пространств каждой из этих форм, однако необязательно из-за того, что каждая из них становится подчиненной другим, но просто потому, что все они становятся эквивалентными символами единой уникальной и неделимой борьбы.[47]

В своих более поздних статьях и интервью Лаклау и Муфф отнюдь не сводят смысл различия между логикой эквивалентности и логикой различия к отличию между дискурсом сходства и дискурсом различия, или между операциями упрощения и усложнения. Обе указанные логики мыслят тождество только в единстве с различием, так что это отнюдь не вульгарные мыслительные практики. Скорее, здесь подразумевается взаимное дополнение полюсов единой логики, отвечающей идеалу «радикальной демократии», как его развивают Лаклау и Муфф. В «Гегемонии и социалистической стратегии» они пишут о необходимости выстроить «*между* логикой полной идентичности и логикой чистого различия» целое многообразие социальных логик вместе с необходимостью их артикуляции. Причем эта артикуляция должна постоянно пересматриваться и воссоздаваться в ходе переговоров (renegotiated). Таким образом, демократический идеал Лаклау и Муфф с необходимостью предполагает обога-

опрокидывание. К примеру, Ж. Бодрийяр связывает такую практику с упомянутым выше вирусоподобным нарушением кода системы. Этому общему смыслу термина *subversion* родственна и речевая практика «субверсии», связанная с опрокидыванием дискурса оппонента посредством использования (обыгрывания) его собственных речевых средств. Часто это делается в остроумно-иронической форме, через акцентировку противоречивости исходных утверждений. Недаром Оруэлл заметил как-то, что каждая острота – это «маленькая революция».

[45] Hegemony and Socialism: An Interview with Chantal Mouffe ...

[46] Laclau E., Mouffe Ch. Hegemony and Socialist Strategy… P. 176.

[47] Ibid. P. 182.

щение логики эквиалентности и логики различия многообразием посредствующих *диалогических, переговорных практик*. Поэтому неслучайно единство этих логик Лаклау и Муфф противопоставляют крайностям либеральной и коммунитаристской доктрин демократии.

По словам Муфф, наиболее важным вкладом либерализма в современную демократию является идея плюрализма. Однако либералы слабы в осмыслении общности, им не хватает «идеи общих уз». Коммунитаристы, в отличие от либералов, в этом гораздо сильнее, зато они слабы в понимании плюрализма. Поэтому, пишет Муфф, надо найти такой способ постижения общности, который оставлял бы пространство для различий и особенностей. Взаимообусловленное единство указанных выше логик (эквивалентности и различия) призвано стать таким путем-методом. Имеется в виду именно единство в смысле связи относительной и эквивалентной стоимости в «Капитале» Маркса или связи синтагматической и парадигматической осей языка в лингвистике Соссюра. Это единство логик должно показать, что единение (togetherness) не может ограничиваться лишь наличием общих (common) черт, но должен быть найден способ, в котором особенности людей учитываются в «общих узах», их связывающих.[48]

В общем, логика эквивалентности характеризуется в «Гегемонии …» как логика упрощения политического пространства, а логика различия – как логика его усложнения. Это, впрочем, не значит, что первая логика слабее и более ответственна за ложный (в каком бы то ни было смысле) дискурс. Скорее, обе логики равно необходимы, дополняя друг друга по принципу синтагматического и парадигматического полюсов языка. По допущению авторов «Гегемонии …», логика различия стремится к расширению синтагматического полюса языка, а именно, числа позиций, которые могут вступить в отношения комбинации с другими элементами. В отличие от этого, логика эквивалентности расширяет парадигматический языковой полюс, то есть, увеличивает число элементов, которые могут взаимно заменяться и тем самым редуцировать число комбинируемых позиций.[49]

В целом, авторы «Гегемонии …» развивают весьма оригинальное понятие эквивалентности, в котором сходятся сразу несколько методологических линий. Во-первых, Марксов концепт «эквивалентной формы стоимости» из первого тома «Капитала»; во-вторых, понятие «субверсии», обнаруживающее лакановский структурно-фрейдистский фон; и в-третьих, соссюровское различие между синтагматическим и парадигматическим полюсами языка. Эта методологическая многозначность породила как в текстах самих Лаклау и Муфф, так и в работах их последователей, немало разноречивых толкований и недоразумений относительно логики эквивалентности.

Чтобы понять, как столь разные традиции совмещаются у авторов «Гегемонии …», можно обратиться к классической работе Бодрийяра «Символический обмен и смерть», где проводится уместная (для нашего случая) параллель между Марксом и Соссюром. По словам Бодрийяра, Соссюр выделял два полюса в обмене языковыми знаками, уподобляя их деньгам: с одной стороны, денежная единица должна обмениваться на какие-то реальные блага, с другой стороны, она должна соотноситься со всеми другими единицами данной денежной системы. Первый полюс соответствует структурному измерению языка, а второй – его функциональному аспекту. Хотя эти измерения различны, они обладают взаимной связностью, подобно тому, как у Маркса относительная и эквивалентная формы стоимости образуют взаимно друг друга обусловливающие, нераздельные полюса товарного отношения.

По мысли Бодрийяра, Маркс и Соссюр находились на одной «классической» стадии анализа знаков (денежных и языковых). На этой стадии целевой установкой структурных операций знаковых систем с необходимостью является десигнация, т.е. отнесение к реальным предметам вне этих систем. Современная же стадия знаков характеризуется отрывом их структурного измерения от измерения референциального, или функционального. Символиче-

[48] Hegemony and Socialism: An Interview with Chantal Mouffe …

[49] Laclau E., Moufef Ch. Hegemony and Socialist Strategy… P. 130.

ский обмен сегодня – это «стадия полной относительности, всеобщей подстановки, комбинаторики и симуляции. Симуляции в том смысле, что теперь все знаки обмениваются друг на друга, но не обмениваются больше ни на что реальное».[50]

Возникает состояние «плавающих означающих» вроде плавающих курсов валют, знаков, имиджей, лишенных эквивалентности каким-то реальным, «серьезным» содержаниям. Для Бодрийяра это значит конец соссюровской диалектики знака и реальности, которая соответствовала «классическому» периоду марксовской диалектики капитала и стоимости.

В «Гегемонии …» мы находим сходную картину социальной реальности на стадии «плавающих означающих». Однако эта картина лишена метафизического трагизма Бодрийяра и трактуется как данность, от которой отталкивается левая политическая альтернатива. Формирование гегемонистской формации начинается здесь в поле артикуляционных процессов, где «элементы» еще не кристаллизовались в «моменты». По убеждению авторов «Гегемонии …», завершенная система различий, исключающая любое «плавающее означающее», исключает любую артикуляцию (сочленение) элементов в дискурсивную тотальность. Гегемония же предполагает незавершенный, открытый характер социального и может формироваться только в поле, где доминируют артикуляционные процессы.[51]

Механизм формирования гегемонистской формации Лаклау и Муфф описывает с использованием лакановских концептов, как захват дискурсивного поля путем выстраивания цепочек означающих через фиксацию «плавающих означающих». Эта фиксация осуществляется не через установление их референта в реальном мире, но благодаря «узловым точкам» или «точкам захвата», по терминологии Лакана). Функциональная ценность (в том числе для дискурса радикальной демократии) этих точек состоит в том, что они позволяют артикулировать плавающие означающие посредством цепи эквивалентностей. В роли узловых точек нередко выступают «пустые означающие» вроде клишированных концептов *демократии*, *тоталитаризма*, *империи* и т.п.

Парадоксальным образом, именно смысловая пустота этих клише оборачивается здесь их преимуществом: они образуют пространство для артикуляции (сочленения) концептов при становлении гегемонистской дискурсивной формации. В этой связи Э. Лаклау полемизирует, к примеру, с Р. Рорти, для которого три слова «буржуазная – либеральная – демократия» образуют неделимое целое. По Лаклау, напротив, между ними существует лишь случайная артикуляция.[52]

Чтобы говорить о гегемонии, – пишут Лаклау и Муфф, – одной «артикуляции» недостаточно. Надо, чтобы эта последняя осуществлялась посредством конфронтации с *антагонистичными* ей артикуляциями. Однако не каждый антагонизм предполагает гегемонию, выстроенную посредством артикуляций. Таков, например, антагонизм в случае упомянутой секты милленариев, которая изначально и жестко противопоставляет мир зла миру добра, исключая любую артикуляцию их «плавающих» элементов.

Таким образом, – делают вывод Лаклау и Муфф, – есть два условия гегемонистской артикуляции: во-первых, присутствие антагонистических сил и, во-вторых, нестабильность границ, разделяющих эти силы между собой. «Только наличие обширной сферы плавающих элементов и возможность их артикуляции до оппозиционных лагерей – что предполагает *постоянно новое определение* этих лагерей – есть то, что конституирует область, позволяющую нам определить практику как гегемонистскую».[53]

Хотя современные либеральные демократии содержат упомянутые два условия, логика демократии сама по себе не ведет к формированию дискурсивных формаций, расширяющих свободу граждан. Логика либеральной демократии есть лишь «эквивалентностное смещение

[50] Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. – М.: Добросвет, 2000. – С. 52
[51] Laclau E., Mouffe Ch. Hegemony and Socialist Strategy… P. 134.
[52] Лаклау Э. Сообщество и его парадоксы … С. 113.
[53] Laclau E., Mouffe Ch. Hegemony and Socialist Strategy … P. 136.

эгалитарного воображения к расширяющимся социальным отношениям, лишь логика исключения отношений субординации и неравенства».[54] Этот негативный (субверсивный) момент логики демократии органически не дополняется позитивной идеей справедливого социального порядка. Их соединение есть результат гегемонистской артикуляции как *политического* проекта.

С этим обстоятельством связано различие между социальным и политическим, на котором особенно настаивает Ш. Муфф в рамках своей концепции «агонистической демократии». Муфф подчеркивает, что любой собственно *социальный* порядок скрывает первоначальные акты своего случайного политического установления, и необходимы, поэтому, собственно *политические* усилия, чтобы напомнить социальному порядку его гегемонистскую природу и попытаться установить новую гегемонию, а именно, более справедливого порядка.[55] Граница между так понятыми «социальным» и «политическим» по сути своей является нестабильной и требует постоянных *смещений и повторных переговоров* (displacements and renegotiations).[56]

Гегемония по сути своей включает в себя этот «переговорный» момент как условие образования жизнеспособной социальной альтернативы. В случае *радикально-социалистической* гегемонии, – утверждают Лаклау и Муфф, – позитивный социальный менеджмент и артикуляция различных демократических требований достигают максимума своей интеграции. Альтернативный проект левых должен состоять не в маргинальном проклятии системы, а в поиске «точки равновесия» между прогрессом свобод в самых разных сферах общества и способностью гегемонистского проекта к позитивной реконструкции этих сфер.[57]

Открытый и незавершенный характер любой социальной идентичности позволяет артикулировать ее в различных историко-дискурсивных формациях или «блоках», по Сорелю и Грамши. Фундаментальным вопросом любого практически ориентированного мировоззрения (т.е. идеологии) Грамши считал вопрос о сохранении идеологического единства во всем историческом блоке, цементируемом и объединяемом именно этой определенной идеологией. Исторический блок, рассмотренный с точки зрения антагонистической сферы, в которой он конституирован, Лаклау и Муфф называют «гегемонистской формацией».[58]

Тип связи, присоединяющий различные элементы к историческому блоку – это не единство в какой-либо форме исторического a priori, но «регулярность в рассеивании», совпадающая по смыслу с тем, что в «Гегемонии …» называется «дискурсивной формацией».[59] Нам важно отметить, что описание отношений внутри этой формации обнаруживает в работах Лаклау и Муфф частичные аналогии с *диалогическими* практиками. Прежде всего, гегемонистскую позицию эти политические философы противопоставляют отношениям властной субординации и взгляду на реальность с привилегированной точки зрения. Правда, гегемония, исключающая привилегию, кажется парадоксом, но она *и есть* парадокс, – считают авторы «Гегемонии …», хотя бы уже потому, что выстраивание гегемонистской дискурсивной формации предполагает не насилие, а его противоположность – *убеждение*.

В этой связи Лаклау и Муфф не только приветствуют, но даже усиливают амбивалентность грамшианского концепта «позиционной войны», который парадоксальным образом ведет к ее «демилитаризации». В этом концепте Лаклау и Муфф акцентируют гегемонистскую артикуляцию как «логику мобильности границ», разделяющих противоборствующие социальные центры. Причем речь идет о противоборстве, отчасти напоминающем трансформативный опыт диалогического общения. Идентичность каждого элемента, входящего в исто-

[54] Ibid. P. 188.
[55] Муфф Ш. Пространства публичной полемики …
[56] Mouffe Ch. Artistic Activism and Agonistic Spaces // Art & Research: A Journal of Ideas, Contexts and Methods. Summer 2007. – vol. 1. – №. 2. – P. 1-5/http://www.artandresearch.org.uk/v1n2/pdfs/ mouffe.pdf.
[57] Laclau E., Mouffe Ch. Hegemony and Socialist Strategy … P. 189.
[58] Ibid. P. 136.
[59] Ibid.

рический блок, зависит от его отношений с остальными элементами, поэтому такие отношения – *при условии* сохранения идентичности – абсолютно необходимы для их участников.[60]

Конечно, у авторов «Гегемонии …» есть веские основания рассматривать «философию практики» А. Грамши в качестве своего идейного источника. Однако, приписывая Грамши понимание политики как артикуляции,[61] Лаклау и Муфф несколько грешат против истины. Строго говоря, Грамши не понимает логику гегемонии как «логику артикуляции и случайности» в смысле радикальной плюралистической демократии. И причина этого заключается в том, что неомарксист Грамши стоит гораздо ближе диалектическому методу Гегеля и Маркса, чем «постмарксисты» Лаклау и Муфф. Весьма показательно, что свою цитату из «Тюремных тетрадей» авторы «Гегемонии …» обрывают как раз на том месте, где итальянский марксист излагает суть рефлексивной логики действия гегемонистского субъекта.

Для Грамши проблема «коллективного субъекта» исторического действия «может и должна быть приближена к современному состоянию педагогической науки и практики, согласно которым отношения между учителем и учеником являются активными, взаимосвязанными, благодаря чему каждый учитель является всегда учеником, а каждый ученик – учителем».[62] Эта мысль кажется почти перифразом упомянутого выше аристотелевского принципа полисного самоуправления, тем более что Грамши не ограничивает педагогические отношения только школой. По словам итальянского философа, любые отношения «гегемонии» в силу необходимости являются педагогическими отношениями: между интеллигенцией и неинтеллигенцией, между правителями и управляемыми, между элитой и ее последователями, между руководителями и руководимыми, между авангардом и главными силами армии.

Как видим, понятие политики предполагает у Грамши рефлексивный ролевой обмен по принципу педагогического отношения, что очень близко философии политики, развиваемой Дж. Дьюи и Дж.Г. Мидом. Приписывая Грамши категорию «артикуляции», авторы «Гегемонии …» вольно или невольно снабжают итальянского марксиста постмодернистским философско-методологическим ба-гажом, которого у него не было и быть не могло. Вместе с тем позиция Грамши в той мере близка (пост-)современным теориям политики, в какой она рассматривает идеологию как своего рода ресурс биосимволический власти, о чем мы упоминали выше в связи с «дискурсивным универсумом» Мида. Как и всякая легитимация, идеология не только озвучивает какие-то ценности, но и дает знания, обосновывающие (пусть и в превратной форме) нужный ценностный выбор. И если идеологическое отношение в рамках исторического «блока» – это диалог (а не информационная война средствами языковой демагогии), тогда она не только «зомбирует противников», но и «просвещает сотрудников», под которыми подразумеваются все, кто приобщен к идеологической «формуле».

Концепты, описывающие механизм образования гегемонистской дискурсивной тотальности (логика эквивалентности и логика различия, плавающие означающие, узловые точки и т.д.) позволяют конкретизировать высказанный выше тезис о парадоксальных идентичностях, отвечающих артикуляционным практикам современных (усложнившихся) обществ. Эта конкретизация делает старую идею социализма не только вполне комфортной для постмодернистских интеллектуальных салонов, но также ставит ряд дельных теоретических проблем. И первейшая из этих проблем связана с понятием субъекта освободительных движений.

Развитая в «Гегемонии и социалистической стратегии» концепция радикальной демократии претендовала на выражение духа новых социальных движений. (Подобно тому, как «Империя» Хардта и Негри пыталась выразить дух современных «антиглобалистов»). Эта политическая претензия в известной мере ограничивает постструктуралистские философские

[60] Лаклау Э. Сообщество и его парадоксы … С. 110.
[61] Laclau E., Mouffe Ch. Hegemony and Socialist Strategy… P. 85.
[62] Грамши А. Тюремные тетради … С. 66-67.

спекуляции «Гегемонии и социалистической стратегии», оставляя книгу в русле левой политической мысли – если не марксистской, то, по меньшей мере, нео- или постмарксистской.

Новые социальные движения отвечают, по Лаклау и Муфф, стадии «рассеивания идентичностей», когда процесс политической артикуляции становится все более и более важным. Главная проблема состоит в том, как мыслить политику, имеющую дело с фрагментированными социальными идентичностями? Ведь политические идентичности, по Лаклау и Муфф, никогда не даны непосредственно, но всегда конструируются на основе сложных дискурсивных практик. По словам Лаклау, опыт народных освободительных движений разного рода показал, что их политические идентичности никогда не могли быть организованы вокруг какого-то классового ядра, но, напротив, были широко открытыми для всех социальных слоев. Такие идентичности могли двигаться в очень разных направлениях, будучи результатом сложного процесса артикуляции. О них даже нельзя было сказать, что они a priori прогрессивны и не приведут к преступлениям. Установление их культурной (идеологической) гегемонии предполагает сферу упомянутых «плавающих значений», позволяющих определять себя каждый раз заново, в зависимости от «артикуляций» и «смещений» (displacement) внутри дискурсивных формаций.

Следует иметь в виду, что операция «смещения» выступает в теории радикальной демократии универсальным механизмом образования гегемонистских практик. Однако, при всей дескриптивной важности этого концепта, он вообще не задается вопросом о том, что позволяет гегемонистской формации сохранять единство, пусть временное и относительное. Причина этой методологической «скромности» – в отказе авторов «Гегемонии …» видеть какую-либо рационально постижимую логику (идеологическую, диалектическую или причинную) в историческом процессе. Единственное, что есть – это «прерывистая последовательность гегемонистских блоков».[63]

В целом, методологическая основа парадоксального описания Лаклау и Муфф гегемонистских формаций прямого отношения к рефлексивной логике диалога не имеет. Парадоксальность объясняется здесь в духе лингвистического поворота, а именно, «метонимичностью» гегемонии. Это значит, что гегемонистские действия всегда возникают из упомянутого «избытка значения», а этот последний есть результат смещения функций.[64] Примером последнего может служить практика, когда профсоюзные или религиозные организации берут на себя функции, традиционно им не свойственные, но оправданные, скажем, в условиях кризиса. Хотя так понятая гегемонистская формация предполагает постоянную практику «повторных переговоров» (renegotiati-on) между разными политическими субъектами, квалификации этой практики как «диалога» мешает ее мистификация с использованием жаргона структурного психоанализа. Эта традиция разворачивает всю проблематику «Гегемонии и социалистической стратегии» в сторону пси-хоанализа репрессивных идеологических практик. А это неизбежно ведет к недооценке социологической составляющей реальной политической коммуникации, придавая «радикальной демократии» – как политической альтернативе – несколько анархистский и одновременно мистический (в духе блоховского *Prinzip Hoffnung*) оттенок.

«Радикальная демократия» как левая альтернатива

Однако при всех упомянутых психоаналитических сюжетах, теория «радикальной демократии» все же недвусмысленно спроецирована на политическую практику. По словам Лаклау и Муфф, главной их целью была идентификация условий для организации коллективных действий, направленных на «борьбу против неравенства и на вызов

[63] Лаклау Э. Сообщество и его парадоксы … С. 110.
[64] Laclau E., Mouffe Ch. Hegemony and Socialist Strategy … P. 138-141.

отношениям субординации».[65] Своим основным идеологическим оппонентом «радикальная демократия» считает «новую консервативную волну» (тэтчеризм, рейганомику и пр.) как реакцию на «новых левых». Неоконсерваторам удалось основательно трансформировать (перегруппировать, переартикулировать) концепты политического дискурса, создав новое гегемонистское определение реальности, которое под покровом защиты «индивидуальной свободы» узаконило неравенство и восстановило иерархические отношения, разрушенные левым движением прошлых десятилетий.[66]

Левая альтернатива также может заключаться в конструкции новой идеологической гегемонии, а именно, посредством новой системы эквивалентностей. Вопрос только в том, какие идеи надо «приравнять» в левых идеологических «цепочках». В ответе на этот вопрос авторы «Гегемонии …» очерчивают рамки целого семейства идеологических диалогов, – не описывая, впрочем, эту практику в диалогических терминах, – ведущих к формированию новой левой гегемонии. Это предполагает, с одной стороны, отказ левых от части своего старого идейного наследства (как это делали в свое время русские или китайские коммунисты), а с другой стороны – признание левыми новых идей, традиционно считавшихся частью идеологии их оппонентов.

Прежде всего, левым следует отказаться от «эссенциалистского априоризма» как убеждения в том, что социальное «сшито» (sutured) в некоторых точках, из которых можно зафиксировать значение каждого события, независимо от любой артикуляционной практики. Это, – по мнению авторов «Гегемонии …», – привело к провальной попытке понять постоянное смещение «узловых точек», что серьезно ограничивало способность левых к действиям и политическому анализу.[67] Выражением эссенциалистского априоризма традиционных левых Лаклау и Муфф считают пролетарское мессианство, якобинство, этатизм и экономический редукционизм.

Отказываясь от всего этого, левые должны ставить во главу угла факт растущей дифференциации и плюрализации общества. Умножение политических пространств и предотвращение концентрации власти должны стать предварительным условием всякой истинно демократической трансформации общества. Причем такую трансформацию корректней назвать *радикально*-демократи-ческой, а не *лево*-демократической, потому что перед лицом прогрессирующей плюрализации общества теряет смысл традиционная политическая топография: различия между левым и правым все больше становятся относительными, ситуативными – как в идеологии, так и на практике. Отказ (в духе грамшианской «позиционной войны») от идеологического априоризма ведет к тому, что социалистическая политика становится крайне разнообразной – уже трудно найти какой-то один общий признак для «левой политики» (как и для различия между политически левым и правым).

В современной политике, по убеждению Лаклау и Муфф, любые классификации могут строиться только в смысле витгенштейновских «языковых игр»: самое близкое, что можно найти между различными формами, – их семейные сходства. Даже когда западные левые, отвергая этатизм как признак социалистической политики, подчеркивают разницу между гражданским обществом и государством, этот акцент не может служить их общим признаком. Не может, потому что отнюдь не любая форма господства воплощается в государстве, а гражданское общество, со своей стороны, отнюдь не всегда выступает пространством свободы, зато нередко – местом многочисленных антагонизмов и притеснений. В случае, например, феминистской политики «просвещенное» государство может оказаться важным средством борьбы женщин за свои права, тогда как традиции гражданского общества, напротив, могут этому препятствовать.[68]

[65] Ibid. P. 153.
[66] Ibid. P. 176.
[67] Ibid. P. 178.
[68] Ibid. P. 179.

Примерно такая же ситуация складывается и в отношении партийной организации левых движений. Наученные горьким опытом «демократического централизма» русских большевиков, многие западные левые склонны противопоставлять партийной организации спонтанные гражданские акции. Однако партия как политический институт играет в (пост-)современном плюралистическом обществе амбивалентную роль: она может быть бюрократической структурой, тормозящей творческую гражданскую инициативу, но может (в других констелляциях) выступать и действенным организатором рассеянных, но политически активных масс, инструментом расширения и углубления демократической борьбы.[69]

Отказываясь от идеологического фундаментализма старых левых, радикальные демократы в качестве альтернативы неоконсервативной политике считают себя членом семьи либерально-демократических дискурсов. Свою задачу они видят не в отказе от либерализма, но, напротив, в его углублении и расширении в сторону радикальной и плюралистической демократии. Факт плюрализации общества объективно усиливает либеральную идею индивидуальных прав, однако сам по себе либеральный дискурс на этих правах не фиксирован. Более того, либерализм не связан «неразрывными узами» с демократией. По справедливому замечанию Хабермаса (а с ним согласились бы и авторы «радикальной демократии) негативно-либеральные права на свободу, равно как и социальные долевые права, могут выступать патерналистским даром, из-за чего «правовое государство и социальное государство в принципе возможны и без демократии».[70] Этот «плавающий» статус элементов либерального дискурса может служить полем гегемонистской борьбы за расширение демократии на все гражданское общество и государство.[71]

Правда, это делает еще более пустым и неопределенным само понятие либеральной демократии, но в этом как раз его преимущество – если смотреть на это через призму структурного психоанализа (в смысле «пустых означающих» в роли «узловых точек»). Сила освободительного дискурса в его пустоте – утверждает Лаклау почти в духе Лао-Цзы, обращая свой изящный лозунг против теории рационального выбора. И если для данной теории идеал освобождения есть некое конечное содержание, поддающееся определению, то для радикальных демократов освободительный идеал есть «сосредоточение мечты», причем мечты все более пустой, все более превращающейся в «пустое означающее» – по мере того, как к ней присоединяются все новые и новые требования.[72]

Такое понимание политического идеала означает, что сам по себе он не может служить руководством к действию. Таковым может быть только конкретная властная констелляция, в которой находятся конкретные субъекты действия. Властное отношение предстает в «Гегемонии …» как некий континуум, крайними точками которого выступают, с одной стороны, отношения *субординации* (когда один субъект просто подчинен решениям другого, как, например, рабочий – решениям работодателя), а с другой – отношения *угнетения* (когда субординация трансформируется в антагонизм). Но между этими точками располагается множество форм отношений *доминирования*, которые, будучи отношениями субординации, рассматриваются как нелегитимные с точки зрения перспективы внешнего им социального субъекта. Как следствие, эти отношения могут совмещаться или не совмещаться с отношениями угнетения, актуально существующими в определенной социальной формации.[73] Именно этот тип изменчивых, неоднозначных властных отношений составляет мотор радикальной демократии, открывая пространство для собственно политического дискурса (в отличие от правового или полицейского регулирования).

[69] Ibid. P. 181.

[70] Хабермас Ю. Гражданство и национальная идентичность / Хабермас Ю. Демократия. Разум. Нравственность. – М.: АО «KAMI», ACADEMIA, 1995. – С. 229.

[71] Laclau E., Mouffe Ch. Hegemony and Socialist Strategy… P. 177.

[72] Mouffe Ch., Laclau E., Zournazi M. Hope, Passion and the New World Order. Mary Zournazi in conversation with Chantal Mouffe and Ernesto Laclau. Sydney, September, 2000 // Contretemps. 2001. – № 2 (May). – P. 41.

[73] Laclau E., Mouffe Ch. Hegemony and Socialist Strategy… P. 153-154.

Как видим, концепция радикальной демократии имеет дело с классически широким понятием политического, что особенно видно на примере трактовки ею феминизма. Эта теория не ограничивает политику только публичной сферой, жестко противопоставленной личной, она показывает, что властные отношения, как они проявляются в семье, школе и т.п., становятся со временем элементом публичной политики. Такое широкое понятие политического роднит теорию радикальной демократии с другими коммуникативными теориями, включая делиберативную модель. Однако «радикальная демократия», в отличие от классического либерализма, подчеркивает не столько защиту приватного пространства от публичного, сколько *многообразие* публичных пространств. В одной из своих статей Э. Лаклау выражается еще радикальнее: демократическое общество *не*совместимо с существованием только *одного* публичного пространства. В условиях работающей демократии должно быть множество различных проявлений «гражданского республиканства».[74] Именно благодаря многообразию этих публичных пространств возникает *рассеянная демократическая культура*, в которой «антагонизм не только не исключается из демократического общества, но служит самим условием его создания».[75]

Своим акцентом на многообразие публично-политических пространств «радикальная демократия» очерчивает обширную сферу диалогической коммуникации между самыми разными политическими субъектами. Эта коммуникация вытекает из возможностей, связанных с «децентрированным» характером социальных агентов, с дискурсивной множественностью, конституирующей этих агентов посредством различных смещений и артикуляций. Мы, – пишут Муфф и Лаклау, – являемся свидетелями более радикальной, доселе невиданной по размаху политизации, потому что она стремится разложить различие между публичным и частным – но не в терминах вторжения в частное посредством единообразной публичности, а в смысле разрастания радикально новых и различных политических сфер.[76] Результатом этого процесса является появление многообразия политических игроков, чью идентичность можно адекватно помыслить только при условии отказа от категории субъекта как единообразной, объединяющей и унифицирующей сущности.

Благодаря смещению демаркационной линии между личным и публичным умножаются пространства, в которых новые логики эквивалентности разлагают очевидную позитивность социального, проблематизируя его политические истоки. Это может, к примеру, получить вид эквивалентностной артикуляции между антирасизмом, антисексизмом и антикапитализмом. Но как на практике выглядит эта артикуляция, если на время отвлечься от логических и психоаналитических терминов? О чем, встретившись, будут говорить живые представители упомянутых идеологий, что *конкретно* их объединит: какая-то новая идеологическая формула, компромиссное «арифметическое среднее» их воззрений или просто приставка «анти-» в их названиях? Этот вопрос в «Гегемонии и социалистической стратегии» по-настоящему даже не ставится. Между тем у коммунитариста А. Этциони, например, из этого вопроса вырастает целая концепция «моральных диалогов».

Чтобы возникла идеологическая «эквивалентность», необходимо *реальное взаимодействие* между группами, в котором они научились бы прислушиваться к мнению друг друга. Таким образом, эквивалентность всегда «гегемонистична» в той мере, в какой она не просто устанавливает «альянс» между данными интересами, но модифицирует саму идентичность сил, вовлеченных в этот альянс.[77] Заметим, что такая трансформация идентичности происходит в любом настоящем диалоге, в том числе идеологическом. К сожалению, процесс идеологической «пере-артикуляции» левых теория радикальной демократии описывает в психоаналитических терминах, что существенно обедняет политические возможности данной тео-

[74] Лаклау Э. Сообщество и его парадоксы … С. 112.
[75] Там же. С. 113.
[76] Laclau E., Mouffe Ch. Hegemony and Socialist Strategy … P. 182.
[77] Ibid. P. 183-184.

рии. Ведь кристаллизация новой идеологии есть не автоматический результат структурно-психоаналитической механики «плавающих означающих», но совершается в сфере публичной политики, как результат взаимного обучения в ходе многочисленных диалогов, в том числе, морально-идеологи-ческих.

Для модели радикальной демократии характерна существенная недооценка идеологического logos'a и – как следствие – идеологической диа-логики. Одновременно роль диалога ограничивается в этой модели двумя вмонтированными туда антропологическими принципами: надежды и страсти. По словам Муфф, политика должна учитывать, что для людей важно иметь веру в будущее, видеть какую-то альтернативу существующей политической ситуации. И неважно, какие рациональные аргументы могут быть направлены против этой веры и надежды, ее просто надо обеспечить, чтобы хоть что-то сдвинуть в политике. Таким образом, в «радикальной демократии» Лаклау и Муфф левая идеология приобретает несколько стоический, квазирелигиозный вид, что особенно ярко проявилось в концепции так называемой «агонистической» демократии, активно развиваемой в последние годы Ш. Муфф.

«Агонистическая» демократия Ш. Муфф

Политическим «спусковым крючком» для развития этой концепции стал рост праворадикальных настроений в Западной Европе, особенно в связи с волной иммиграции после крушения Восточного блока. По словам Ш. Муфф, если демократические партии не научатся в этих условиях убедительным образом артикулировать принцип надежды, пусть и утопической, это сделают (и уже делают) *вместо* них и *против* них ультраправые партии.[78]

Нынешний рост правого радикализма, – замечает Муфф, стал вызовом для теоретиков консенсусной политики «по ту сторону левого и правого», уже объявивших было о наступлении «постполитического мира». Теперь вот политика вернулась, причем в форме жесткого идейного антагонизма. В этой связи бельгийский философ усиливает свою критику делиберативной модели демократии, которая из-за своей веры в возможность всеобщего рационального согласия якобы направила демократическое согласие по ложному следу. Но здесь сразу же надо заметить, что «агонистическая» критика концепта постполитики есть в известной мере самокритика «радикальной демократии», поскольку – как мы замечали выше – отказ от идеологического «априоризма» традиционных левых означает в «Гегемонии и социалистической стратегии» исчезновение единого общего признака не только левой политики, но также отличия левой политики от не-левой.[79]

Как бы то ни было, в своих последних работах Ш. Муфф часто упрекает Ролза и Хабермаса в «слепоте» относительно политических последствий их доктрины. По ее мнению, либеральное сведение политики к администрированию, без четкого образа противника, есть самоубийственное предприятие, без боя отдающее политическую сферу на откуп религиозным, моральным и этническим фундаменталистам.[80] В отличие от либералов, отталкивающихся от индивидов-одиночек, фундаменталисты и популисты делают ставку на коллективные идентичности и связанный с ними эмоциональный (а не рациональный) консенсус. И пока делиберативные демократы мечтают о рациональном консенсусе на основе «взвешенной дискуссии», популисты мобилизуют публику на основе традиционной схемы друзей и врагов.

Муфф считает иллюзорной саму попытку теоретиков делиберативной демократии установить правильные процедуры демократического дискурса независимо от индивидуальных жизненных практик. Легитимность этих общих процедур может основываться только на их рациональности, из-за чего сторонникам делиберативной модели надо проводить различие между простым согласием и рациональным консенсусом. Последний предполагает наличие

[78] Mouffe Ch., Laclau E., Zournazi M. Hope, Passion … P. 41.
[79] Laclau E., Mouffe Ch. Hegemony and Socialist Strategy … P. 179-180.
[80] Муфф Ш. К агонистической модели демократии … С. 191.

определенных ценностных критериев (беспристрастность, равенство, открытость, отсутствие принуждения, единодушие), а также идеальной ситуации в качестве регулятива, где эти критерии мыслятся как реализованные. «Сочетание этих ценностей гарантирует в обсуждении легитимность результата, поскольку тем самым создаются общие интересы, относительно которых все участники могут достичь согласия».[81]

Однако, по убеждению Муфф, свободное и неограниченное публичное обсуждение вопросов, вызывающих общий интерес, невозможно в принципе, поскольку индивидуальные позиции и формы жизни, которые кажутся «препятствиями» для его осуществления, выступают условиями его возможности, т.е. без них не было бы вообще никакого обсуждения. Рациональное обоснование демократического порядка достигается в делиберативной модели абсурдным допущением практически недоступных условий (вроде «идеальной речевой ситуации» Хабермаса), где либерально-демократические принципы избираются рациональными, но нереальными индивидами. Поэтому «нет никаких оснований для того, чтобы придавать особое значение так называемой ‘моральной точке зрения’, которая руководствуется рациональностью и беспристрастностью и будто бы позволяет достигнуть всеобщего рационального консенсуса».[82] Такой консенсус тоже нереален, поэтому политически абсурдно убеждать людей стремиться к тому, чего никогда не может наступить.

Отсюда, однако, не следует, что процедуры либеральной демократии не должны руководствоваться этическими принципами, определенным «демократическим этосом». Напротив, – убеждена Муфф, – демократические процедуры могут быть эффективными только в том случае, если они опираются на преданность демократии и убежденность в ценности ее институтов. Но убежденная приверженность демократическим правилам не может быть получена в результате чисто интеллектуального обоснования, как набор правил, выведенных из общего постулата о превосходстве либеральной демократии и «порекомендованных» индивидам по всему миру для использования в отдельных случаях. Конечно, можно строить и чисто интеллектуальные обоснования демократии и демократического консенсуса. Но сам факт наличия таких доказательств еще не может служить оправданием их значимости, вопреки известному тезису Еллинека. Как изящно выразился по этому поводу Адам Пшеворский, «я не утверждаю, что нормативная приверженность демократии редка или иррелевантна, а только, что она не нужна, чтобы понять, как функционирует демократическое государство».[83]

А чтобы это понять, необходимо в приверженности демократической процедуре видеть специфическую *веру*, которая вместе с тем выступает и образом жизни, и способом суждения о жизни, т.е. «страстным выбором» демократической ориентации.[84] Речь идет о сложном процессе идентификации с демократическими ценностями, который включает в себя не только доводы и обоснования, но многочисленные практики, дискурсы и языковые игры. Другими словами, демократические процедуры должны быть включены в общие формы жизни и «согласованность суждений», за которыми тоже стоит согласованность форм жизни. И никакого более надежного обоснования приверженности демократическим нормам и правилам не существует, – убеждена Ш. Муфф.

Одну из решающих причин роста популярности ультраправых Муфф видит в «дефицитах демократии», даже в западных странах. Этот дефицит выражается в сужении пространства для осмысленного участия в принятии важнейших политических решений. Муфф пишет о «дефиците эффективных демократических дебатов о возможных альтернативах», дефиците, который существенно способствует успеху правых популистов. Последние выступают с претензией быть «гласом народа» в условиях отрыва элит от рядовых граждан. Пра-

[81] Муфф Ш. Карл Шмитт … С. 147

[82] Муфф Ш. К агонистической модели демократии … С. 192.

[83] Пшеворский А. Демократия и рынок … С. 45.

[84] Витгенштейн Л. Философские исследования / Витгенштейн Л. Философские работы. Ч. 1. – М.: Гнозис, 1994. – С. 470.

вые дают людям надежду на то, что существующее положение вещей могло и может быть другим. Конечно, – замечает Муфф, – эта надежда иллюзорна, она покоится на ложных предпосылках и включает ксенофобские настроения. Но нельзя допускать, чтобы правые становились единственной отдушиной для политических страстей граждан и единственной политической альтернативой, артикулируемой в публичном пространстве. Фактически же происходит именно так, и ответ «пост-политических» либералов на рост правого популизма выглядит совершенно неадекватным. Этот ответ – лишь моральное осуждение и установление «санитарного кордона».[85]

С учетом этой критики либеральной «политики консенсуса» и правоэкстремистской угрозы, Муфф и стремится построить такую модель демократии, которая была бы адекватна политической жизни, то есть учитывала бы природу политического как сферы антагонизма и конфликта, а не этически регулируемого дискурсивного примирения. В современных условиях – убеждена Муфф, – основной вопрос демократической политики состоит не в том, чтобы преодолеть в политических отношениях оппозицию «мы – они» (ибо это невозможно сделать, не уничтожая суть политического), а в том, чтобы установить эту оппозицию в форме, совместимой с плюралистической демократией. Это означает превращение «их» из *уничтожаемых врагов* в *законных соперников*, «с чьими идеями мы боремся, но в чьем праве отстаивать их мы не сомневаемся». Такую систему отношений Муфф называет «агонистическим плюрализмом» как основой «агонистической демократии».[86]

Другими словами, речь идет о том, чтобы «приручить» (Муфф) антагонизм, трансформировать его в *агонизм*. Здесь сразу же возникают вопросы: во-первых, *как* осуществить такую трансформацию, и, во-вторых, в чем коммуникативная специфика отношений *агонистического соперничества*, в каком отношении они находится к *диалогу* (в отличие от полемики с врагом)? Странным образом, как раз на эти вопросы у Муфф нет развернутого ответа. Правда, в негативном плане утверждается, что вопрос превращения антагонизма в агонизм «заключается не в том, как достичь компромисса между конкурирующими интересами, и не в том, как достичь ‘рационального’, то есть полностью включающего согласия».[87] Чтобы сохранить суть политического, противостояние между «нами» и «ими» нужно не устранять, а устанавливать «иным способом». Но каким именно «иным» образом?

По словам Муфф, агонистическое противостояние соперников предполагает их отказ от возможности *рационального разрешения конфликта*. Означает ли это, что агонистическая коммуникация с самого начала исключает диалог? Но тогда *что* и – главное – *зачем* объединяет агонистических противников? – Они, оставаясь в конфликте, тем не менее, «видят себя принадлежащими одному и тому же политическому объединению, … разделяют одно и то же символическое пространство, где и происходит этот конфликт».[88] Как это возможно? – Это возможно, если в агонизме сталкиваются не упрямые и грубые интересы, а «проекты гегемонистского характера», которые субъективны и случайны по своей природе, а потому не могут быть рационально примирены. «Это непрочные и прагматичные конструкции, которые могут быть разартикулированы и трансформированы в результате агонистической борьбы между сторонами».[89] Поскольку натуральная конкретность политического интереса в агонистическом отношении нейтрализуется, он принимает форму игры по правилам, точнее, становится конфронтацией, регулируемой демократическими процедурами. Таков незамысловатый круг аргументации.

---

[85] Mouffe Ch. Democracy in Europe …

[86] Муфф Ш. К агонистической модели демократии … С. 193-194.

[87] Муфф Ш. Пространства публичной полемики …

[88] Там же.

[89] Там же.

В сухом остатке получается, что смысл агонистического общения – чисто фатический, символический, страстный, игровой (на что и намекает сам термин «*агон*-ическое»).[90] Это – коммуникация ради коммуникации, сохранение режима мирного общения, лишь бы не проливалась кровь в открытом конфликте. Все это открывает пространство для симулятивных практик квазидиалогов. К такому выводу толкает и формальная парадоксальность агонистического отношения, субъекты которого имеют загадочную природу «невозможных предметов». Это – противники, которые, однако, не могут считаться конкурентами; они находятся по разные стороны баррикад, но не являются врагами и т.п. Но эти замечания нисколько не смутили бы автора «агонистической» модели демократии – ведь иррациональность и псевдодиалогизм агонистического общения она трактует как необходимое условие становления политических идентичностей.

Ш. Муфф убеждена: отказ признать политическое в его антагонистическом измерении ведет к неспособности теоретиков и практиков «постполитического консенсуса» понять главную роль страстей в становлении коллективных идентичностей. В противоположность этому, Муфф призывает создать «динамичные агонистические публичные пространства», где могли бы сталкиваться различные гегемонистские политические проекты. Такая конфронтация создаст коллективные формы идентификации, мобилизует страсти во имя демократии и таким образом не допустит «сдачи» публичной сферы правым популистам.

В этой связи бельгийский философ приводит исторический пример гитлеризма, восхождение которого, – по ее мнению, – в значительной мере объясняется умелым внушением надежды тем, кто отчаялся. В этом смысле, – замечает Ш. Муфф в одном из своих интервью 2001 года, – есть немало параллелей между преднацистской Германией и ситуацией в современной России, где праворадикальное движение со временем также сможет «овладеть воображением народа». Впрочем, и в западных странах Муфф констатирует сходные тревожные тенденции.[91]

Таким образом, упрекая Хабермаса в том, что тот вынужден (из-за своего идеализма) вводить различие между рациональным и нерациональным *консенсусом*, Муфф тут же вводит собственный контр-аналог такого различия, а именно, между двумя видами *антагонизма*. Первый – это *антагонизм в собственном смысле слова* как борьба между врагами, второй – *агонизм* как борьба между соперниками. Отсюда играючи (с точки зрения «агонистического плюрализма») выводится цель демократической политики: преобразовать *антагонизм* в *агонизм*.[92]

Коррелятом этого различия выступает у Ш. Муфф спекулятивное различие *политики* и *политического*, где под политикой понимается «совокупность практик, словесных игр и институтов, при помощи которых создается порядок, организующий человеческое сосуществование в контексте конфликтности, создаваемой политическим», а под политическим – конститутивное для человеческих обществ измерение антагонизма.[93]

Если в период написания «Гегемонии …» Муфф и Лаклау акцентировали обессмысливание традиционной политической топографии, то теперь, напротив, они критикуют «затемнение различия между левым и правым».[94] Вменяя это «затемнение» в вину «консенсусной политике», они усматривают в нем недооценку «реального антагонизма». А это, в свою оче-

[90] Греческое слово αγών означало состязание, борьбу, акцентируя при этом игровой смысл этой борьбы: как соревнование атлетов, певцов, поэтов или как словесный поединок (диспут, конфликт) между двумя героями в драме.

[91] Mouffe Ch., Laclau E., Zournazi M. Hope, Passion … P. 42.

[92] Муфф Ш. К агонистической модели демократии … С. 195.

[93] Муфф Ш. Пространства публичной полемики …

[94] Hegemony and Socialism: An Interview with Chantal Mouffe …

редь, рождает безразличие к политике, гражданскую пассивность, наносит вред «вибрирующей демократической жизни».[95]

В этой связи Лаклау и Муфф существенно конкретизируют понятие антагонизма, предложенное ими в «Гегемонии и социалистической стратегии». В данной книге антагонизм, «далекий от того, чтобы быть объективным отношением»,[96] мистическим образом избегает даже возможности быть схваченным в языке. В этой связи бросается в глаза, что в «Гегемонии и социалистической стратегии», а именно, в главе, специально посвященной антагонизму, ни разу не упоминается Карл Шмитт, зато присутствуют Маркс, Кант, Гегель, К. Поппер и Л. Витгенштейн – если назвать только самых известных авторов. И понятие антагонизма развито здесь исключительно в русле традиции «лингвистического поворота», без намека на шмиттианство.

Таким образом, в теории «радикальной демократии» образца 1985 года антагонизм есть выражение невозможности тотально-монологического дискурса в условиях плюралистической демократии; в понятии же антагонизма, которое Муфф и Лаклау развивают сегодня, выражается, напротив, невозможность диалога между антагонистическими позициями «врагов». Теперь «антагонизмом» обозначается социологически вполне понятная ситуация, в которой сталкиваются взаимно исключающие друг друга требования (интересы). «Антагонизм» подразумевает ситуацию, которой, по К. Шмитту, политические отношения *всегда* чреваты: «когда ‘они’ воспринимаются как ставящие под вопрос ‘нашу’ идентичность и угрожают нашему существованию».[97]

В связи с новой трактовкой «антагонизма» Муфф проводит различие между концептами «радикальной» и «агонистической» демократии. Радикальная демократия, по ее мнению, есть политический проект, который не составляет оппозицию либерализму и сам может быть назван «радикальной либеральной демократией». Термин «радикальный» означает здесь лишь радикализацию демократической революции посредством реального расширения принципов демократии на все новые и новые сферы общества. Но сами по себе эти принципы, коль скоро они утверждают свободу и равенство для всех, не ставятся под вопрос концепцией радикальной демократии. А вот модель агонистической демократии, напротив, есть идеологический проект, связанный с «конфликтом интерпретаций» принципов демократии. Такой конфликт является нормой «вибрирующего демократического общества» и выражается почти как у Хабермаса или Этциони – в виде «дебатов и конфронтации относительно интерпретаций».[98]

Примером такой полемики может служить борьба различных интерпретаций принципа гражданства, развиваемых неолиберальной, консервативной, социал-демократической и пр. идеологиями. Но для Муфф главный смысл этих дебатов состоит в критике либеральной интерпретации принципов свободы и равенства. И тут обнаруживается любопытный парадокс «левизны» Муфф: в своей критике либерализма она прямо заимствует аргументы у правого теоретика К. Шмитта. Имеется в виду мысль немецкого философа о том, что «либеральные концепции обычно движутся между этикой и экономикой. Из этих двух полярных позиций они пытаются уничтожить политическое как сферу власти и принуждения».[99] В обоих случаях у либералов упускается антагонизм, то есть, суть и специфика политического как такового. Таким образом, суть отличия радикальной демократии от агонистической – в правой (шмиттианской) прививке к левому демократическому проекту. Другими словами, агонисти-

---

[95] Ibid.

[96] Laclau E., Mouffe Ch. Hegemony and Socialist Strategy… P. 125.

[97] Муфф Ш. Пространства публичной полемики …

[98] Hegemony and Socialism: An Interview with Chantal Mouffe …

[99] Schmitt C. The Concept of Political. Rutgers, 1976. – P. 71. Цит. по: Алексеева Т.А. Справедливость. Морально-политическая философия Джона Роулса. М.: Наука, 1992. – С. 56.

ческая демократия представляет собой диковинный образец эпохи идеологических гибридов – «шмиттомарксизм».

При этом Муфф совершенно не задается вопросами, которые здесь естественным образом возникают: как может «антагонизм» в смысле Шмитта переходить в «агонизм», как его трактует Муфф? Ведь у Шмитта социальные антагонизмы решаются посредством насилия, а не демократических процедур, пусть и «страстных». У Муфф же вектор трансформации антагонизмов должен быть непременно либерально-демократическим. Но почему надо выбирать именно демократические, а не какие-то другие ценности? Если в политической жизни царит «война богов», а ценности суть закамуфлированное выражение властного интереса, тогда выбор демократической трансформации антагонизма является иррациональным и всегда может быть оспорен любой авторитарной или тоталитарной политикой.

На явную противоречивость позиции Муфф указывают многие авторы.[100] В самом деле: по Муфф, агонистическое отношение, в отличие от антагонизма, предполагает признание «либерально-демократической толерантности». Но чем тогда оно отличается от либерализма и делиберативной модели, которые Муфф критикует как «соперников»? С одной стороны, Муфф упрекает либералов в том, что они способны лишь на моральное осуждение правого радикализма и не могут бороться с ним политически. Но тут же бельгийская (пост)марксистка изымает правых радикалов из собственно политического общения и называет их «врагами», с которыми невозможны отношения соперничества, ибо такие отношения могут иметь место только между левыми и демократическими правыми.[101]

Для Муфф очень важно сохранить антагонизм во властно-политическом отношении, поэтому даже понятие «конкурента» кажется ей слишком либеральным, хотя с учетом фактических средств и приемов практикуемой конкурентной борьбы (особенно в странах вроде России) представляется проблематичным само различие между врагами и соперниками, вводимое Муфф не без метафизического пафоса. Но с практической точки зрения совершено непонятно, чем отличается играющий по законным правилам «конкурент» от «легитимного врага», действующего в рамках правовой демократической системы. Ничего, кроме языковой игры, здесь увидеть невозможно, но Муфф, похоже, и саму демократию понимает не столько по *образцу* языковой игры, сколько как одну из ее *разновидностей*. Иначе как объяснить, что источник легитимности упомянутого врага бельгийский философ усматривает непосредственно в *общих* для Их и Нас «этико-политических принципах либеральной демократии – свободе и равенстве»?[102] Как же тогда понятийно совместить «радикальный плюрализм» с приверженностью общим этико-политичес-ким принципам?

Тут на помощь Муфф опять приходит «языковая игра», рождая изящный парадокс: «конфликтный консенсус», когда общие принципы существуют, но лишь во множестве противоречивых интерпретаций. Пресловутый «конфликт интерпретаций» есть, стало быть, суть демократического плюрализма, поэтому конфликт надо беречь и культивировать, а не подавлять путем навязывания авторитарного порядка. Правда, имеется в виду только «мирный конфликт», который порождается «легитимными врагами» и ведет к «конфликтному консенсусу». Как замечает Д. Глинос, этот «конфликтный консенсус» не является ни субстантивным консенсусом относительно конкретной интерпретации, ни регулятивным идеальным консенсусом в духе Хабермаса, но касается лишенного определенного содержания, пустого универсального означающего «свобода и равенство для всех».[103] В случае «конфликтного консенсуса» мы имеем дело, скорее, с игровым, квазихудожественным образованием, о котором судят по эстетическим или терапевтическим критериям. В «конфликтном консенсусе»

[100] См., к примеру: Crowder G. Chantal Mouffe's Agonistic Democracy. Refereed paper presented to the Australasian Political Studies Association conference. University of Newcastle, 25-27 September 2006. – P. 10.

[101] Hegemony and Socialism: An Interview with Chantal Mouffe …

[102] Муфф Ш. К агонистической модели демократии … С. 194.

[103] Глинос Д. Радикальный демократический этос, или Что такое подлинное политическое действие? // Логос. 2003. – № 405 (39). – С. 92.

Ш. Муфф есть нечто от «несогласного согласия» П. Рикёра;[104] агонистический конфликт есть как бы стилизация реального антагонизма под социальную драму, обрамленную сознательно сконструированной интригой и лишенную жестокостей антагонистического столкновения.

Философская картина «агонистической демократии», сплошь сотканной из логических и семантических парадоксов, весьма далека от предметной логики политического общения. В реальной политике речь отнюдь не всегда идет об антагонизме, но просто о *различии*, к тому же, не обязательно ценностей, а просто интересов. Все это дает достаточно простора для изменения позиций партнеров (вовсе не обязательно конкурентов, соперников и тем более врагов) в ходе аргументированной дискуссии-диалога, придерживающейся общих логических, правовых и морально-эстетических правил игры и ценностей. Но даже если речь идет о конфликте разных правил игры и разных ценностей, нельзя, особенно в политической науке с серьезным социологическим базисом, абстрагироваться от генезиса и текучести этих ценностей. Здесь методология «радикальной демократии» в смысле книги 1985 года Лаклау и Муфф (гегемонистские формации, исторические блоки, смещения, антагонизмы как выражение *неизбежности* диалога и т.д.) вступает в противоречие с шмиттовским пониманием политики в концепте «агонистической демократии» (где антагонизм – центральное понятие, выражающее *невозможность* диалога).

Как замечает Д. Глинос, многие теоретики отталкиваются от использованного Фуко (под влиянием Ницше) понятия «агонизма», обозначающего отношения, которые являются одновременно взаимным побуждением и борьбой, т.е. не столько прямой конфронтацией, парализующей обе стороны, сколько перманентной провокацией.[105] Идея демократического плюрализма изначально иррационализирована в этой традиции в духе философии «жизни», причем не только ницшевского, но и веберовского типа. Жизнь, понимаемая из нее самой, – пишет Вебер, – «знает только несовместимость наиболее принципиальных, вообще возможных жизненных позиций и непримиримость борьбы между ними, а следовательно, необходимость между ними *выбирать*».[106] Но если Вебер говорит об иррациональности *ценностного* выбора, то Муфф распространяет этот принцип на собственно политическую сферу, что существенно ее мистифицирует.

Плюралистический подход к демократическим практикам сам по себе располагает к их диалогической трактовке, но у Муфф вместо диалога действует архаическая идентификационная схема «мы – они», конструируемая с опорой на Фрейда и Шмитта, Лакана и Деррида. Эта схема предполагает, что «они» только в роли «врагов» или «соперников» представляют собой условие возможности «нас».

Для Муфф (как и для шмиттианской традиции в политической философии) плюрализм ценностей неискореним, из чего делается вывод о невозможности рационального решения конфликта. Публичный политический диалог в агонистической демократии Муфф невозможен, потому что публичное пространство она понимает как «поле битвы, где сталкиваются различные гегемонистские проекты, не имея никакой возможности последующего примирения».[107]

Это не значит, по Муфф, что исключена ситуация, когда «соперники» достигают хотя бы временного консенсуса, однако природа этого консенсуса не является рациональной. Чтобы достичь согласия, да еще при антагонизме ценностей, надо не просто принять точку зрения другой стороны, но «испытать радикальное изменение политической идентичности». Если диалогом, т.е. путем рационального убеждения, это не достичь, тогда остается иррацио-

[104] См. об этом рикёровском концепте: Вдовина И. От переводчика / Рикер П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. М.: «КАНОН-пресс-Ц»; «Кучково поле», 2002.
[105] Глинос Д. Радикальный демократический этос … С. 89.
[106] Вебер М. Наука как призвание и профессия / Вебер М. Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990. – С. 730.
[107] Муфф Ш. Пространства публичной полемики …

нальное «обращение» в новую веру. Но такое обращение дает лишь временный консенсус как «временную передышку в непрекращающемся противостоянии».[108]

Такой взгляд на публичную сферу изначально исключает рефлексивно-диалогический принцип выработки коллективных идентичностей, как его понимали Аристотель и Дж. Г. Мид. Заметим, однако, что этот принцип вовсе необязательно должен быть сократическим. Чистая коммуникация на основе значимых символов, – писал Мид, – сама по себе не ведет с необходимостью к интеграции индивидов, но эта коммуникация поощряет и побуждает те процессы, в которых она служит посредником. По словам Мида, «человек не может передавать язык как чистую абстракцию, но вместе с языком он в известной мере передает и стоящую за ним жизнь».[109] Заметим, что Мид здесь отчасти предвосхищает, причем в общественно-политическом контексте своих рассуждений, понятие «языковой игры» позднего Витгенштейна. Эта концепция, на наш взгляд, гораздо органичнее вписывается в картину коммуникации, как она развита в традиции символического интеракционизма, чем в шмиттианский образ политики, с его «жизненным» привкусом «почвы и крови».

Причиной неприятия у Муфф и Лаклау принципа рефлексии является отказ от классического понятия диалектики, его замена «принципом различия». В этом пункте авторы «радикальной демократии» близки постмодернистской установке авторов «Империи» – своих союзников-конкурентов по разработке идеологии новейших левых. Для М. Хардта и А. Негри диалектика является «манихейским миром, разделенным серией бинарных противопоставлений, которые определяют Самость и Другого, белое и черное, внутреннее и внешнее, правителя и управляемого».[110] Тот факт, что диалектика по своей сути имеет прямое отношение к рефлексивной логике диалога, здесь полностью забывается. Сводя, якобы, многообразие различий к бинарным оппозициям и единому порядку, диалектика оказывается «центральной логикой господства, исключения и управления в эпоху модерна».[111] Постмодернистская же мысль, – утверждают Хардт и Негри, – выступает идейным ресурсом освободительной борьбы против патриархата, колониализма, расизма и прочих форм угнетения.[112]

Однако из критики классического понятия диалектики в «Гегемонии …» и «Империи» делаются прямо противоположные выводы относительно судьбы публичной политики. Хардт и Негри видят в «постсовременном» обществе тенденцию к «исчезновению публичных пространств», характерных для эпохи модерна и составлявших поле действия классической либеральной политики. Теперь, по их мнению, публичное пространство приватизировано до такой степени, что нет больше смысла понимать социальную организацию в понятиях диалектики взаимодействия между приватным и публичным. Напротив, Лаклау и Муфф пишут не о «дефиците политического», но о взрывном росте новых публично-политических сфер в современной плюралистической демократии.[113] Возможно, этим кардинальным различием в позициях объясняется тот факт, что авторы «Империи» обходят красноречивым молчанием «радикальную демократию» Лаклау и Муфф.

---

[108] Муфф Ш. К агонистической модели демократии … С. 195.

[109] Mead G. H. *Mind, Self and Society from the Standpoint of a Social Behaviorist.* Ch. W. Morris (ed.). Chicago: University of Chicago, 1934. – P. 284.

[110] Хардт М., Негри А. Империя… С. 137.

[111] Там же. С. 138.

[112] Правда, у Лаклау и Муфф отказ от классического концепта демократии проводится не столь последовательно, как у Хардта и Негри (и в «постмодернизме» в целом). С одной стороны, авторы «радикальной демократии», отказываясь от Истории в пользу «прерывистой последовательности гегемонистских блоков», логично отрицают постижимость последней посредством диалектической логики. Однако это не мешает Лаклау и Муфф использовать термин «диалектика» при описании связей вроде упомянутой «прерывистой последовательности». См., к примеру: Лаклау Э. Сообщество и его парадоксы … С. 110.

[113] Laclau E., Mouffe Ch. Hegemony and Socialist Strategy … P. 182.

Эклектика как метатеория: к критике методологических основ «радикальной демократии»

Агрессивный методологический эклектицизм теорий «радикальной» и «агонистической» демократии ведет, прежде всего, к искажению исходного содержания главного объекта критики данных теорий – делиберативной модели. Муфф и Лаклау приписывают ей постулирование «публичной сферы, где властью можно было бы пренебречь»,[114] а также тезис, будто «чем более демократическим является общество, тем меньший объем власти присутствует в его социальных отношениях».[115] Эти упреки бьют мимо цели, свидетельствуя, прежде всего, о крайне узком понимании власти, особенно в «агонистической» демократии Муфф. Бельгийский философ совершенно не принимает в расчет, что Ю. Хабермас наследует мидовский (и арендтовский) дуальный концепт власти как силового доминирования *и* как функции организованной коллективной деятельности.[116]

Соответственно, делиберативная модель демократии совсем не требует, чтобы каждое политическое решение принималось посредством публичного обсуждения, зачастую долгого, с неопределенным исходом, обременительного по процедуре и т.п. Она лишь настаивает на том, что демократия не может успешно функционировать и развиваться без достижения долгосрочного консенсуса по принципиальным вопросам, для чего и необходима практика взвешенного публичного обсуждения. В связи с этим, – как отмечалось выше, – Хабермас различает «власть, рождающуюся в процессе коммуникации» *и* «административно применяемую власть».[117] Муфф тоже не может обойти эту дуальность власти, формулируя различие между «политикой» и «политическим», что, однако, скорее запутывает, чем проясняет суть дела.

Представляется явным преувеличением и обвинение делиберативной модели демократии в недооценке «страстей». Это фактически неверно в отношении того же Хабермаса, который тоже отмечает важность эстетического момента гражданской национальной идентичности. Но это касается не только Хабермаса, а целого ряда других либеральных теоретиков демократии. Вопреки гиперболизированной оценке Муфф, – как замечает Д. Краудер, – «обсуждение (deliberation) не исключает страсти или страстного приобщения к коллективным идентификациям; оно лишь подразумевает критическое исследование этих приобщений, а также допущений, которые они производят».[118]

Эклектическая методология Муфф и Лаклау ведет к искажению не только исходного содержания идей их теоретических оппонентов, но и тех концепций, на которые они в этой критике опираются. Прежде всего, это концепт «постмодерна», который развивает Ж.-Ф. Лиотар в качестве «третьего пути», альтернативного как системному подходу в духе Н. Лумана, так и делиберативной теории Ю. Хабермаса.[119] Далее, методология Муфф и Лаклау отражает «философию практики» Грамши, «генеалогию морали» Ницше и Фуко, «войну ценностей» Вебера, структурный психоанализ Лакана и Жижека, философию языка Витгенштейна и Деррида, наконец, близкое Фрейду и Шмиту понятие «политического». Этот идейный «микс» объединяет цель, ради которой он задействуется: критика делиберативной модели демократии.

---

[114] Муфф Ш. К агонистической модели демократии … С. 192.

[115] Там же. С. 193.

[116] Политические философы описывают целое многообразие форм политической власти. См., к примеру: Ледяев В.Г. Власть: концептуальный анализ. М.: РОССПЭН, 2001 (в особенности, с. 344 и далее). Но при этом важно не упустить из виду ее указанную дуальную природу, в каких бы оттенках и формах она ни проявлялась.

[117] Хабермас Ю. Философский спор вокруг идеи демократии / Хабермас Ю. Демократия. Разум. Нравственность. М.: АО «KAMI», ACADEMIA, 1995 . – С. 50.

[118] Crowder G. Chantal Mouffe’s Agonistic Democracy … P. 25.

[119] Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. СПб: Алетейя, 1998. См., в особенности, с. 156-157.

При этом бросается в глаза, прежде всего, весьма вольное обращение Муфф с идеями Витгенштейна. Бельгийская (пост)марксистка просто *использует* эти идеи, свободно артикулируя их с концептами других авторов и концепций, не задаваясь вопросом, насколько это вообще позволяет их исходный контекст. При этом в политологической интерпретации витгенштейновских концептов у Муфф обнаруживается одно примечательное несоответствие: с одной стороны, она акцентирует витгенштейновское понятие «*языковой* игры», а с другой – имеет в виду «игры наподобие *шахмат или тенниса*», когда пишет об «интерсубъективных 'практиках' или 'обычаях'», в которых выражается использование общих понятий в политической коммуникации.[120] Между тем есть существенные различия между языковыми и неязыковыми играми, и Витгенштейн неслучайно указывает на «весьма разные роли», которые может играть в играх то, что мы называем «правилом игры».[121]

По мысли Витгенштейна, «термин 'языковая *игра*' призван подчеркнуть, что «*говорить* на языке – компонент деятельности или форма жизни».[122] Так понятая языковая игра есть весьма дальний родственник спортивным играм, и те довольно грубо выражают специфику политической интерсубъективности. К последней гораздо ближе (по крайней мере, по роли игровых правил) стихия повседневного общения, где правила игры скорее напоминают игру в крокет у кэрролловской Королевы, чем спортивные состязания по строгим правилам. Вполне возможно, что Витгенштейн имеет в виду именно этот кэрролловский сюжет, когда задается в «Философских исследованиях» вопросом: «А не случается ли, что и мы иногда играем, 'устанавливая правила по ходу игры'? И даже меняя их – 'по ходу игры'». <…>. 'Но это же не игра, если в *правилах* есть какая-то неопределенность'. – А *действительно* ли это совсем не игра? – 'Может быть, ты и будешь называть ее игрой, но, во всяком случае, это же не совершенная игра'. <…>. – Но я хочу сказать: мы превратно понимаем роль, какую играет идеал в наших способах выражения. То есть: мы и это назвали бы игрой, только нас ослепляет идеал, и поэтому мы неясно понимаем действительное употребление слова 'игра'».[123] Ключевой в этом диалогическом рассуждении Витгенштейна является идея *игры с играющими правилами*, методологически более предпочтительная для понимания политической коммуникации, чем спортивные игры.

В этой связи А. Этциони не без иронии замечает: «В сравнении с решениями в реальной жизни игра в шахматы – простое дело. В шахматах есть только два игрока, непреложные правила, вся необходимая информация находится перед глазами игрока, властные отношения между шахматными фигурами фиксированы, и полностью определены правила хода. В обществах, напротив, число игроков велико и непостоянно, правила игры меняются во время игры, информации всегда не хватает, властное соотношение между теми, *кто* играет и теми, *кем* играют, часто меняется, и правила боя тоже текучи. В результате, участие в принятии всех решений должно относиться к более скромным процессам, чем утверждает, закравшись в сердце делиберативной модели демократии, школа рационального принятия решений».[124]

Если понимать, вслед за Витгенштейном, – как того и желает Муфф – интерсубъективные властные практики как совокупность языковых игр, тогда естественно – именно для контекста витгенштейновских рассуждений – предположить их *диалогическую*, а не антагонистическую природу.

---

[120] Муфф Ш. Витгенштейн … С. 161.

[121] «Правило может быть инструкцией при обучении игре. Его сообщают учащемуся и обучают его применению правила. — Или же правило выступает как инструмент самой игры. — Или же его не применяют ни при обучении игре, ни в самой игре; не входит оно и в перечень правил игры. Игре обучаются, глядя на игру других. Но мы говорим, что в игре соблюдаются те или иные правила, так как наблюдатель может «вычитать» эти правила из практики самой игры как некий закон природы, которому подчиняются действия играющих». См.: Витгенштейн Л. Философские исследования … С. 105.

[122] Витгенштейн Л. Философские исследования … С. 93, 90.

[123] Там же. С. 118-119, 125.

[124] Etzioni A. Moral Dialogues in Public Debates // The Public Perspective. 2000. – vol. 11. – №. 2. – P. 27.

Обратим внимание, как описывается в «Философских исследованиях» отношение игр, образующих «семью» как «сложную сеть подобий, накладывающихся друг на друга и переплетающихся друг с другом».[125] Этот тип отношений Витгенштейн сравнивает с *плетением нити*, прочность которой «создается не тем, что какое-нибудь одно волокно проходит через нее по всей ее длине, а тем, что в ней переплетается друг с другом много волокон». Впрочем, нечто все же «проходит через всю нить – а именно непрерывное наложение ее волокон друг на друга».[126] Эта метафора «нити» напоминает нам известную платоновскую мифометафору политики как «царского плетения». В диалоге «Политик» говорится, что царь изготавливает «мягкую и ладно сотканную» ткань государства, когда он «взаимной выдачей обязательств» сплетает воедино «добродетели неподобных между собой душ, устремляющиеся в противоположные стороны».[127] Примечательно, что метафору плетения Платон использует не только для обозначения политического искусства, но для диалогического дискурса в разных его аспектах. В диалогах Платона речь идет о «сплетении» категорий (Софист. 240 c), «переплетении» вещей и обозначающих их имен (Теэтет. 202 b), а также о «ткани» речей в многолюдных собраниях (Федр, 268 a).

Отношения языковых игр тоже обнаруживают у Витгенштейна диалогические черты. Эти отношения формируют дискурс, который не может быть заключен в рамки строго очерченных понятий – он текуч, его границы всегда открыты. Отношения языковых игр суть тоже игра, причем игра, в которой правила устанавливаются и меняются по ходу игры.[128] Витгенштейн подчеркивает, что следование правилу есть интерсубъективная практика, а не идеально выраженное субъективное мнение. Мышление для него – род разговора, и как раз это отличает осмысленную речь от «бессмысленного словоговорения».[129] У Витгенштейна, получается, как по Бахтину – речь только в диалоге загружена настоящим смыслом, а «то, что ни на что не отвечает, представляется нам бессмысленным, изъятым из диалога».[130] В этом смысле «правилу нельзя следовать лишь ‘приватно’; иначе думать, что следуешь правилу, и следовать правилу было бы одним и тем же».[131] Между тем в политике субъекты постоянно сталкиваются с противоречием, когда получают совсем не то, что они предполагали, следуя правилу. «Гражданское положение» такого противоречия или его «положение в гражданском обществе» Витгенштейн считал как раз серьезнейшей философской проблемой.[132]

Как видим, характеристики отношений различных языковых игр обнаруживают у Витгенштейна типичные признаки диалогического общения: концептуальную незавершенность (открытость) и неопределенность, а самое главное – включенность в (кон)текст,[133] где отдельная языковая игра есть лишь одно из «волокон» в плетении дискурсивной «нити». С учетом сказанного, витгенштейновская концепция «языковых игр» (в ее аутентичном смысле) вряд ли может служить удачным союзником в походе против Хабермаса.

Примерно так же обстоят дела и в случае веберовской идеи «войны богов», которая противопоставляется Муфф принципу компромисса и согласия в политике. Это также резко противоречит понятию политики, развиваемому самим Вебером. Да, политик и по Веберу должен уметь принимать решения, борясь за власть, а не выполнять приказы как чиновник. Но это значит также, что политик должен уметь заключать компромиссы, жертвуя менее важным ради более важного.[134] Вебер тоже, как и Муфф, подчеркивает, что политику нужна страсть, но не менее важным для политика немецкий социолог считает и чувство ответствен-

[125] Витгенштейн Л. Философские исследования … С. 111.
[126] Там же. С. 111-112.
[127] Платон. Политик. 310 a – 311 a / Платон. Законы. М.: Мысль, 1994. – С. 68-69.
[128] Витгенштейн Л. Философские исследования … С. 118-119.
[129] Там же. С. 190.
[130] Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – М.: Искусство, 1979. – С. 350.
[131] Витгенштейн Л. Философские исследования … С. 163.
[132] Там же. С. 130.
[133] Здесь уместно вспомнить исходный смысл лат. (con-)textus как «сплетение».

ности.[135] Отсюда получается взвешенное определение политики, в котором добродетели согласия дополняются добродетелями соперничества: «Политика есть мощное медленное бурение твердых пластов, проводимое одновременно со страстью и холодным глазомером».[136] С учетом этого, некорректно было бы резко противопоставлять веберовское понимание политики делиберативной теории демократии.

Методология Вебера не позволяет запросто противопоставить себя принципу согласия уже хотя бы потому, что соответствующая категория вводится им в методологический инструментарий «понимающей социологии».

Подобно Марксу и Миду, Вебер проводит аналогии между товарным и вербальным обменом, дабы подчеркнуть, что любой обмен не исчерпывается единичным актом, но предполагает в своей единичности «смысловую соотнесенность с будущими действиями внутри некоей неопределенно представляемой сферы актуальных и потенциальных»[137] носителей знаков (денежных, вербальных и др.). В этом Вебер видит основу *согласия*, полагаемую *любым* обменом. Согласие есть категория, коренящаяся в актах обмена, в «дискурсивном универсуме» обмена. Это то, что объединяет методологию Маркса, Вебера и Мида. И это то, чего не хватает концепции агонистической демократии. Чтобы понять суть и роль диалога и согласия, надо отправляться от актов обмена. Тогда становится понятным, почему согласие нельзя так жестко противопоставлять борьбе, как это делает Муфф, и почему без согласия вообще невозможно выразить отличие агонизма от антагонизма.

Здесь опять обнаруживается, что Муфф критикует в своей агонистической демократии не столько хабермасовскую категорию «согласия», сколько свою карикатуру на эту категорию. В этой связи уместно напомнить, что у Вебера (а его методологический аппарат крайне важен для понимания делиберативной модели демократии) «действия на основе согласия – еще не ‘солидарность’, и общественные действия никоим образом не исключают и не противоречат тем общественно связанным действиям, которые мы называем борьбой».[138] С другой же стороны, – замечает Вебер – «в большинстве актов ‘борьбы’ содержится какая-то степень общественного объединения или согласия. Перед нами обычный в социологии случай, когда фактически понятия частично перекрывают друг друга».[139] Очевидно, что для «агонистического» подхода, вдохновленного шмитто-ницшеанской мифологией, частично перекраивающиеся по-нятия научной социологии – это «слишком научный» подход к политике.

Взятые вне исходного авторского контекста, веберовские и витгенштейновские концепты получают в «агонистической демократии» Муфф чуждый им оттенок шмиттианства. Вслед за Шмиттом, Муфф озабочена тем, чтобы не сделать государство зависимым от социальных групп в качестве результата переговоров и компромиссов между ними. Тем самым вместе с водой (либеральными мифами о добровольном объединении людей посредством общественного договора) Муфф выплескивает и ребенка – ключевую роль переговорно-диалогических практик в современной демократии. В этом смысле шмитто-витгенштейновская методологическая конструкция значительно проигрывает делиберативной теории Хабермаса, не говоря уже о концепте моральных диалогов А. Этциони.

Концепция агонистической демократии есть лишь инверсия абстрактной схемы делиберативной демократии, превращение консенсуса из идеала в контр-идеал политического дискурса. Но, как мудро заметил П. Бурдье, невольно характеризуя

[134] Вебер М. Парламент и правительство в новой Германии / Вебер М. Политические работы 1895-1919. – М.: Праксис, 2003. – С. 148.

[135] Вебер М. Политика как призвание и профессия / Вебер М. Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990. – С. 690.

[136] Там же. С. 706.

[137] Вебер М. О некоторых категориях понимающей социологии / Вебер М. Избранные произведения. – М.: Прогресс, 1990. – С. 522.

[138] Там же. С. 534.

[139] Там же.

ориентиры постсоветского обществознания, «недостаточно развернуться в обратную сторону от ошибки, чтобы прийти к истине».[140] Сама по себе упомянутая манипуляция с «консенсусом» еще не приближает нас к научной картине демократического процесса, оставаясь философской спекуляцией.

К апатии и неудовлетворенности участием в политической жизни, с одной стороны, а с другой – к антидемократическому политическому радикализму ведет не «слишком сильный акцент на консенсусе и отказе от противоборства»,[141] как полагает бельгийский философ, а политическое и социальное отчуждение во всех его разновидностях. Конечно, стремление делиберативных теоретиков основать политическую легитимность на рационалистической этике есть в известной мере иллюзия, однако еще большей и даже экстравагантной иллюзией является попытка Ш. Муфф представить это обоснование «угрозой для демократических институтов».[142]

Вывод о том, что «правый популизм есть следствие пост-политического консенсуса»[143] является принципиально ложным, выдавая одно из следствий за причину. Если следовать такой логике, тогда главную опасность для древней афинской демократии надо видеть не в коррупции и конфликте раздиравших ее эгоистических интересов, а в рационалистической этике Сократа. Кстати, в этом именно смысле высказывались софистические оппоненты античного философа, отправляя его к праотцам.

По справедливому замечанию Д. Краудера, редукция (в духе Фуко) этики к власти, а также отождествление любого этического аргумента с непримиримым «морализмом» суть весьма сомнительные посылки «агонистической демократии». Верно и то, что «агонистическая альтернатива» Муфф есть в значительной мере лишь «описание традиционной политики групповых интересов, переведенной на модный и беспорядочный язык постструктурализма».[144] В частности, на это указывает психоаналитический фон тезиса Муфф об агонизме как «сублимированном отношении антагонизма».[145] Агонистическая демократия, предлагая игровой эрзац антагонистической борьбы, задействует (явно или неявно) психоаналитическую схему: агонизм как игра в антагонизм призван вытеснить или предотвратить реальный антагонизм. Проблема только в том, что социальные антагонизмы, в отличие от их жертв, методами психоанализа не лечатся. Здесь нужны сугубо политические средства, в том числе, умно организованный политический диалог.

При всей критичности радикальной демократии по отношению к делиберативной теории, с последней ее роднит чисто коммуникативный подход к политике – она вся совершается на свету артикуляционной практики. Лаклау и Муфф, отвергая «логику истории» как предрассудок старого рационализма, отказывают в праве на жизнь и пресловутому «кроту истории», который боится света демократических «совещаний», зато основательно подрывает привычный политический ландшафт. В наши дни этот «крот» не менее трудолюбив, чем во времена Шекспира и Маркса. Раздающиеся время от времени слухи о его кончине, в последний раз из уст авторов «Империи»,[146] изрядно преувеличены. Даже если эти слухи подкреплены остроумием делезовской логики, им не заменить собой глубокого политического реализма, воплощенного в этой метафоре, реализма, которого так не хватает современным представителям политической «катедер-левизны».

---

[140] Бурдье П. Социология политики … С. 31.
[141] Муфф Ш. К агонистической модели демократии … С. 196.
[142] Там же. С. 196.
[143] Mouffe Ch. Democracy in Europe …
[144] Crowder G. Chantal Mouffe’s Agonistic Democracy … P. 26.
[145] Муфф Ш. Пространства публичной полемики …
[146] Хардт М., Негри А. Империя … С. 66.

«ДВОРЦОВОЕ ГОСУДАРСТВО» В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

И.И. Глебова
Институт научной информации
по общественным наукам РАН

Аннотация: *В статье, исходя из концепции российского государства В.О. Ключевского, рассматривается его сословно-корпоративная сущность – феномен «дворца», – которая и возродилась в современной капиталистической России. Рассмотрены исторические формы феномена «дворца» и перспективы его развития в наших условиях: через «дворцовые» перевороты к подлинной демократии.*

Ключевые слова: *«дворцовое государство», сословно-статусное государство, коммерциализация бюрократии, государство-корпорация.*

Одна из задач современной политической науки – понять, как в 1990–2000-е годы трансформировалось государство в России. Для уяснения сути трансформации представляется возможным использовать политические метафоры. С моей точки зрения, вполне релевантна метафора, имеющая исторические «корни», – «дворцовое государство» (или «государство–Дворец»). Она принадлежит В.О. Ключевскому; в этой формуле зафиксирована («схвачена» и выражена словами) природа послепетровского государства.

Конечно, Ключевский не ставил перед собой задачи создания концепции, – налицо размышления, замечания, наблюдения и само определение («дворцовое государство»). Это лишь материал для теории. На него я, собственно, и опираюсь, пытаясь выявить смысл современного государства в России. Причем использую своего рода инверсионный исследовательский ход: говорю о современности «старыми» словами. (Историки, как правило, новый концептуальный аппарат применяют для изучения «старого» государства.) Но учитываю полное изменение контекста: XVIII и XXI вв. по самым существенным параметрам – люди, тип общества, технологии, культура – несопоставимы. И в то же время связаны – как разные этапы реализации в истории одной социальности. Надо только обнаружить эту связь.

«Дворцовое государство» В.О. Ключевского

Собственно, вся послепетровская история XVIII в. у В.О. Ключевского связана с государством, рассматривается с точки зрения его эволюции[1]. При этом выделяется несколько ключевых (концептуальных) характеристик:

1) *о динамике государства:*

Петр «действовал деспотически; но, олицетворяя в себе государство, отождествляя свою волю с народной, он яснее всех своих предшественников сознавал, что народное благо – истинная и единственная цель государства. После Петра государственные связи, юридические и нравственные, одна из другой порываются, и среди этого разрыва *меркнет идея государства, оставляя по себе пустое слово в правительственных актах*»[23].

«Немецкие правители превратили преобразованную Петром Россию в торговую лавку, даже в вертеп разбойников»[4].

«Правительствам после Петра было не до коренных вопросов, не до начал и задач реформ: они едва справлялись и с первыми встречными затруднениями»[5].

«Придворные интриги заменяли политику, великосветские скандалы составляли новости дня. Умственные интересы гасли в жажде милостей и увеселений»[6].

«Петру не удалось укрепить свою идею государства в народном сознании, а после него она погасла и в правительственных умах. Законным преемникам Петра… была недоступна его государственная идея… *Государство замкнулось во дворце*. Правительства, охранявшие власть даже не как династическое достояние, а просто как *захват*, которого не умели оправдать перед народом, нуждались *не в народной, а в военно-полицейской опоре*»[7].

Мысль о том, что «без уставно-церковной подтяжки и полицейского страха невозможны никакая благопристойность, никакой общественный порядок», воспитана «всем складом русского быта»[8].

2) *о явлении «дворяновластия»:*

«…Крупный общий факт, выработавшийся из всей неурядицы той эпохи: это – начало дворяновластия… В сословии, бывшем доселе привычным орудием правительства в управлении обществом, зародилось стремление самому править обществом посредством правительства». Формировался порядок «должностного кормления сословия»[9].

Произошли «резкое юридическое обособление и нравственное отчуждение потомственного дворянства от прочих классов общества»[10].

«Правительство, прежде взыскательное к дворянам, как обязанным своим слугам, теперь старалось щадить их, как своих вольных агентов»[11].

Дворянство «к моменту воцарения Екатерины II… составило народ в политическом смысле слова, и при его содействии *дворцовое государство преемников Петра I и получило вид государства сословно-дворянского*. Правовое народное государство было еще впереди и не близко»[12].

---

[1]Ключевский В.О. Русская история: Полный курс лекций в трех книгах. – Кн. 3. – М.: Мысль, 1993. – 559 с. - с. 101–140, 144–186, 294–296, 310–319.

[2]Там же. С. 170.

[3] Здесь и далее выделено мною. – *И.Г.*

[4]Там же. С. 110.

[5]Там же. С. 147.

[6]Там же. С. 506.

[7]Там же. С. 195.

[8]Там же. С. 113.

[9]Там же. С. 177.

[10]Там же. С. 163.

[11]Там же. С. 167.

[12]Там же. С. 196.

3) *об экономическом измерении государственного порядка:*

Екатерина I «…распустила управление, в котором, по словам одного посла, все думают лишь о том, как бы украсть»[13].

«При *разгульном дворе, то и дело увеселяемом блестящими празднествами*, …стая <иноземцев> кормилась досыта и веселилась до упаду на доимочные деньги, выколачиваемые из народа. Недаром двор при Анне обходился впятеро-вшестеро дороже, чем при Петре I, хотя государственные доходы не возрастали, а скорее убавлялись. «При неслыханной роскоши двора, в казне, – писали послы, – нет ни гроша, а потому никому ничего не платят». Между тем управление велось без всякого достоинства… Все казавшиеся опасными или неудобными подвергались изъятию из общества… Между тем народное, а с ним и государственное хозяйство расстраивалось… Источники казенного дохода были крайне истощены, платежные силы народа изнемогали… Устроена была доимочная облава на народ; снаряжались вымогательные экспедиции». Так действовали *«разнузданные народным бессилием пришельцы»*[14].

«…Правительство иногда не знало, сколько у него денег и где они находятся… Единственным деятельным и добросовестным контролером и будильником наклонных к дремоте правительств был постоянный дефицит. Он заставлял правящие верхи заглядывать вниз, в глубь управляемой ими жизни, и способные наблюдать люди увидали там полный хаос… *Пособницей дефицита была сама верховная власть*. Елизавета лично для себя копила деньги, как бы собираясь бежать из России, и забирала текущие казенные доходы, предоставляя министрам изворачиваться, как умеют»[15].

Собственно «дворцовое государство» Ключевского следует понимать как результат раскрепощения (эмансипации) «элит» от деспотизма верховной власти, утраты ими этоса службы и *обособления от остального населения в привилегированное сословие*, «приватизации» ими государства, *подчинения государственной идеи узкокорыстным сословным интересам*. Верховная власть была встроена в модель «Дворца», что сопровождалось мутацией ее природы (в направлении к ограниченной, «договорной»). В отношении государства речь также шла об абсолютизации им экономических интересов, его сосредоточении на «получении денег», «быстрых прибылей», конвертируемых в доходы дворцовых «акторов» – в том числе персонификаторов верховной власти и их ближайшего окружения («семьи»).

Фактически Ключевский считал, что «дворцовое государство» заинтересовано почти исключительно в обогащении тех, кто его составлял. То есть понимал его как сословное, нацеленное на удовлетворение чрезвычайно узких социальных интересов. И оценивал как своего рода *«изъян», исторический «вывих», случайное «отклонение» от «правильной» тенденции, обозначенной петровским государством «всеобщей службы»*, где «воспитательная диктатура» власти распространялась на все сословия «без изъятия». Уравнение в обязанностях Ключевский рассматривал в качестве гарантии последующего уравнения в правах[16]. То есть русский путь к «правовому государству», по мнению великого историка, прокладывало деспотическое «служилое» государство, основанное на равенстве в бесправии, крепостном праве.

[13]Там же. С. 106.

[14]Там же. С. 137, 138, 139.

[15]Там же. С. 151, 148.

[16] Логика Ключевского такова: в «определении сословных отношений» Петр «…не был чужд уравнительных стремлений именно на почве государственных повинностей. Он распространил некоторые специальные классовые повинности на несколько классов, какою была, например, податная, положенная им на все виды холопства, а воинская повинность стала даже всесословной. Это обобщение повинностей со временем должно было лечь в основу и правового уравнения общественных классов. Приступить к этому уравнению предстояло снизу, законодательной установкой крестьянских повинностей, особенно платежей и работ крепостных крестьян на господ» (Ключевский В.О. Указ. соч..., с. 171–172).

«Разгосударствление» по-постсоветски

Одна из причин постсоветского «перехода» (транзита) заключается в кардинальном изменении отношений «общество/личность–государство». Они активно трансформировались с послесталинских (точнее, с послевоенных) времен; сейчас мы находимся на пике этих изменений. Нормативная советская модель отношений, в которой личные (а также коллективные, корпоративные, профессиональные и др.) интересы полностью поглощались государством (модель *тотального огосударствления*), в постсоветские времена сменилась моделью «разгосударствления».

Ее обычно характеризуют односторонне – как *тотальное «бегство от государства»*, т.е. поиск населением «теневых» ниш, независимых способов существования и минимизацию связей с государством (прежде всего, требующих исполнения социальных обязательств – уплаты налогов, службы в армии и т.п.). При этом представление о государстве как раздаточной и репрессивной инстанции в обществе сохранилось, более того, оно доминирует. Однако это, скорее, остаточное явление, навязчивый образ советского прошлого.

«Разгосударствление» включает в себя и обратный процесс: *«бегство» государства от граждан*, т.е. сворачивание им своих социальных функций, обязательств, и его «минимизацию», замыкание в себе[17]. Причем речь идет не о частичном уходе государства из некоторых сфер, минимизации мелочной опеки им социальной среды, характерных для развитых стран, а о *переориентации государства с общесоциальных интересов на «узкосословные»*. На смену тотальному, всепоглощающему советскому государству – террористу, модернизатору, морализатору, монопольному распорядителю «общенародной» собственностью – пришел «Дворец». Демонстрируемые им технологическое несовершенство и концептуально-идеологическая слабость создают у населения ощущение «дефицита» государства – его неэффективности, несправедливости, неспособности или нежелания исполнять свои обязанности[18]. Эксперты отмечают, что это государство не может обеспечить реализацию курса на модернизацию экономики, политики, инновационное развитие и т.п.[19] Результировать и концептуализировать массовые ощущения и экспертные оценки можно, на мой взгляд, в определении современного государства в России как «дворцового».

«Дворец» – это не отклонение от «до́лжного» государства (советского «общенародного» или западного правового, социального и т.д.) и не его извращение/«ухудшение», которое при желании можно исправить. Это вполне самостоятельная форма правления, обусловленная новыми условиями и старыми государственными традициями. Здесь следует сделать две оговорки. Разумеется, современное «дворцовое государство», воспроизводя некоторые характерные черты «классического» (уже являвшегося в нашей истории), обладает и иными измерениями. Что связано и с другой исторической эпохой, и с иными потребностями современного социума и кратоса. Кроме того, предлагаемый концептуальный аппарат не отменяет все остальные. Это лишь одна из призм, через которую может рассматриваться современность.

---

[17] Собственно, в описаниях российского общества эти процессы фиксируются: «В обществе сложился своеобразный замкнутый круг. Власть, чиновничий аппарат часто игнорирует интересы и права граждан. Значительная часть общества отвечает власти той же монетой, стремясь обходить стороной легальные и легитимные способы решения своих насущных проблем и свести общение с государственными органами к минимуму, обращаясь к ним только тогда, когда нет иных способов решения» (4, с. 102).

[18] По социологическим данным 2008 г., на вопрос, способна ли административная система эффективно оказывать услуги обществу и отдельным гражданам, 18,9% респондентов ответили «в основном способна», а 59,6% дали отрицательный ответ (см.: 45, с. 21).

[19] С.П. Перегудов еще в 1994 г. писал о феномене бюрократического корпоративизма (32). Сейчас исследователи говорят о «криминально-клановом государстве», напоминающем «институциональную анархию» (30, с. 129). Расхожим стал тезис об административно-социальной неэффективности российского государства (см., напр.: 3).

«Дворец» как «сословие»

«Дворцовое» государство – не институты и процедуры (вся административно-управленческая система) и даже не бюрократический слой (при всей его влиятельности и представительности[20]). «Дворец» – это форма (или организация), в которую отлилась постсоветская «цивилизация верхов», старые и новые господствующие группы, обособившиеся от населения в привилегированное «сословие» (1,5–2% населения[21]). Государственные интересы сейчас в основном редуцированы к интересам его представителей, т.е. «дворцового сообщества».

Конечно, фактически «Дворец» – это более широкая социальная среда. Ее составляет не только «дворцовое сообщество», но и тяготеющая к нему и его *обслуживающая прослойка*. Если принять для описания современного российского государства метафору «государства–корпорации», «сословие» следует рассматривать в качестве аналога узкого круга ее собственников и руководителей («работодателей»). Так как корпоративные интересы сведены в основном к интересам этого круга, можно говорить о торжестве в наших условиях «олигархического корпоративизма». Функции «персонала» («корпорации работников») выполняет прослойка «обслуги». При этом только «работодатели» обладают признаками «сословности»: четко осознают свои интересы, противопоставляют их всему обществу и нацелены на сохранение и дальнейшее наращивание социального влияния[22]. Но самое главное: *ощущают себя не в структуре социума, а над ним*. К этому мировоззрению тяготеют и «ра-

[20] «По данным Федеральной службы государственной статистики, только общая численность гражданских государственных служащих на начало 2005 г. составила 1 млн. 316 тыс. человек. И это не считая армии «обслуживающего» персонала, которая заметно превосходит численность самих чиновников. Для сравнения – в 1990 г. в СССР общее число бюрократов насчитывало 663 тыс. человек, а их «привилегии» были гораздо скромнее по сравнению с теми возможностями, которыми располагает нынешнее чиновничество» (4, с. 90). По другим данным, численность российского чиновничества с 1991 по 2007 год выросла почти вдвое – с 950 тыс. до 1,75 млн. человек, а содержание госмашин обходится стране в треть ее бюджетных расходов или почти в 10% ВВП (16, с. 64). Замечу, что и население СССР было многочисленнее российского, что меняет соотношение чиновного и нечиновного элементов; в результате увеличивается непроизводительная нагрузка на социальную среду.

[21] Это слово, от которого отдает архаикой, так и просится в лексикон нашего постмодерного времени. Оно лучше всего подходит для характеристики высшего слоя российского общества – владельцев-распорядителей власти/собственности. Все они, конечно, вышли из народа, но уже перестали им быть. Они создали особый мир, закрытый, непроницаемый, живущий по своим правилам, - вне массы народонаселения, но за ее счет. Потому что их цель – вобрать в себя все ресурсы и возможности, отпущенные этому социуму. Количественные данные о «сословии» см.: 24, с. 77; 18, с. 77. Один из главных признаков «сословия» – богатство. По социологическим замерам, разрыв в душевых доходах между богатыми и обездоленными слоями российского населения – 30-кратный и даже больше (12, с. 12). Категория богатых и сверхбогатых стремительно растет: в 2007 г. в России было 60 миллиардеров (в 1997 г. – всего 6, в 2005 г. – 36) и более 500 тыс. миллионеров. И это только по официальным данным, – в действительности их гораздо больше (5, с. 135). Доходы бедных растут в три раза медленнее, чем богатых. В 2006 г., по данным Института экономики РАН, доходы половины граждан страны снизились или остались на прежнем уровне, а практически весь рост (11%) пришелся на высокодоходные группы.

[22] Очевидно, что это не только бюрократия и не вся бюрократия. Тем не менее, постсоветское перерождение государства принято связывать только с эволюцией бюрократии: по мнению исследователей, она «использует рычаги государства для достижения сугубо партикулярных (групповых) задач, целей в противовес общегосударственным» (8, с. 35). Основываясь на данных социологических опросов, исследователи говорят о феномене сформировавшегося «классового сознания» бюрократии как особой социальной группы (см., напр.: 4, с. 100–101). На мой взгляд, точнее было бы говорить о *корпоративной (или, скорее, кланово-групповой) солидарности*, учитывая, что она ограничена иерархичностью устройства этой «корпорации» и различием потребительских возможностей ее разных «эшелонов». Чиновничество среднего и нижнего уровней относится, скорее, к прослойке между «высшим сословием» и остальным населением. При этом ментально в основном «совпадает» с «патронами» и действует *по единой «дворцовой» схеме: всё – только для себя*.

ботники», стремящиеся укрепить связи с «Дворцом» и как можно дальше оторваться от массы[23]. При этом свои отношения с ней строят по «дворцовым» принципам.

«Верхи» современного российского общества – уже не элита «условного держания» (на время «службы»), как советская, а элита «наследственного владения», перераспределившая в свою пользу «общенародную собственность». Это *закрытое сословно-статусное сообщество, «сбродное» по составу*. В нем смешались выжившие кланы «фамильных людей», т.е. советской номенклатуры; «новики» («новые худые люди»), «случайно выплывшие наверх» в «смутные» времена, – «новые русские», разрушившие номенклатурный порядок и давшие язык, «прикид», организацию правящему слою (среди них – «народные избранники», бизнесмены, государственники и интеллигенты нового типа); повязанные с первыми и вторыми советские «теневики» и верхушка советско-постсоветского криминала – создатели «финансового рынка», «серых» бизнес-схем, особой «деловой» культуры, силовой фактор российской экономики; новая «культурная элита» – духовные «генералы», творцы и властители «масскультовых дум» (зрения/слуха), мастера высокого искусства, спорта, авторитеты медицины, образования, даже науки и проч.

У представителей этого «сословия» высокие потребительские запросы, постоянно растущие аппетиты, удовлетворяемые в разных социальных сферах. Одни хотят больше власти, другие – больше денег (показательно, что Москва, где находится «дворцовая Ставка»[24], заняла при Путине–Медведеве второе место в мире по числу миллиардеров, а само это число в последние годы едва ли не удвоилось); одни нацелены на самую престижную в мире собственность, другие собирают русское/советское/современное (или какое-то другое) искусство; одни ведут борьбу за души, другие – за бюджет и месторождения, за право «постмодернизировать» реальность или «поддавать» в нее оптимизм, быть «в экране», светской хронике, международных новостях и т.д. И все получают желаемое, чтобы потом хотеть бóльшего.

Собственно, всему «сословию» (а не только высшему чиновничеству) можно адресовать определение В.В. Путина – *«надменная каста»*. Это «сословие» счастливчиков, «субъективных материалистов»-победителей, вполне удовлетворенных своим положением, профессиональной и жизненной успешностью и через эту (счастливую) призму воспринимающих внешний (для них) мир. «Корпорация победителей» обременена жаждой большого (чтобы «грохнул» на весь мир) успеха, желанием побеждать. Именно это (и ничто другое) – двигатель модернизационных проектов, причина государственных вложений в разного рода победы страны (внешнеполитические, спортивные, исторические и др.). Национальные успехи (если они случаются) рассматриваются как «дворцовые» (корпоративные) победы, служащие самоутверждению «Дворца». В то же время любой «нац-успех» «работает» на его легитимацию, оптимизируя социальный фон и заглушая (шумом: «Ура, Россия!») ропот недовольных «надменностью» «сословия» и «сословностью» социума.

Главный принцип жизни «сословия» – устроиться в стране как за границей, в обеспеченном, комфортном, безопасном евроатлантическом мире. (При этом, конечно, устроиться и за границей – лучше заграничных.) Причем жить так в стране должны только они, – высокий социальный статус поддерживается ощущением избранности. «Дворец» явился вслед-

[23] Показательно, что именно эти, самые благополучные в материальном отношении, группы в социологических опросах демонстрируют наибольшую лояльность по отношению к государству, власти и госслужащим (4, с. 93).

[24] Кстати, одно из главных противоречий Дворца, в том, что Москва, являясь политическим центром государства, не стала центром обширного хозяйства «самодержца» (как центром частной вотчины являлся хозяйский двор). *Это показатель трансформации природы «Дворца»: страна–территория уже не является больше монопольным владением персонификатора верховной власти*. Москва, имеющая некоторые черты большой усадьбы, не есть исключительно «княжеско-царское» хозяйство. – В ней «работают» разные «хозяйствующие субъекты». Кстати, результаты хозяйствования одного из субъектов (не моно-, но все же) в июне 2010 г. зафиксировал журнал Forbes: в рейтинге богатейших бизнес-вумен мира третье место с состоянием в $ 2,9 млрд. заняла Е. Батурина.

ствие торжества «сословного» эгоизма, игнорирования «сословием» интересов большинства. Разрыв «русского мира» на победителей и проигравших – во всеобщей схватке за «доходное место» – вот основной итог постсоветского транзита[25]. И в этом смысле, выйдя на рубеже 80–90-х из точки «А», мы не вернулись к прежнему, а явно попали в какую-то другую точку.

Вопрос о собственности: «кормящееся» государство

Оформление «дворцового» государства непосредственно связано с решением вопроса о собственности. На переходе от советской эпохи к постсоветской «общенародная» (или государственная) собственность была превращена в ограниченно-коллективное («дворцовое») доходное владение. Владельцы и составили «Дворец». Они живут переделом и эксплуатацией «дворцовых» владений.

Интересы «Дворца» по существу «сословны»: он создан для управления «сословной» собственностью. К «сословным» владениям относятся как старые (советские, прежде всего ресурсные: топливно-энергетическая, золото-алмаз-ная, а также химико-металлургическая, военно-промышленная), так и новые доходные отрасли: банковско-финансовая система, сфера обслуживания, информсреда (компьютерные сети, мобильная связь и др.). *«Дворцовая» экономика и есть современная российская экономика*; только то, что в ней работает, принося прибыль, и имеет будущее. Она предельно и очень своеобразным образом интернационализирована[26].

«Дворец» – структура по преимуществу властесобственническая, направленная на перераспределение львиной доли общественного продукта в пользу господствующих групп. Главное назначение «дворцовой» экономики – обогащение; она нацелена не на всемерное умножение ресурсов страны, а на рост индивидуальных и коллективных доходов «дворцовых» акторов. И в рамках этих задач «Дворец» достаточно эффективен. От населения, живущего за пределами замкнутого «дворцового» мирка («не-Дворца»), требуется лишь определенная сумма «налога». Можно сказать, что политическая власть в рамках «Дворца» в основном понимается как привилегия – право «налагать дань». При этом плательщикам «дани» не указывают, как им жить, – они являются вольноотпущенными людьми. В этом принципиальная новизна постсоветской системы.

Тотальное (советское «общенародное», ставшее в новых условиях «избыточным») государство ужалось до пределов «дворцового» хозяйства, управляемого на основе – вновь скажу метафорически – «владельческого» (частного, а не публичного) права[27]. Частный ха-

[25] Именно здесь проходит фундаментальная «линия напряжения» в российском обществе. Как показывают социологические данные, к числу основных межгрупповых противоречий россияне относят противоречия между богатыми и бедными (его отмечают 63,4% опрошенных), между олигархами и остальным обществом (39,1%), между чиновниками и рядовыми гражданами (34,9%) (4, с. 96). Достаточно очевидно, что все эти оппозиции могут быть сведены в одну: богатые, олигархи, чиновники(победители)/бедные, остальное общество, рядовые граждане (проигравшие). Причем, социальную успешность меряют соответствием ближайшим богатым и властным, а также обобщенному массмедийному образу «победителя», сконструированному в 2000-е.

[26] Вот некоторые данные на этот счет: «По состоянию на начало 2010 г., Россия – единственное из постсоветских государств, инвестиции которого за рубеж практически равны накопленным иностранным инвестициям внутри страны, а с учетом неофициально выведенных денег превышают последние как минимум вдвое; даже сейчас инвестиции КНР за рубежом меньше накопленных в китайской экономике иностранных инвестиций в 16 раз. Около 56% российского ВВП создается в компаниях, которыми владеют собственники, зарегистрированные в оффшорных юрисдикциях; этот показатель соизмерим с данными по самым неблагополучным странам Африки» (17, с. 13–14).

[27] Используя термин «владельческое» право, я понимаю, что он в той же мере условен и метафоричен, что и «сословие», «дворцовое государство». Повторю, речь не идет о прямом заимствовании понятий из прошлого и смешении разных эпох в некую вневременную реальность. Обращение к «историческому словарю» было необходимо, чтобы указать на сущностное сходство некоторых явлений настоящего времени с прошедшим и несовременность этого настоящего. В том смысле, что оно явно не согласуется с евроамериканским настоящим,

рактер «дворцового» владения, организованного *по «путям»*, пришел в противоречие со всеобщим характером государства. Управление за пределами «дворцово-вотчинного» хозяйства сведено до минимума – постольку, поскольку существует необходимость отправлять определенные публичные функции. Поэтому все внешние коммуникации «Дворца» приобретают, скорее, частный (хозяйственный), чем публичный (т.е. собственно политический в классическом понимании) характер.

С этим связан и «владельческий» подход к политической власти; *«владельческое» мировоззрение* пронизывает сейчас все ее институты. Современные «элиты» не различают политические и экономические интересы; точнее, делают акцент на вторых. Этим объясняется и подавление публичной сферы; она сведена к одной из функций «Дворца», к области «дворцового обслуживания». Народонаселение понимается «Дворцом» как объект политической власти, а не субъект политических прав. (Справедливости ради следует признать, что оно и само себя так понимает.) И именно в этом качестве – объекта – оно и используется «Дворцом».

Административная деятельность все больше походит на *«кормление»* с доходов от выделенного «участка» («наказа», «пути») «дворцового» хозяйства. Каждый администратор – «сам себе» частный «теневой» предприниматель (взятки, «откаты», «разборки» и т.п. – его ежедневная «деловая» жизнь). При этом включен в систему легальной (собственно социально-управленческой) деятельности. Каждый «дворцовый» актор ведет такую же двойную жизнь; причем, легально-процедурная – только оболочка («прикрытие») подлинной, неформально-теневой, покрытой бизнес-тайной. В целом «Дворец» противоречит современным политико-правовым представлениям, в соответствии с которыми имущество и права государства имеют публичный характер и не могут являться ничьей вотчиной.

«Дворец» как случай государственно-монополистического капитализма

В момент разрушения советского мира речь шла о выводе из-под контроля государства всех сфер, о возбуждении и полном раскрытии хозяйственной активности граждан. Однако цивилизованного «размежевания» государства и общества в экономической жизни не произошло. Напротив, социально-экономические интересы заставили эффективные государственные и общественные элементы слиться в «Дворец», подчиненный уже не воле первого лица, а хозяйственным интересам всего «сословия».

«Дворец» обслуживает интересы «высшего сословия» за счет собственности и ресурсов, находящихся в распоряжении государства или переданных им в распоряжение других экономических «акторов» (финансово-промышлен-ных групп/кланов с разной степенью самостоятельности). Последние вносят установленную плату за пользование «участками» дворцовых владений. Причем, пользование монопольное – это соответствует «владельческой» природе «Дворца». В рамках «Дворца» слиты госмонополии/госкорпорации и монополии различных форм смешанной собственности с участием государства[28]. (Это не только биз-

куда мы себя упорно относим. Это темпоральное несовпадение объясняется не отставанием (а, значит, непреодолимо бегом вдогонку), а действием каких-то важных социокультурных механизмов.

[28] Вот только один пример: на долю четырех нефтяных компаний – ТНК-ВР, «Газпром нефть», «Роснефть» и «ЛУКОЙЛа» – приходится 73,44% российского рынка бензина и 80% авиационного керосина. Приоритеты наших монополистов известны: прибыль всё, отечественные потребители – ничто. Новые примеры действия этой стратегии дал экономический кризис. По оценке Федеральной монопольной службы (ФАС), цена на бензин в мире с середины лета по октябрь 2008 г. упала на 15–20%, а в России практически не изменилась. В 2008 г. В. Путин дал ФАСу команду «фас!»: возмутившись взлетом цен на авиационный керосин, приказал «наконец проснуться и активно исполнять свои функции». ФАС начал судебные тяжбы с нефтяниками и добился определенных успехов. Общий размер претензий ФАС к нефтяным монополиям превышал 26 млрд. руб. Но 8 июня 2010 г. на коллегии ФАС первый вице-премьер И. Шувалов фактически отменил старый приказ. Назвав естественные монополии «крупными движущими силами» экономики, призвал ФАС бороться с нарушениями на рынке, а не с самими компаниями. Посыл был принят адекватно (см.: 15, с. 34–35). Общую

нес-структуры, но и медиа, спортивные, культурные и т.п. институции.) В целом правовой статус монополий не ясен, что открывает простор произволу, манипуляциям и т.п. действиям, не регулирующимся правом. Монополии, пришедшие на смену советским ведомствам, позволили структурировать сложное экономическое пространство. В то же время господство монополий приводит к диспропорциям в экономике, ее дезинтеграции. Но *правительство/государство* не борется с монополистами и др. капиталистами потому, что оно и *есть монополист/капиталист – не единственный, но один из главных*[29].

Здесь следует отметить: «Дворец» – это, прежде всего, неформальные связи, личные отношения[30]. Именно эти сети стали основой, на которой сформировался «Дворец»; неформально-непубличный тип управленческой деятельности, вообще ведения дел способствовал *воспроизводству советских клановости и патрон-клиентельных отношений в новых, постсоветских условиях*. Постсоветские кланы и клиентелы, связанные деловыми и личными отношениями, «зачастую опираются на государственные корпорации или отдельные ведомства и соперничают между собой в борьбе за распоряжение ресурсами» (45, с. 16). Патрон-клиентельные, клановые сети имеют и пространственное измерение: они не укладываются в простейшую дихотомию «центр-регио-ны»; в качестве «дворцовых» акторов выступают «вертикально интегрированные» группы интересов и группы давления, включающие участников как федерального, так и регионального уровней (представителей органов власти, финансово-

стратегию наших монополистов очень точно определил венгерский социолог П. Тамаш: *национальные нефтяные, газовые, торгующие алмазами и т.д. фирмы функционируют не как отечественные капиталисты, а по логике межнационального концерна, занимающегося добычей сырья в чужой стране*» (42, с. 120. Выделено мною. – *И.Г.*). Этой же логикой руководствуется весь «Дворец», в том числе правительство как «дворцовый» актор. Правда, стратегия его продвижения основана на сокрытии такой логики – ведь оно все-таки правительство.

[29] Государство не превращается, как бывает на Западе, в инструмент проведения интересов крупных корпораций (правда, в условиях их конкуренции между собой). У нас *государство само стало такой корпорацией*. По оценкам экономистов, «будучи регулятором рынка, государство одновременно является, в том числе из-за гипертрофированной системы госмонополий и госкорпораций, активным его игроком, что создает на нем совершенно нездоровую обстановку, в которой фактически игнорируются подлинные нужды и не только потребителей, но и огромного числа производителей разного рода благ» (46, с. 111). Ярчайший пример: «продолжается активный вывоз за рубеж зерна, молока, сыра, хотя значительная часть той же товарной номенклатуры встречным потоком импортируется, почему и внутренние цены на них продолжают расти – при тревожном… падении доходов и потребления граждан».

Для оценки эффективности «дворцовых» монополистов важен такой факт: «к 2008 г. корпоративный внешний долг российской экономики достиг 500 млрд. долл. (против 30 млрд. к началу кризиса 1998 г.)… Даже «Газпром имеет долгов чуть ли не на 50 млрд. долл.» (34, с. 92). По оценкам специалистов, «внешний корпоративный долг составляет в настоящее время около 32% ВВП России, тогда как доля внешнего государственного долга составляет около 4% ВВП. Уровень совокупного внешнего долга составляет около 36% ВВП, а его объем осенью 2008 г. оказался сопоставим с величиной официальных валютных резервов Центрального банка РФ. Преобладающая часть внешнего корпоративного долга сформирована государственными корпорациями за 2005–2008 гг. В числе этих корпораций «Роснефть», «Газпром», «Русал», «Лукойл», «РЖД», «Норильский никель» и др. Поэтому этот долг является, по существу, *превращенной формой внешнего государственного долга РФ*, обслуживание которого в условиях глобального кризиса эти корпорации не смогли бы осуществить без финансовой помощи правительства и ЦБ» (2, с. 27). Фактически *внешний долг стал не государственным, а «дворцовым»* («сословным»), но расплачиваться за «Дворец» будет то, что мы называем государством (из бюджета, резервов и т.п.).

[30] В этой «сетевой» среде и решается все в стране – «дворцовые» вопросы, общесоциальные проблемы. Только в этом смысле можно принять положение С. Кордонского: представители «титульного сословия», «оказывая друг другу услуги даже в пределах должностной компетенции, связываются в прочнейшую и невидимую сеть неформальных связей административного рынка, которая по факту и представляет наше гражданское общество. Существует множество институтов этого гражданского общества, таких как совместная охота, рыбалка, ресторан, баня или «открытый дом для своих»… Это общество… единственная реальность, так как любые ведомственные интересы и амбиции, планы государственного развития, инновационные проекты и бизнесы должны быть в первую очередь согласованы – «протерты» в банях, ресторанах, на рыбалке или охоте. Иначе их ждет печальная судьба» (21, с. 138, 139)

промышленных групп, политических партий и движений, СМИ) в формате политико-финансовых кланов» (9, с.171). «Клановость» же соответствует «*до*политическому» состоянию власти, когда она *еще* не способна выразить общий (публичный) интерес, а «политика» сводится к примитивной борьбе кланов за ресурсы (30, с. 129. – Выделено мною – *И.Г.*). Видимо, это состояние у нас устойчиво воспроизводится. Точнее, речь идет об *определенном типе самоорганизации «высшего класса» позднe- и послесоветского времени*. Поэтому сущность власти следует определять как *не*политическую; она *вообще* не способна выразить общий интерес.

Постсоветский «Дворец» – это еще и институты; государственные учреждения его организуют, структурируют, придавая ему современную форму. В то же время государственные структуры (в том числе выборные, соответствующие демократической современности) суть крупнейшие экономические предприятия – прежде всего, по освоению бюджетных денег. (Вообще, высшее «сословие» так или иначе связано с бюджетом: им управляет и/или пользуется. Иначе говоря, имеет *административно-экономическую подоснову*.) В них встроены лоббистские сети; многие их связи – как внутренние, так и внешние – не вполне законны или вовсе нелегальны. То есть речь идет о фактическом *удвоении неправовой среды*: неформальные сети накладываются на неформальную активность институтов.

Собственно, в случае «Дворца» мы имеем дело с государственно-моно-полистическим капитализмом, лишенным, однако, главного измерения капитализма – свободной конкуренции на правовой основе. Видимо, наш бизнес с такой нагрузкой не справляется; свобода экономической деятельности вызывает у него, скорее, опасения (неопределенность и риски оцениваются как слишком высокие). Свобода предполагает поиск самим бизнесом продуктивного варианта взаимного сотрудничества в рамках существующего права. У нас же нет традиций такого взаимодействия; зато в советские времена сложилась привычка работать в «тени» и под покровительством (защитой/«крышей»). А это требует больших денег; поэтому в теневой экономике, большая часть которой связана с уклонением от налогов, хорошо себя чувствуют только крупные компании (см. об этом, напр.: 6, с. 23–67). В силу этих причин и склонности к монополизации доступного пространства наш большой и очень большой бизнес (а это, собственно, и есть русский бизнес) соглашается на ограничение своей свободы – «сверху».

С нагрузкой свободы/конкуренции не справляется и правительство/госу-дарство: для него наиболее естественно подавление плюральности как в экономике, так и в политике. Правительство разрешает или организует конкуренцию (можно говорить об *«управляемой конкуренции»*), сохраняя при этом «монополизм» как основополагающий принцип функционирования «Дворца». Тем самым, кстати, придает конкуренции по-русски более или менее цивилизованный вид, минимизируя применение насилия внутри бизнес-сообщества. Репрессивно-контрольная функция в целом принадлежит государству. Но главная задача правительства как «дворцового» актора состоит не в регулировании таким образом экономики и социальных отношений, а в получении прибыли от процесса «управления конкуренцией».

В целом наши бизнес-гиганты не только симулируют конкуренцию (хотя внутри страны большей частью происходит именно так[31]), но и участвуют в реальной конкурентной борьбе –

[31] В рамках симулятивной конкуренции у монополистов рождаются странные (но только на первый взгляд) инициативы. Вот один – но яркий – пример. На всероссийском совещании Федеральной службы по тарифам 1 апреля 2010 г. глава РЖД Владимир Якунин пожаловался, что железнодорожный и автомобильный транспорт находятся в неравных конкурентных условиях. Чтобы ликвидировать преимущество последнего, он предложил сделать автодороги платными. В железнодорожный тариф, по его словам, включена «инфраструктурная составляющая», то есть плата за поддержание и развитие железнодорожной сети. «Возникает вопрос, почему такой платы нет для пользователей услуг автомобильного транспорта, – возмущался Якунин. – У нас дороги бесплатные, и с конкуренцией с железнодорожным транспортом порядок нужно наводить» (27, с. 24). Это обращение («челобитье») одного из конкурирующих между собой «дворцовых» монополистов к верховному арбитру – правительству: даешь «добро» на максимизацию прибыли? Оно в очередной раз подтверждает

прежде всего на международной арене. Однако в любом случае главным конкурентным преимуществом крупнейшего российского бизнеса оказывается принадлежность к «Дворцу», гарантирующая разного рода «дворцовые помощи». Последнее тому подтверждение – экономический кризис, когда выживание «равноудаленных» корпораций было обеспечено правительством[32]. «Дворец» помог «Дворцу».

В определенном смысле *«Дворец» можно считать корпорацией, так как он преследует не общественные цели (не работает на «народное благо»), а собственные экономические выгоды.* «Дворец» проявляет явный интерес к «зарабатыванию денег», действуя на внутреннем и внешнем рынках в качестве экономического игрока. При этом *нацелен на минимизацию издержек (т.е. общесоциальных программ развития) и максимизацию прибыли, львиная доля которой распределяется в пределах «Дворца» же*. То есть функционирует по законам частнокапиталистического предприятия. Однако природа «Дворца» прямо противоположна капиталистической: она – «владельческая», предполагающая монопольную эксплуатацию, а не собственническая, т.е. плюралистическая, конкурентная, договорная и открытая. Корпорация явилась у нас в совершенно ином историческом контексте и привела к другим, чем в исходных условиях, результатам. Перенесение на советское государство корпоративных методов управления (иначе говоря, модернизация государства за счет заимствования новейших технологий) активизировало его «дворцовую» природу, спровоцировав явление «Дворца».

«Дворцовая» система против общества и против субъектности «дворцовых»

В основе «Дворца» лежат две «неправильности», придающие ему некую изначальную ущербность. Первая («большая») является «неправильностью» с общесоциальной точки зрения: «дворцовые» владения попали в распоряжение (управление) формально негосударственных и частных хозяйствующих субъектов не в результате открытой конкуренции, помимо и в отрицание любых правовых норм. Фактически они были распределены между «своими» («номенклатурными» и «деловыми») и/или захвачены, присвоены, что исключает соблюдение принципа социального партнерства (и в настоящем, и в будущем).

Вопрос о собственности был решен традиционным (т.е. неправовым и примитивным) способом: «общенародное достояние» заняли как никому не принадлежащее (пустое) пространство (напомню: занятие «пустошей» долго было господствующим способом приобрете-

заинтересованность «Дворца» лишь в собственных доходах. При этом, заметим, «если в мире расходы на транспортировку в экспортной цене товара составляют в среднем не более 7–8%, то в России, из-за монопольного положения… РЖД, – все 30–40%» (46, с. 111). Такова же логика других «дворцовых» акторов: «Газпром», например, «затевает все новые экспортные проекты, хотя совершенно ясно, что собственную промышленность и ЖКХ ожидает скорый и острый дефицит газа, не говоря уже о позорной для нас статистике негазифицированности домашних хозяйств» (Там же). Российские энергетические монополии провоцируют (требуют) выравнивания внутренних и мировых цен на энергоносители (17, с. 17). И т.п.

[32] Основные средства антикризисной программы были направлены на поддержку банковской системы (более 1355 млрд.) и государственных или окологосударственных компаний типа ОАО РЖД или АвтоВАза (776 млрд.). При этом на усиление социальной защиты и борьбу с безработицей в 2009 г. намечалось выделить около 500 млрд. руб. (44, с. 69). Правительство рассматривало и персональные дела: с его помощью главный неудачник кризиса О. Дерипаска вышел из него, не потеряв ни одного ключевого актива. Особый интерес представляют следующие данные: «Если в 1998 г. часть издержек по стабилизации экономики после кризиса была профинансирована негосударственным сектором, то в 2008–2009 гг. это бремя в основном принял на себя государственный сектор, чьи денежно-кредитные издержки, а также бюджетные и квазибюджетные расходы значительно возросли. При этом непосредственные бюджетные затраты на антикризисные меры оцениваются всего лишь на уровне 0,58% ВВП России 2007 г., тогда как доля квазифискальных издержек стабилизации экономики может составить около 14,7% от его объема… В результате возрастает степень неопределенности возможных эффектов от принятых мер, а уровень прозрачности (транспарентности) бюджетно-налоговой и денежно-кредитной политики государства уменьшается» (2, с. 25). Собственно, речь идет о том, что *выход «негосударственного сектора» из кризиса в «государственные 2000-е» был обеспечен «дворцовым» государством за счет бюджета*, в отличие от «олигархических» 90-х.

ния земельной собственности на Руси). Это означает, что «дворцовые» субъекты не признавали (и не признают сейчас) за населением («не-Дворцом») право осуществлять контроль над производительным богатством страны. А, значит, постсоветский строй изначально не был нацелен на формирование общества. – Перераспределение в 1990–2000-е годы советской собственности предполагало появление привилегированного владельческого «сословия», распоряжающегося материальными ресурсами страны, но не обеспеченного в полной мере правовой, «моральной» легитимностью, общественным с ним согласием.

Другая («малая») «неправильность» вредит в основном «Дворцу», ограничивая его возможности, т.е. имеет узкосоциальное измерение. Особое своеобразие «дворцовому» типу хозяйствования придает то, что его определяющая черта – временность, условность: формально вре́менной является политическая власть, фактически условна власть экономическая – отказ от участия в «дворцовой» системе или нарушение правил «дворцовой игры» могут повлечь наказание, т.е. запрет хозяйствовать. А потому характер «дворцового» владения близок к условному (поместному) держанию – только не земли, а имущества и ресурсов. *Безусловно до сих пор только владение личным имуществом; собственнические права в любой момент могут быть оспорены*. Не случайно «дворцовые» акторы просто зациклены на преумножении имущества, переводе средств, полученных от эксплуатации «дворцовых владений», в особняки, драгоценности, яхты и т.п. Показательно, как мутирует под влиянием ограничения прав владения определенным сроком владельческая психология верховной власти: идея государства воспринимается ею даже не сквозь «вотчинную», а через «поместную» призму. Все это сформировало «в верхах» *своеобразное «поместное умонастроение»*, окончательно вытеснившее представления об общем интересе, национальном благе. «Дворец» живет ограниченными, краткосрочными целями – погоней за сверхприбылями, хищнической («до истощения») эксплуатацией «дворцовых владений», громкими внутри- и внешнеполитическими PR-акциями.

«Сословие», представители которого не желали быть только распорядителями (временными держателями), с момента своего появления боролось за собственнические права. В 1990-е годы оно их добилось, следствием чего (среди прочего) стало *стирание грани между государственными и негосударственными (коммерческими) структурами*. Баланс сместился в сторону последних, как бы «пожиравших» государство[33]. Но тогда же выяснилось, что для *самореализации (прежде всего, вне страны) и защиты от страны («не-Дворца»)* «сословию» крупнейших собственников все-таки необходим какой-то вариант государства. Выбор был сделан в пользу «Дворца», в рамках которого примиряются «сословные» и национальные противоречия, бизнесмены становятся государственниками, а бюрократия коммерциализируется. То есть образуется mixt, единая социальная среда, «повязанная» одной целью – «обогащение».

Однако создание «Дворца» потребовало от «новых собственников» жертвы – нужно было поделиться собственностью с новым государством. Наверное, процесс *частичной деприватизации/национализации (а, по существу, второго «большого передела») начала 2000-х*, сопровождавшийся перераспределением денежных потоков в пользу «новых государственников», выделением им доли «дворцового имущества», прошел нелегко. Достижению «консенсуса» помогло то, что договаривались советские (по генетике, ментальности, инстинктам, навыкам) люди, приученные в позднесоветские времена, пользуясь государством, мыслить в категориях «большой государственности». Сработало и старое политическое мышление, «заквашенное» на страхе и привычке подчиняться власти/государству. Наконец, делились «ста-

[33] Об интеграции институтов власти (прежде всего высших) и крупных корпоративных структур (как и о действии тенденции к «сверх-(супер)-корпоративизму» в экономике) см.: 31, 36. Процесс «олигархической минимизации» государства был по существу, как показывает Ю.С. Пивоваров, переделом/дележом: *«предметом передела стало государство»*. То, что выглядит как восстановление государства 2000-х, является следующим этапом передела (см.: 33, с. 58–61).

рые» собственники тем, что «урвали» и присвоили в 90-е, а не наследовали по праву и не создали как «пионеры»-первооткрыватели. Легко пришло – не задержалось.

Итогом «передела»/«сговора» «нулевых» явилось не только то, что персонификаторы государства получили свой экономический плацдарм, а государство стало новым мощным коллективным бизнес-игроком, членом мирового бизнес-сообщества. В *результате такого усиления государства произошло* окончательное слияние государственной идеи с частным экономическим интересом, сращивание государственников с «олигархами» (в единый светский бизнес-культурно-политический бомонд), т.е. *окончательное оформление постсоветского «Дворца»*[34].

Хотя внешне ситуация, наверное, и выглядит так, как ее описывает значительная часть исследователей: «На рубеже 90-х годов Россия столкнулась с проблемой институциональной бессубъектности, общество атомизировалось… Институты власти оказались оторваны от социальной базы, перестали быть носителями и выразителями общественных интересов, быстрыми темпами стали расти коррупция и взяточничество. Произошло сращивание высшей государственной бюрократии и крупного капитала. В этих условиях центральная власть сделала ставку на государственную бюрократию как потенциального носителя новой национальной субъектности, противостоящего как бизнес-группировкам, так и политической элите. В рамках избранной стратегии начала проводиться административная реформа… То есть была поставлена задача связать единым административным механизмом разрозненные бюрократические группы, как федеральные, так и региональные, ослабить давление на них со стороны бизнес-групп, региональных властей, криминальных структур» (4, с. 89). Этот *подход акцентирует идею «возвращения» государства*. Оно действительно расширило контроль над различными сферами общественно-политической, экономической и др. деятельности, но постольку, поскольку было нужно *этому* государству. Бюрократическая централизация 2000-х вовсе не предполагала восстановление социальной и национально-консолидирующей роли государства. Точнее, эта роль восстановилась настолько, насколько потребовалось для выживания и реализации «Дворца».

Включенность в «дворцовые» коммуникации, имеющие по преимуществу коррупционную природу, не позволяет крупным собственникам быть собственниками в полной мере (безусловными и независимыми – от «Дворца» – коммерческими субъектами). Как не дает стать и независимыми политиками; отказ от претензий на самостоятельную политическую роль – их плата за относительную свободу предпринимательства. В результате устранения большого бизнеса политика лишилась конкурентного измерения, отличавшего ее в 1990-е[35].

[34] В рамках «Дворца» действуют *тенденции и к национализации, и к приватизации*. Правда, первоначальный смысл этих явлений меняется: речь и в том и в другом случае идет *о переделах «дворцового» хозяйства*. На последние годы пришелся процесс очередной приватизации. Так, в ходе реформы РАО ЕЭС (последнее «дело» А. Чубайса) появились новые частные владельцы энергоактивов. И хотя с эффективностью у них не все в порядке, о чем заявил персонификатор государства В. Путин на совещании по энергетике в конце февраля 2010 г. (см.: 49, с. 8), они будут хозяйствовать.

[35] В середине 1990-х речь шла о «семибанкирщине», на рубеже 1990–2000-х крупнейшие коммерческие структуры (напр., «Медиа-Мост») фактически играли роль (подменяли) политической оппозиции. Это не было просто политизацией бизнеса; монополистический капитал, стремясь к монополизации и политики, превратился в ведущего политического игрока. Политика приобрела отчетливо выраженное бизнес-измерение, превратилась в коммерческое предприятие; это качество сохранила и в 2000-е (Это фиксируют исследователи. См., напр.: 37, с. 72). Беда в том, что каждый бизнес-игрок отстаивал в политике только свои (а не общегрупповые, национальные) интересы, действуя неправовыми методами. В отсутствие корпоративной солидарности и механизмов защиты/представительства интересов бизнеса и в опоре на народ (постсоветское агрессивно-послушное большинство) власти легко было разобраться с «заигравшимися», «засветившимися» (известными «в лицо») «олигархами», скупив лояльность остальных, менее «буйных». *В ходе путинской «административной революции» зеркально поменялась диспозиция: выбив бизнес из политики и сведя ее до «теневых» технологий и управления «дворцовой» репутацией, административные элиты стали активными бизнес-игроками.* Понятно, что возвращение субъектности бизнеса (как и возвращение государства к административно-социальным ролям) возможно только на пути восстановления публичной политики (в т.ч.

Ею завладели «административные элиты»; политика превратилась в отрасль администрирования. А верхушка группировок финансово-промышленного капитала была интегрирована в систему бюрократического управления, «их экономические интересы внутри страны и за ее пределами стали частью государственных (точнее, «дворцовых» – *И.Г.*) интересов»[36].

В рамках «Дворца» не свободна и бюрократия: чиновник не может быть просто эффективным менеджером, – он должен участвовать в коммерческой деятельности «по-дворцовому». Так работает система; в ней *не могут возникнуть* независимые собственники, управленцы, художники, вообще самостоятельные социальные силы, – только «сословие», организованное статусно-иерархически и тяготеющее к «закрытию» в особый мир, живущий по своим законам в стороне от остального населения. Расширяя права и свободы «сословия», «Дворец» парадоксальным образом «гасит» его субъектность. Характерно, что к «сословию» неприменима такая характеристика, как гражданственность. В этой среде нет предпосылок для роста «я-субкультуры» в либерально-западном смысле слова. – Их «съедает» бесконтрольный и безграничный «субъективный материализм», разрывающий «сословие» на соперничающие кланы (прежде всего, по принадлежности к ведомствам – административным и коммерческим). Они сбиваются в «Дворец» только потому, что не выживут поодиночке. Это вынужденный «корпоративизм» без солидарности, открытой состязательности, инновационности (примитивный или *«корпоративизм простейших»*).

Следует отметить, что в рамках «Дворца» все же сохраняется напряженность по линии «формальный государственник» (государство) – «формальный бизнесмен» (бизнес). Это одно из правил «дворцовой» игры, условие «дворцового» существования. Размежевание имеет значение не только PR-средства: показать «не-Дворцу», что государство у нас есть, – и оно отдельно, а бизнес, как и положено в цивилизованном мире, отдельно. Такой PR действенен лишь отчасти: активно участвующая в постсоветской жизни часть граждан хорошо понимает его условность, а «Дворец» понимает, что они понимают. Размежевание важно, прежде всего, с экономической точки зрения: это основа для конкуренции и сотрудничества в рамках «Дворца». «Дворцовую» экономику создают и в ней соревнуются (на неправовой, нецивилизованной основе) формально государство и формально бизнес (большой и очень большой), – других акторов в ней нет[37]. Мелкий и средний бизнес, фермерство и т.п. – все это игры для «не-Дворца» (иначе говоря, игры с ограниченными возможностями).

Исторические причины «отмирания» государства в РФ

Модернизованный потсоветский «Дворец» кажется несовременным, архаичным типом государства. Отчасти это так. Прежде всего, потому, что характеризуется глубокой пропастью между правителями и управляемыми. В государстве и обществе отсутствует объединяющий, общий интерес, – они сосуществуют, не чувствуя каких-то обязательств друг перед другом. (Собственно, российская жизнь вообще не мыслится в коллективных категориях: это или индивидуальное выживание на грани возможного, или индивидуальное благоденствие.

политических партий как институтов защиты и интересов бизнеса). Проблема в том, что *бизнес не стремится к субъектности, разменяв ее на гарантированные «Дворцом» сверхдоходы*.

[36]Цит. по Холодковский К.Г. К вопросу о политической системе современной России // Полис. – М., 2009. – № 2(110). – С. 7–22. - С. 13.

[37] Вот что говорят о специфике такой конкуренции бизнесмены: «…никакого противостояния и обособленности власти и бизнеса нет и, видимо, в ближайшие время не будет. Бизнес и власть переплетены теснейшим образом, все наше государство изрядно коммерциализировано. Бизнес связан как с отдельными чиновниками, так и с конкретными ведомствами. У чиновников есть свой бизнес, а у бизнеса – свои чиновники. И не бизнес противостоит власти или власть бизнесу, а одни государственно-деловые структуры – другим государственно-деловым структурам… Мы своим поведением развратили институты государственной власти до такой степени, что они уже не являются государственными институтами» (6, с. 40, 51). Можно, таким образом, говорить *о встречных процессах «захвата бизнеса» властью и «приватизации» бизнесом государства.* Вследствие чего в «верхах» сложилась определенная диспозиция, на которой и базируется «Дворец».

«Соборна» только ментальность: нам свойственно сливаться в большинство на уровне самых главных, «последних» ценностей – самоутверждения/са-мовозвеличивания/«избранничества», имеющих терапевтический, компенсаторный характер. Их смысл можно передать формулой: мы – лучшие, победители; мы – можем!) Казалось, что такой тип отношений ушел в далекое прошлое – и не только европейское, но и наше, российское. Чтобы понять, почему он возобновился, да еще в таких ярких формах, следует обратиться к генезису государства в России.

Напомню, что «дворцовое государство» Ключевского – это историческая отсылка, указание на своеобразие государственной эволюции в России. Исторический Дворец сформировался в удельную эпоху; из него в XVI–XVII вв. выросло государство как социально-управленческая система (первое московское ведомство – Приказ Большого Дворца – появилось из дворцового управления князя, которое прежде всего представляло собой управление княжеским имуществом[38]). Правда, в ходе эволюции российское государство полностью не «пережило», не «изжило» в себе «Дворец». То есть *сохранило идею государства как вотчины*: сначала – самовластного государя (самодержавие), затем – и именно на это указал В.О. Ключевский – сословия, которое выдвигает государя (самодержавие/дворяновластие). Черты «Дворца» (среди прочих и в смазанном виде) можно обнаружить и у дореволюционного, и у советского государства. Иначе говоря, они – среди прочего – были «Дворцом», включали коммуникации, имевшие «дворцовую» природу. Отсюда – их оценки как «сословных», «бюрократических», «номенклатурных», «антинародных» и т.п.

Но все же в относительно чистом виде «дворцовое государство» явилось, пожалуй, только в послепетровскую эпоху. («Расплавление» государства в Смутные времена, сопровождающиеся деинституционализацией, – явление другого порядка.) Тому было много причин; я укажу на одну, на мой взгляд, определяющую. Вспомним тезис Ключевского: «Московское государство – это вооруженная Великороссия». Он в полной мере относится также к Петербургской империи и СССР. Во все эпохи внешняя опасность, необходимость организации вооруженных сил страны требовали создания сильной централизованной власти, закрепощавшей сословия. *Военно-оборонный тип сознания стал определяющим для национальной ментальности*[39]. Более того, *национальное объединение происходило только на военно-оборонной основе*. В начале XVIII в. петровский милитаризм и имперство потребовали жертв от всех сословий; среди прочих – от дворянства. Его «впрягли» в службу, подобную крепостной (своего рода «элитарное» тягло) и требовавшей полного самоотречения. Петр не только перенапряг силы крестьянской России; он всячески (по-

[38] Его описание см., напр.: 29, с. 61–76, 91–100. «Дворец» был «следствием» вотчинного взгляда на государство как на частную собственность своего хозяина. До конца Рюриковой династии в московском государе, как говорит Ключевский, «борется вотчинник и государь, самовластный хозяин и носитель верховной государственной власти» (цит. по: 35, с. 108). Таким же было «понятие о власти», господствовавшее в «русском политическом мышлении»: «До 1598 г. на московского государя смотрели, как на хозяина земли, а не народа» (19, с. 135–136). Петр формально отказался от вотчинника в пользу государя, модернизировав тем самым верховную власть. Однако вотчинник не исчез, а глубоко скрылся, растворился в государе.

[39] И.М. Клямкин указывает: отношения народного (прежде всего – крестьянского) большинства с государством исторически выстраивались в России по «военной модели»; «политической альтернативы этой модели в народной культуре изначально не было, а ее формирование властями блокировалось»; «в вопросах, касающихся отношений с государством, … ценностно не отчленились друг от друга военная и мирная составляющие». Государственность приобрела милитаристский характер. Особость отношений государства и народа «рельефнее всего» проявилась в советскую эпоху: своеобразное «историческое и культурное содержание было облачено в советские институциональные и идеологические формы» (20, с. 14, 15).

человечески, политически, экономически) истощил высшее сословие[40]. Единственной потребностью дворянства были отдых, расслабление; оно желало демобилизации.

Минимизировать претензии верховной власти к дворянству можно было только минимизировав саму верховную власть, поставив ее в зависимость от сословия. Возможности для этого создал сам преобразователь. Послепетровская эпоха стала временем борьбы дворянства за свои права и избавление от обязанностей, собственно оформления сословия – не как служилого, а как господствующего, привилегированного, управляющего. И ограничения в связи с этим верховной власти – не ее самодурства, но вотчинного потенциала. Момент был подходящий: европейская ситуация была такова, что Великороссия могла не вооружаться: она на время выбыла из большой европейской игры, о ней забыли[41]. *В период мирной паузы («передышки») и возник «Дворец»* как результирующая дворянского стремления к освобождению от службы государству и к материальному насыщению, жизни «для себя». *В нем реализовалась идея государства как царско-дворянской вотчины*.

В подобных условиях – отсутствия внешнего врага и очевидных внешних угроз в их традиционном понимании, эмансипации управляющих и расширения возможностей их самореализации вне государства – возник постсоветский «Дворец»[42]. Только в этом он и походит на «классическое», послепетровское «дворцовое государство». Которое, к слову сказать, «закончилось» в Отечественной войне 1812 г., вновь заставившей всю Великороссию вооружиться и служить – Отечеству. Тогда дворянство показало пример службы как самоотречения, что, видимо, есть единственная «площадка» для консолидации русского мира («элит» и народа). Об этом – «Война» (связанная с нею часть эпопеи) Л.Н. Толстого.

Трансформация советского «государства трудящихся» в постсоветское «дворцовое» происходила в исторических условиях, в каких-то основных чертах напоминающих послепетровский XVIII век. *Во многом это следствие* (реакция на) *эмансипации управлявших «верхов», закрепощенных в государстве, и эксплуатировавшегося народа, закрепощенного государством*. Эмансипация продолжалась весь послесталинский (вновь уточню: послевоенный) период: освободившие себя (после смерти «Хозяина») «верхи» инициировали и «низовую» (массовую) эмансипацию. Она, так же как и «элитарная», имела преимущественно

[40] Вот что пишет В.О. Ключевский о «следствиях безмерной работы», какую Петр «задал народному труду»: «Лихорадочная деятельность Петра до времени прикрывала крайнее истощение сил страны непосильными тягостями, наложенными на народный труд. Иноземные послы уже за год и больше до смерти Петра догадывались об этом платежном изнурении и писали, что страна не в состоянии ничего больше давать и что единственным еще способным к растяжению финансовым ресурсом остается деспотическая власть царя, не признающая за подданными права собственности» (19, с. 146). Последняя фраза, пожалуй, самая важная в этой цитате. Отрицание за собственниками прав собственности, жертвование частными интересами во имя общих (национально-государственных), найденных «наверху», – вот что сближает мышление «лучших государственников» (царственных деспотов/любимых народных царей) с мировоззрением русского крестьянства, составившего количественную и качественную основу советского народа.

[41] «Для Петра важно было значение дворянства как орудия управления и еще более как военно-служилого класса… Хозяйственное положение дворянства занимало преобразователя только по связи его с военно-служебной годностью сословия. Военная служба дворянства стала менее нужна правительству благодаря затишью, наступившему в Западной Европе и в России после войн за испанское наследство и Северной» (19, с. 156).

[42] Об испытании России «невоенным» вызовом говорил И. Клямкин, правда, оценивая ситуацию как уникальную: «Россия впервые оказалась перед вызовом, с которым никогда раньше не сталкивалась: вызовом миром, т.е. отсутствием угрозы большой войны. По крайней мере – со стороны Запада. Жизнь в условиях мира трудно давалась России всегда, она не выработала необходимые для такой жизни способы консолидации общества. Но если раньше это компенсировалось войнами и военными угрозами, то распад СССР – первое, до конца еще не осмысленное проявление того совершенно нового вызова… России предстоит осуществить модернизацию при отсутствии угрозы большой войны» (48, с. 14, 15). Определяющим для И. Клямкина является вопрос: «В старой парадигме реального или потенциального военного противостояния конкурентоспособность обеспечивалась политическими, административными и прочими инструментами, в значительной степени насильственными. Чем они могут компенсироваться сейчас?» (48, с. 39).

частно-потребительский характер: не освободила «дух», но раскрепостила владельческие, материалистические инстинкты.

Процесс всеобщего раскрепощения сдерживался только военно-оборон-ными задачами: ситуация «холодной войны» не давала окончательно разрушиться «тюремно-крепостному» (или мобилизационному, требовавшему всеобщего напряжения и самоограничения) порядку. Тем не менее, следствием постоянного «послабления режима» стало всеобщее бегство в потребительство и воровство. Последнее представляло собой единственно возможный в советских условиях (монопольного владения государством «доходной материей») вариант перераспределения наличной материальной субстанции – *помимо государства, но используя возможности государства*. Бегство становилось все более явным по мере того, как девальвировался образа «врага». Он стал исчезать из ментального фундамента советского государства, изначально строившегося на «противостоянчестве», «вражеском» комплексе, эксплуатации массовых страха и агрессии, идеологии избранности (мы – вне и над остальным миром). «Враг» все больше становился образцом жизни «для себя», идеальной моделью современного потребления.

Исчез «Запад–Враг», оставив по себе только антизападнические комплексы, – *у государства отпала необходимость удерживать народонаселение в состоянии постоянной мобилизационной готовности, а значит, и обеспечивать его, о нем заботиться*. Вместе с тем, *не стало главной национальной задачи/идеи, интегрирующей население в народ и связывающей его с государством*. Процесс демилитаризации/«демобилизации» на рубеже 1980–1990 гг. принял обвальный характер, перейдя в распад/разложение[43]. В результате сворачивания военно-оборонной функции (более того, миссии глобального противостояния) *государство перестало работать как эффективный социальный механизм*, нейтрализующий угрозы/риски и направляющий/стимулирующий развитие. Оно сосредоточилось на себе, занято теперь только собой, приобрело узкосоциальное («сословное») измерение.

«Дворец» – «не-Дворец»: единство и борьба противоположностей

В результате «антикоммунистической революции» в России «элиты» сбросили с себя бремя забот о «народе», а народ избавился от необходимости трудиться на государство. Сосредоточение господствующих групп на личных интересах, торжество «наверху» ничем (правом, моралью, «мнением народным») не ограниченного «субъективного материализма» стало главной причиной трансформации «государства трудящихся» в «Дворец»[44]. Он наце-

[43] История страны в XVIII–XX вв., по мнению И.М. Клямкина, вообще, может быть, представлена как «циклическое чередование милитаризаций и демилитаризаций жизненного уклада… Демилитаризация… начиналась с дозированного предоставления прав и завершалась юридическим самоограничением верховной власти в пользу выборного института народного представительства… Но тут-то и выяснилось, что при отсутствии укоренившегося невоенного понятия об общем интересе интересы частные и групповые, освобожденные от дисциплинирующей милитаристско-закрепостительной скрепы, оказываются непримиримыми. Институты народного представительства, созывом которых завершались оба демилитаризаторских цикла (и послепетровский, и послесталинский), не столько консолидировали общество, сколько выявляли его неконсолидируемость. Но и старые институты, будь то самодержавие (… монархическое или коммунистическое) или церковь (православная либо в виде коммунистической партии и ее идеологии), при трансформации военного понятия об общем интересе в невоенное обнаруживали в конечном счете свое бессилие» (20, с. 16, 18).

[44] Внешность этого новообразования говорит сама за себя. «Дворец» должен быть роскошен, – и средств на это не жалеет. Смелый до безрассудства и откровенный до бесстыдства, «Дворец» снабжен массой церемоний и презентаций (собственно, «Дворец» – это сплошная церемониально-презентационная часть, на фоне которой быт и нравы советских элит выглядят вполне «совковыми»). Прикрываясь тайной, этим необходимым атрибутом «деловой» жизни, «Дворец» в то же время не прочь себя показать – для полноты самоутверждения требуются зрители. Роскошен «Дворец» не только в домашне-семейно-праздничном быту, но и на работе. Вот один из характерных фактов: «1 июня 2010 г. на сайте госзакупок появилась информация о госзаказе. Заказчик – Министерство финансов – информировал о том, что ему нужны два стола (компьютерный и переговорный) и

лен исключительно на перераспределение власти и собственности, сохранение созданных для такого перераспределения условий. Это и есть стабильность «по-дворцовому».

Постсоветское государство не нуждается в предельной консолидации и принуждению к службе господствующих групп, создании условий для всеобщего принудительного труда, суровом режиме внутреннего подавления, жестком механизме извлечения и централизованного распределения совокупного прибавочного продукта. Оно *избавилось от бремени, отягощавшего российское государство во времена Московского Царства – Петербургской империи – СССР, т.е. почти всегда*. В современных условиях насильственно чрезвычайные способы контроля, интеграции и эксплуатации социума стали не целесообразны, излишни. «Освобожденное» государство живет для себя и «в себе», ограничив до минимума, необходимого для самооправдания, «несущие» функции управления (административное, хозяйственное и судебно-правовое регулирование, поддержание внутренней и внешней безопасности и т.д.)[45]. Вследствие этого *нарастает неуправляемость, а государство все больше уподобляется спасателю* (становится чем-то вроде «большого МЧС»), вынужденно реагируя на чрезвычайные ситуации[46]. Это обессмысливает его существование как социально-управленческой структуры: государство как бы сворачивается, отменяет себя. Или, как предрекали классики марксизма-ленинизма, «отмирает». Кажется, что «Дворец» – это форма «отмирания» в России государства как социального института, обслуживающего нужды всего общества и определяющего его перспективы.

Главный «raison d'être» современного российского государства – в том, что на наших пространствах оно всегда гарантировало порядок и стимулировало развитие, обеспечивало внешнюю, оборонительно-наступательную функцию, а до недавнего времени воспринималось как «общенародное» (а отчасти и было таковым). То есть *основания легитимности «Дворца» – в прошлом*. Кроме того, «Дворец» не жалеет средств на продвижение собственного образа, сконструированного в соответствии с воспоминаниями и актуальными «пожеланиями» граждан, – как раз тех, которые «свободны», т.е. брошены им на самообеспечение. *«Дворец-medium» пытается замаскировать реальность, имитируя «кормящее», социально справедливое и ответственное государство*.

С точки зрения «Дворца» социум ужался до «ограниченного контингента», необходимого для «дворцового» обслуживания[47]. Это по разным подсчетам, от 10 до 15–17% населения, связанных с относительно эффективными хозяйственными секторами, в которых фоку-

---

двадцать стульев из дерева, инкрустированных позолотой, на общую сумму 2,5 млн. рублей! В требованиях к изделию было указано, что «поверхность рамки столешницы должна быть отшлифована и окрашена в цвет ореха ручным способом, что позволяет сохранить уникальность текстуры и неповторимость узора дерева». Кроме того, предполагалось наличие кожаной вставки в столешнице с золотым тиснением по периметру. Для позолоты планировалось использовать золотую фольгу высокой пробы. На фоне заявлений … о намерении экономить – в ближайшие три года ведомство планирует сократить число федеральных чиновников на 20% – подобный заказ выглядел совершенно скандально. Видимо, это поняли и в Минфине. 15 июня заказ был отменен, а само его появление ведомство объяснило случайно вкравшейся ошибкой. К слову, Минфин не единственное ведомство, имеющее вкус к дорогой обстановке. Золоченую мебель в прошлом году также покупало Министерство внутренних дел. В августе 2009 г. на сайте госзакупок появилась информация о конкурсе на приобретение мебели и предметов интерьера на 24,4 млн. рублей. В заказе МВД … фигурировала кровать из массива европейской вишни, декорированная «тонким слоем золота – 24 карата» (41, с. 14).

[45] О впечатляющих результатах его деятельности много писали. Из обобщающих (и лишенных каких бы то ни было псевдонаучных спекуляций) работ последнего времени см., напр.: 7, с. 16–23; 44, с. 67–74.

[46] Это со всей очевидностью продемонстрировала ситуация с аномальной жарой, лесными пожарами и экологическими кризисами в мегаполисах европейской России в июле-августе 2010 г.

[47] Хотя обслуживание – общая функция прослойки, значительная ее часть занята этим прямым и непосредственным образом. Так, по данным Министерства здравоохранения и соцразвития России, в стране около 20 млн. человек являются домашними работниками. Они занимаются вовсе не только уборкой и часто высоко оплачиваются: например, труд нянь в Москве стоит от 20 до 40 тыс. руб. в месяц, семейных водителей – от 30 до 60 тыс. (см.: 28, с. 7). Большая часть таких нянь и водителей, а также врачи, репетиторы, повара, парикмахеры, банщики и т.п. являются «дворцовой» обслугой, работают в сфере «элитарных» услуг.

сируется экономическое оживление[48]. То есть с тем, что составляет «дворцовые» владения. Достаточно аморфная «придворцовая» прослойка, создающая доходы «Дворца», но с них и живущая, – не просто сфера «дворцового» обслуживания. Это своего рода «подушка безопасности» «Дворца», его социальная база, придающая ему устойчивость. Сюда он может расширяться, – правда, до определенных пределов. Чрезмерное расширение, видимо, ведет к перерождению «Дворца» – во что-то другое.

Остальное население (не «Дворец» и не сфера его обслуживания)[49] свободно – и от государственной службы, и от государственных забот. Оно «Дворцу» просто не нужно, так как не рассматривается им в качестве мобилизационного и трудового ресурса. (Соответ-

[48] Как выясняется, определить «прослойку» в количественном отношении довольно сложно. Понятно, что по своим параметрам она должна принадлежать к российскому среднему классу. Однако вопрос о том, что это такое, нашей социологической мыслью пока не решен. Наиболее авторитетные мнения на этот счет таковы. Институт социологии РАН считает «среднеклассовость» массовой, определяет эту массу как «средние слои», «относительно благополучные на общероссийском фоне», и относит к ним не менее трети или 33% населения (данные 2008 г.) (12, с. 6, 10–12).

По самым общим подсчетам ВЦИОМ, в этот слой входит не больше 16% населения, имеющих очень странные для классического среднего класса потребительские параметры – «денег хватает на все, кроме новой машины, квартиры и дачи» (22, с. 64). Ту же цифру – 16% населения (2007 г.) – называют исследователи Независимого института социальной политики (НИСП), указывая, что границы среднего класса с 2000 г. не расширяются (40, с. 432; 11, с. 34).

Очевидно, что во всех случаях к «среднему классу» отнесены разные совокупности «срединных слоев», «не проигравших» (в той или иной мере и по сравнению с менее успешными) от социальных перемен. Тогда «прослойкой» можно считать выигравших в «страте» не проигравших. Это те, кого Институт социологии называет «верхним слоем среднего класса» – 6–8% населения (2008 г.). ИС РАН устойчиво (с 2000 г. по 2007 г.) относит к «ядру» среднего класса 7% российских домохозяйств с наиболее высокой концентрацией признаков «среднеклассовости» (11, с. 34). По подсчетам Левада-Центра, группа «выигравших» в 1990-е и в начале 2000-х стабильно составляла 7–8% населения, а за последние годы выросла до 11–12%. «Выигравшие» «стоят» за тот порядок, который сложился на настоящий момент, – лишь бы он не слишком сильно им докучал (14, с. 28).

Итак, от 6–8 до 11–12% (в среднем – 10% населения) «выигравших» («авангардный сегмент» «не-Дворца» или новый средний класс) – это «прослойка» между «срединными» слоями (большинством населения России) и «Дворцом». Экономически она явно тяготеет к «Дворцу» (не случайно, общественным мнением относится к богатым). А поэтому вряд ли целесообразно приплюсовывать ее к «срединным», т.е. основе «не-Дворца». «Прослойка» не обладает явно выраженными признаками гражданственности, а потому весьма сомнительна ее способность реализовать инновационный сценарий развития страны.

[49] «Недворцовую» массу составляют «срединные» слои, более или менее благополучное большинство социума, и «очень нуждающиеся». Все они в той или иной мере обездолены, что и объединяет их в «не-Дворец». Их главная жизненная установка – «как бы не было хуже» (14, с. 28). Кто же составляет эту «недворцовую» массу?

По данным ВЦИОМ, «численное большинство нашего населения» – порядка 45–55% – «до среднего класса не дотягивает по материальным показателям, но и бедными их тоже трудно назвать. Им хватает и на еду, и на одежду, но покупка бытовой техники, скажем, холодильника или электроплиты, для них уже проблема. При этом они ориентируются на образ жизни, стиль потребления среднего класса как на образцовый» (22, с. 64). ВЦИОМ выделяет также «многочисленную группу бедных (их примерно 24–28% от всех россиян) и тех, кто за чертой бедности (их еще от 7 до 10%)». То есть «не-Дворец», по показателям ВЦИОМ, – это от 76 до 93% населения (или, в среднем: порядка 10% – «за чертой», около 25% – «бедные» и 50% – «срединные». Остается, напомню, еще 16% – на наш странный средний класс).

Еще один вариант стратификации предлагает Институт социологии РАН. Прежде всего, выделяет 33% «срединных слоев», что есть предельный уровень благополучия в современной России (ресурс их дальнейшего расширения «практически ограничен»). Следующий уровень – обездоленные. По данным ИС РАН, весной 2008 г. 59% населения России характеризовалось тремя параметрами уровня жизни: «ниже черты бедности» (16%), балансирующие «на грани бедности» или «нуждающиеся» (16%) и в состоянии «малообеспеченности» (27%).

Как видите, цифры расходятся, причем значительно: «не-Дворец» – это, скорее всего, от почти 60% до более, чем 80% населения. Из них от 30% до почти 40% – бедные и очень бедные слои. В любом случае, оставить за «бортом» *такую* массу – это очень сильная государственная стратегия. В основном мирно согласиться остаться за «бортом» – не менее сильная человеческая стратегия. Применить ее способна только дезорганизованная и деморализованная, атомизированная, анархо-государственническая масса. *Она – «не-Дворец» именно потому, что она такова*.

ственно, «Дворец» отказывается от обслуживания в полном объеме разных сфер социальной деятельности: от «больших» искусства/культуры – в пользу «дворцовых», «большое» сельское хозяйство заменяют пригородные экологически чистые «дворцовые» хозяйства, «большая» наука редуцируется до Сколково и т.д.) – Это совершенно особый случай в нашей истории. Государство в России всегда – по разным (но чаще военно-оборонным) причинам – нуждалось в населении: «догоняло» и закрепощало, использовало и вовлекало, просвещало и воспитывало его. Но не игнорировало. Сейчас государство – само по себе, основная масса народонаселения – сама по себе. У государства для населения нет больше ни идей (предлагаются только старые, «потерто-заношенные»), ни занятий. У населения к государству остались только претензии – социально-экономического характера.

В этой диспозиции явно проигрывает «не-Дворец». Все, что сейчас в России «Дворцом» не является, обречено – во всяком случае, в ближайшей перспективе. По существу, для выживания «не-Дворец» должен искать независимые от государства источники самообеспечения (в том числе «кормовые» на старость, временную нетрудоспособность), что чаще всего достигается неправовыми способами[50]. Следует отметить, что у населения богатый опыт такого рода: при «избытке» или «недостатке» государства в России в дефиците всегда была его социальная функция. Люди исторически приучены выкручиваться как умеют. Сейчас общение с государственными органами сведено до минимума; к ним обращаются вынужденно, когда нет иных вариантов решения проблем.

В конечном счете, *нынешняя обреченность «не-Дворца» не является фатальной*; воля – это его шанс стать обществом, сформировать запрос на отмену «дворцового государства». Но пока «не-Дворец» остается дезорганизованной, атомизированной, «асоциальной» массой, занятой выживанием и обучающейся современному потреблению. Для этого применяет в основном незаконные и нецивилизованные стратегии. В этих условиях запрос на то, чем нам быть, за массу формирует «Дворец». И масса не возражает. Если это и кажется странным, то только на первый взгляд.

Для характеристики «не-Дворца» с качественной точки зрения важны следующие обстоятельства. Социологи констатируют факты «консервации бедности» и формирования «субкультуры бедных», отсутствия у «нуждающихся» свободных денег (т.е. какого-либо «запаса прочности»), концентрации малообеспеченных в «малой России» (так, 67% малообеспеченных и 75% нуждающихся «из числа работающего населения» сосредоточены в малых городах и селах, хотя доля населения таких городов среди работающих составляет около 60%) (12, с. 5–10). Что касается *«срединных» (или промежуточных: уже не «низших», но еще и не «дворцовой обслуги»)* слоев, то их перспективы исследователи описывают так. Если экономический рост укрепляет материальное положение наиболее обеспеченных доходных групп, а прямое регулирование доходов дает некоторый результат в зоне бедности, то «промежуточные» оказались за кадром экономической и социальной политики; «импульсы, исходящие и от положительной экономической динамики, и от попыток правительства поднять уровень жизни населения, сюда либо вообще не доходят, либо доходят в усеченном виде… Представители этой страты не участвуют в экономическом росте и не ощущают его результатов, а лишь наблюдают за ним. Это означает, что для абсолютного большинства граждан экономический рост – не панацея. Возможности прямого регулирования доходов в действующей парадигме не безграничны, и ее сохранение означает в лучшем случае стабилизацию доходов, но не существенное улучшение материального положения основной массы населения» (24, с. 81). И последнее. Судя по описаниям, перспективы «не-Дворца» таковы: при малейших неблагоприятных экономических колебаниях, скорее, «срединные» пополнят «зону бедности», чем наоборот. В целом *ситуация может не восприниматься как катастрофическая только очень закаленным человеком. То есть нашим человеком*.

[50] Социологический факт: большинство сложившихся в России социальных сетей, которые были и остаются важным дополнительным ресурсом выживания, носит неформальный характер. В этом «проявляется явное недоверие значительной доли российских граждан к формальным институтам» (12, с. 14, 15). Закономерно, что только 26% опрошенных в июле 2005 г. во всех территориально-экономических районах России разделили следующую точку зрения: во всем и всегда следует соблюдать букву закона. Кстати, среди госслужащих ее поддержали 58% опрошенных (4, с. 101–102). Очевидно, что приверженность правовой дисциплине – не личная установка и не просто декларация: скорее, предписание рядовым гражданам, с которыми чиновники себя не ассоциируют. *Закон выглядит как формальное ограничение для «резервации»; те, кто стоят над ней, – выше закона*.

Это массовое согласие на «Дворец» объясняется не только «хорошими» воспоминаниями и всеобщей усталостью/безразличием. Отношения массы «недворцовых» россиян с государством чрезвычайно сложны: противостоя ему (как враждебной, внешней, подавляющей их силе, не способной наладить механизмы социальной защиты, справедливого распределения ресурсов, благ), она в то же время настроена на сотрудничество. Многочисленные постсоветские социологические опросы показывают, что «государственные и общественные институты не пользуются поддержкой и доверием россиян. Они не рассматриваются ими в качестве инструментов реализации общественных и личных интересов»[51]. При этом, по данным тех же опросов, и сегодня понятия «государство» и «государственные служащие» вызывают у наших граждан скорее позитивное чувство (тогда как «власть» и «чиновничество» – негативное)[52]. Любопытно, что и «у самой бюрократии термин «чиновники» связан с негативными ассоциациями. Ей больше по душе, когда ее представителей называют государственными служащими»[53].

Получается, что у людей есть четкие представления о том, каким должно быть государство, которое они сочли бы «своим». И именно эти представления их объединяют, – здесь расхождений у абсолютного большинства граждан нет. Более того, по их мнению, государство в принципе должно быть «своим» (народным) и никаким другим, – отсюда позитивное отношение к «госслужащему» как «единице» народа, интегрированной в государство. В конечном счете, *наш идеал – не отделение от государства, его дополнение гражданским обществом, а неразделимое единство народного государства и народа-государственника*. В этой логике восстать народ может только против «неправильного» («самозваного») государства, что, по существу, есть восстановление справедливости, а потому ненаказуемо. Другой вариант отношений с таким государством – обман, «кидóк», отчуждение. «Власть и бюрократия» – «маркёры» «чужого», «не нашего» («переродившегося», «ненормального») государства, которому что-то (точнее, кто-то – «враги», «заговорщики», «мировое закулисье», т.е. персонифицированное зло, вечные спутники русского человека – «темные силы») мешает быть «народным».

Устойчивое ощущение государства как ценности воспитано историей и навязано властными репрезентациями о государстве трудящихся, где совпадали коренные интересы государства и населения. Перенесение восприятия с советского государства на постсоветское выглядит как ошибка атрибуции. Представляя государство по воспоминаниям (т.е. усвоенным в прошлом представлением о «дóлжном»), постсоветские граждане в действительности имеют дело с совершенно иным, чем представляется, феноменом – «Дворцом», основанном на коренном несовпадении интересов. Конфликт между реальным и дóлжным/идеальным снимается применением двух стратегий. Во-первых, массовое отчуждение от «Дворца» компенсируется ростом потребности в «дóлжном» государстве. Как свидетельствуют опросы, «социальная и правовая незащищенность… усиливает роль государства и его институтов для значительной части общества. Более 60% населения утверждает, что без помощи и поддержки государства им не выжить»[54] [55]. И это уже не ошибка восприятия, а правда. Этим объясняется «поддержка большинством населения различных вариантов национализации крупных «олигархических» бизнес-структур… Консенсусной социально-политической ценностью последних лет является усиление роли государства во всех сферах жизни, его социальная ориенти-

[51]Бюрократия и власть в новой России / Институт социологии РАН. Центр комплексных социальных исследований // Полития. – М., 2006. – Весна. – № 1(40). – С. 88–103. - С. 97.
[52]Там же. С. 92.
[53]Там же.
[54]Там же. С. 88.
[55] Показательно, что по данным опроса Левада-Центра весны 2009 г., 54% респондентов убеждены: возможности выхода России из экономического кризиса полностью зависят от действий правительства (см.: 44, с. 72–73).

рованность»[56]. Более того, «чиновники и рядовое население едины в одном, что защита гражданских прав россиян, в первую очередь от произвола государственных органов, должна находиться под «патронажем» самого государства»[57]. Такое «мирское согласие» напоминает единство овец и волков: овцы делегируют свои права и обязательства их защищать волкам. Правда, в оправдание «овец» следует сказать, что они отказываются от малозначимых (на их взгляд) для выживания прав в пользу «хороших волков» – такого государства, каким оно должно быть.

Вторая стратегия демонстрирует жесткий прагматизм постсоветского массового человека: четверть трудоспособного населения желала бы сейчас стать госслужащими, обеспечив себе «надежность работы и заработка, возможность попасть в круг «нужных» людей, получать социальные льготы и гарантии»[58]. Приблизиться к «Дворцу», хотя бы на уровне «обслуживания», – так население пытается в новых условиях сблизить свои интересы с государственными. Иначе говоря, предполагает «попользоваться» если не самими «дворцовыми» возможностями, то хотя бы их остатками (своего рода согласие на существование по «остаточному» принципу). Это малопривлекательная с морально-этической точки зрения, но вполне расчетливая жизненная стратегия. Правда, эффективно применить ее смогут немногие.

Обе стратегии выживания – «фантазера»-бунтаря, исправляющего реальность в воображении и ожидающего претворения в жизнь воображаемого, и пассивного пользователя – скорее ориентируют на сотрудничество с тем, что есть, чем на активное переустройство. Точнее, не оставляют места перестроечной инициативе. «Общество охотно, по крайней мере, без значительного сопротивления, передает государству свои прерогативы, такие, например, как выборы местной власти, формирование партийной системы, социальная и трудовая защита»[59]. Государство наделяется гражданами значением «компетентной» инстанции, единолично отвечающей за положение коллективных дел («коллектив» при этом не «сведущ», не влиятелен – бессубъектен)[60]. Отчуждение основной массы населения от властных функций принимает-

[56]Там же.

[57]Там же. С. 100.

[58]Там же. С. 102-103.

[59]Там же. С. 88.

[60] Многие российские социологи и политологи выделяют в российском обществе несколько «мировоззренческих» групп: «традиционалистски и патерналистски настроенные» слои (за 2006–2009 гг. их доля возросла с 41 до 47%, в молодежной среде – с 29% в 2004 г. до 39% в 2009 г.); «модернисты», «в сознании которых доминируют идеи личной ответственности, инициативы, индивидуальной свободы» (этот слой сократился с 26% до 20%; в возрастной категории до 25 лет – с 37% в 2004 до 27% в 2009 г.); «носители промежуточного типа сознания, сочетающего в себе элементы традиционализма и модернизма (их доля устойчива – 33%) (см.: 12, с. 17). Главное «мировоззренческое» различие исследователи видят в отношении к всевластию государства и свободе личности. Если «модернисты» предпочитают индивидуальную свободу, то «традиционалисты» и «промежуточные» (порядка 80% населения, т.е. абсолютное большинство) – «этакратическую модель», с всевластным государством, в идеале выражающим интересы общности в целом и обеспечивающим ее безопасность (12, с. 17–18). Однако всех примиряют экономические воззрения, *представления о роли государства в социально-экономической жизни, являющиеся несущей конструкцией мировосприятия россиян*. Здесь даже «модернисты»/«инноваторы» солидарны с остальным населением. Главная массовая установка – «доминирование государства в экономике, в управлении собственностью»: по общему мнению (оно разделяется большинством в любой демографической и социально-профессиональной группе), все отрасли «стратегического» характера (добывающие, электроэнергетика, транспорт и др.) должны быть «в руках» государства; в «нестратегических» возможна смешанная экономика, но под государственным контролем (его цель – согласование интересов частного капитала с интересами общества в целом) (12, с. 18–19). Российская рыночная экономика («реальный» капитализм, пришедший на смену «реальному» социализму) большинством россиян отторгается как не соответствующая идеальной модели. *И сам идеал, и отношение к реальности (отчуждение от нее в ожидании чуда), в конечном счете, ориентируют нашего массового человека на попустительство произволу государства, а не на его ограничение*. Единственный выход, который оставляет для себя русский человек, – бунт: тихий, индивидуальный («уход в себя») или карнавально-массовое буйство. И то и другое – стихийно, не формализуемо, не способно преобразоваться в социальную альтернативу. И предполагает появление лидеров-бунтарей (атаманов-царьков), но не эффективной оппозиции.

ся как факт – «то ли как естественное следствие разделения труда, неизбежность, то ли как удобное положение вещей, позволяющее большинству людей заниматься своими делами»[61]. И, добавлю я, не чувствовать персональной ответственности за происходящее.

При этом большинство глубоко переживает несправедливость государства (точнее, своего положения в системе, созданной государством), продуцируя постоянно высокий конфликтно-протестный социальный фон[62]. Его, кстати, поддерживает сам «Дворец» – прежде всего, информационными средствами. Симуляция общего – государства и народа – переживания несправедливости, затушевывание сущностной порочности «Дворца» риторикой несовершенства государства и недостатков отдельных государственных лиц снимают напряжение, не позволяя недовольству превысить социально допустимую норму. В итоге *сопротивление перерабатывается в сотрудничество*; «не-Дворец» оказывается неспособным изменить социальную диспозицию, а время делает ее привычной. «Недворцовая» масса, главный адаптационный механизм которой – жизнь «по привычке», по принципу «стерпится», со временем все больше свыкается с «Дворцом».

Зачем «Дворцу» президент?

В отношениях «сословие–народонаселение» «Дворец» – сильнейшая сторона. По праву сильного он и снял с себя всякие обязательства, оставив их при этом за слабейшим. Вроде бы преобладание «Дворца» бесспорно и не ограничено; составляющему его «сословию» не о чем беспокоиться. Однако неопределенности и риски в рамках такой – несправедливой, неэффективной, с нормальной точки зрения противоестественной (т.е. антицивилизационной, отрицающей культурный опыт, современные культурные достижения и нормы) – системы так велики, что для обеспечения максимально благоприятных условий существования «сословие» готово идти на самоограничения. «Дворец» нуждается в налаженных внутренних коммуникациях (для предотвращения войны в «верхах» за «место» – доступ к «дворцовым» прибылям) и хотя бы символическом внешнем представительстве. Для этого господствующие группы «призывают» верховную власть.

Наше «выборно-преемническое самодержавие» и в начале XXI в. – после всех усилений, «вертикализаций», борьбы с «аристократическим» элементом за свои права – остается «договорным». Оно, прежде всего, – результат «сговора» (закулисной «сделки») «элит», т.е. «дворцовых» акторов[63]. При этом, чтобы эффективно служить «Дворцу», верховная власть

[61]Там же. С. 88, 97, 102

[62] На таком фоне вполне естественной, скажем, выглядит реакция граждан на убийства в Приморском крае в июне 2010 г. милиционеров. Преступники вызвали не осуждение, а массовое сочувствие (см. об этом, напр.: 43, с. 12–16). Еще не разобравшись в происходящем, граждане назвали мифических злодеев «приморскими партизанами», и злорадствовали, когда во Владивостоке милиционеры перестали ходить поодиночке – только группами и в зеленых армейских касках. Это очень походит на отношение «аборигенов» к оккупантам. Уссурийские «партизаны» явно рассматривались как управа на милицию, а убийства – как справедливый самосуд. Стихийная массовая антигосударственная реакция – серьезный сигнал «дворцовому» государству.

[63] «Договорное» означает ограниченное – не столько с формальной точки зрения (по Конституции), что для России не существенно, сколько по факту: прежде всего, бизнес-«аристократией» («олигархами»), отчасти демократическими структурами (партиями, парламентом), «клановой» конкуренцией и т.п. Ограничение «по факту» напоминает ограничения, навязанные власти в XVII–XVIII вв. Характеризуя положение самодержавия после 1598 г., В.О. Ключевский пишет, что в XVII в. боярство («знатные фамилии» или «фамильные люди», «родовая аристократия») «…освоилось с мыслью о договорном царе; но, исходя из правящего класса, а не из народной массы, заслуженно ему не доверявшей, эта мысль всегда стремилась отлиться и… отливалась в одинаковую форму закулисной сделки, выступившей наружу в виде добровольного дара власти либо проявлявшейся в ослабленных браздах правления. *Такая форма была выходом из положения между двух огней, в которое попадали люди, чутьем или сознательно пытавшиеся исцелить страну от болезненного роста верховной власти*. Дело 1730 г. было седьмой попыткой более или менее прикрытого сделочного вымогания свободы правительственным кружкам и четвертым опытом открытого, формального ограничения власти. Негласное вымогание свободы вызывалось нравственным недоверием к дурно воспитанной политической

должна быть (или хотя бы выглядеть) самостоятельной («не сделочной»), сильной, стабильной и национальной (точнее, национально-религиозной – как «борец» за «русскую народность» и православную веру). Ее возвышение – в интересах «дворцовых» акторов.

«Договорно-самодержавный» президент – глава корпорации «Россия–Дворец», ее охрана/«крыша», арбитр/модератор. В то же время – лидер одной из дворцовых «группировок», делегированный на самый верх с целью создания льготных условий для «своих». Экономическое могущество верховной власти основывается на размере и доходности ее доли «дворцового хозяйства». Бюджет – это те материальные средства, которые позволяют верховной власти «держать под своей рукой» других экономических акторов. (Кстати, бюджет страны очень походит на «дворцовый» общак; те, кто его держит, видимо, в большом авторитете.) *Аппарат верховной власти (Администрация президента) регулирует внутренние (т.е. собственно «дворцовые») коммуникации, а персонификатор представляет «Дворец» «не-Дворцу»* – исторически он является для граждан гарантом реализации государством его социальной функции.

«Царско-боярский сговор», лежащий в основе «Дворца», понимается народом («не-Дворцом») как «заговор против народа» или «коренная ложь» нового социального порядка[64]. Преодолению «лжи» (переводу ее в статус как бы «не бывшей», не существующей) служит имидж «народного» (избранного для и «под» народ) президента, «прессующего» «сильных людей» и потому противостоящего «Дворцу». *Президент* – народный покровитель и защитник – *единственная точка пересечения народа и «дворцового государства», воплощенное преодоление их противостояния*. Президент символизирует «народное» начало государства, обеспечивая «Дворцу» легитимность. Этим, с точки зрения господствующего «сословия», оправдывается президентская власть.

Симптоматично, что по данным социологических исследований «главную роль в повышении действенности отечественной бюрократии население отводит президенту страны»[65]. При этом «многочисленные опросы показывают, что в последнее время в российском обществе как никогда сильны антибюрократические умонастроения… Они сочетаются с запросом на сильное государство, справедливость и порядок»[66]. Добавим также, что в «унии» крупного олигархического капитала и властвующей элиты россияне видят главный «механизм торможения», препятствующий выходу России на траекторию устойчивого развития[67]. Если обобщить эти данные, получается, что президент выводится гражданами за пределы российской бюрократии и как бы ставится над ней, – ведь именно ему отведена роль ее «перевоспитате-

власти и страхом перед недоверчивым к правящему классу народом; формальное ограничение не удавалось вследствие розни среди самих господствующих классов» (19, с. 136. Выделено мною. – *И.Г.*). В конце XX в. состоялись и «сделка», и «формальное ограничение», но и они не стали окончательными.

[64] Характерно, что «многие наши сограждане не вполне уверены в том, что и президент России и другие федеральные органы власти (правительство, парламент) обладают всей полнотой власти. Власть в стране, по мнению населения, достаточно равномерно распределена в своеобразном треугольнике: «федеральная власть (президент, парламент и правительство) – бюрократия – «олигархи». Так, 28,8% в 2006 г. полагали, что власть находится в руках президента и других федеральных органов. Примерно столько же (28,2%) считали, что ею обладает «гражданская» и «силовая» бюрократия, и 32,3% – олигархи. «Если население в целом чаще считает, что реальную власть в стране имеют олигархические кланы, то респонденты-чиновники полагают, что она находится в руках легитимных органов власти – президента, парламента, правительства (45,3% против 28,8%) … Единственное, в чем единодушны практически все респонденты, – это в том, что «российский народ» не оказывает никакого влияния на функционирование российской власти» (4, с. 93–94). Лишь 11% россиян, опрошенных рабочей группой Института социологии РАН в 2008 г., заявили, что знают, как сделать, чтобы их голос был услышан при принятии важных политических решений. Для сравнения: в Германии, Франции, Великобритании, Италии эта доля превышает 30%, в Швейцарии равна 45%, в Дании – 52%, в Голландии – 67% (38, с. 76–77).

[65] Бюрократия и власть в новой России / Институт социологии РАН. Центр комплексных социальных исследований // Полития. – М., 2006. – Весна. – № 1(40). – С. 88–103. - С. 103.

[66] Там же. С. 88, 91.

[67] Там же. С. 91.

ля»/контролера. Не связывается он и с «олигархами», не вписывается в их союз с административными элитами, – президент выше всех «аристократических», узких и корыстных, интересов. (Понятно, что «антиаристократическая» риторика двух последних президентов совсем не случайна. Это сигнал об их соответствии массовым ожиданиям.)

Только президента граждане считают ответственным за справедливость, порядок, усиление государства и вполне способным их обеспечить[68]. *Президент является* персонификатором этих традиционных ценностей, обязательно коррелирующих друг с другом, – и, следовательно, *точкой пересечения воображаемого (до́лжного) и реального государства. Граждане отводят ему роль идеального государственника (точнее, он – опора воображаемой конструкции «идеальное российское государство»),* а пороки системы склонны списывать на реальность (тех государство и государственников, с которыми имеют дело). Таким образом, в пользу президента, персонифицирующего идеальное государство, добровольно отчуждается функция общесоциального (коллективного, национального) жизнетворчества. При этом, делегируя на «самый верх» ответственность за налаживание общей жизни, россияне явно снимают ее с себя, а персонифицируя ответственность, по существу, *отрицают идею государства как обезличенного, регулятивно-административного, правового механизма*. Фактически речь идет о зафиксированном социологически *взгляде на государство как на вотчину – правда, вотчину идеального государственника*, способного дать то, чего в жизни нет, да и никогда не было (понятно, что сверхинтенсивный запрос на порядок/справедливость и обеспечивающее их сильное государство имеет компенсаторный, «замещенный» характер). Коллективное воображаемое становится питательной почвой для создания в реальности совсем другой, прямо противоположной модели, которая отторгается массовым сознанием как антиидеал государства как «сословной» вотчины/«кормушки».

Вообще постоянное сопоставление постсоветским массовым человеком реального с идеалом, острый конфликт реального с воображаемым заслуживают особого внимания. Сопоставление и перенос («хороших» ментальных конструкций в «плохую» жизнь») – это способ преодоления разрыва между «до́лжным» и реальностью, который ощущается как радикальный. Представления получают в массовом сознании статус «хорошей реальности», противопоставляемой жизненному миру по принципу «свет»–«тьма» и служащей образцом его переделки, улучшения. Причем, только в воображении (это традиционный тип коллективного действия – за пределами реальной жизни). Так в нашей культуре компенсируются дефициты действительности, снижается уровень массовой тревожности от столкновений с нею.

Подобный тип разрядки (и высокая потребность в ней) свидетельствуют о том, насколько жизнь – внешние по отношению к частному мирку, коллективно создаваемые условия существования – подавляет нашего человека, как глубоко им переживается ее стрессогенный накал (действительность фактически воспринимается как одна сплошная угроза существованию), каким незащищенным и несамостоятельным он себя чувствует. Отбиться от жизни можно только в опоре на «своих» (семью, ближайшее окружение), через коррупцию, неформальные связи и еще цепляясь за идеальные опоры – мудрую и справедливую верховную власть, народное государство. Идеальная же модель государства – явление, историче-

[68] Как показывают опросы, «большинство россиян основную ответственность за дела в стране возлагают на главу государства и подконтрольные ему федеральные органы власти. Лишь четверть населения убеждена в том, что центральная власть не должна отвечать за все, что происходит в стране» (4, с. 100). Интересно, что высоко оценивая политическое влияние президента, граждане склонны занижать возможности его экономической власти: 42,8% опрошенных в 2005 г. полагали, что В. Путин оказывает решающее, по сравнению с бюрократией, влияние на политическую жизнь страны, и только 18,3% считали, что его влияние так же велико в экономике. «Мнения чиновников распределились сходным образом: 52,9% отметили доминирующую роль В. Путина в политической сфере и… 26,1% – в экономической» (4, с. 95). Это, своего рода, способ «оберегания» президента (точнее, своих представлений о назначении русской верховной власти) – от подозрений в корысти, потакании частным интересам, а, значит, – жертвовании общими.

ски, культурно и ментально обусловленное. Можно сказать, что свои отношения с государством-идеалом большинство современных граждан строит подобно тому, как это делали дореволюционный крестьянин и простой советский человек в обозримой для исследователей ретроспективе (во всяком случае, в XIX–XX вв.). А президент в идеальной модели государства занимает приблизительно то же место, что царь и генеральный секретарь.

Причем речь идет о социальном явлении и его понимании, а не о конкретной личности и ее качествах. Иначе говоря, социальная нагрузка фигуры президента не меняется в зависимости от того, кто сейчас президент. *Харизма персонификатора русской власти – это харизма «места», а не лица, его занимающего*. Правда, *люди оценивают, насколько персонификатор подходит к своей социальной роли (соответствует ли «месту»).* В этом смысле современный исполнитель рассматривается ими, скорее, как «и.о.» президента, временно перешедшего на другую работу, или, если воспользоваться традиционной терминологией, *«местоблюститель»*[69]. Именно нынешний премьер выглядит как персонификатор и защитник народных интересов, – потому так и воспринимается народом. При этом восприятие определяет не видимость (или не только она), а «правильное» наложение видимого (публичного образа персонификатора/защитника, представляемого подходящим, органично «вжившимся» в образ лицом) на соответствующую ментально-культурную матрицу.

Повторю, отношения «сословия» с президентской властью оформились в постсоветские времена как «договорные», а не «служебные». Однако в 2000-е верховная власть накопила достаточный ресурс, чтобы выступать в этих отношениях с позиции силы. *Создание путинской «вертикали» следует понимать не только как процесс «собирания» (отъема и накопления) и «роста» за этот счет политической власти, но и укрепления механизмов контроля «дворцовых» собственности/собственников*. Очевидно, что заставить такие механизмы эффективно работать могли только представители советской госбезопасности («силы порядка» русской системы, т.е. всегда полицейщины/террора), которые в 90-е приобрели опыт коммерческой деятельности (в основном – разрешения коммерческих споров и охраны/«крышевания»). Поэтому сейчас они – «центровые» «Дворца», его арбитражно-контролирующая основа. «Высшая власть», по точному выражению К.Г. Холодковского, выступает как «верховный арбитр теневой ресурсной конкуренции» (45, с. 16)[70].

«Рост» верховной власти в 2000-е был во многом обеспечен запросом на нее «не-Дворца», отягощенного потребностью в идеальном государстве. *Самим «Дворцом» политическая власть в значительной мере воспринимается как один из «путей» «дворцового» хозяйства, а также товар, который имеет свою цену (т.е. определенные условия владения).* Наращивание ее престижа (внутреннего и международного) служит доказательством ее эффективности в рамках «Дворца». В этом смысле президент, действительно, напоминает управляющего корпорацией, а его окружение, вся политическая «элита» – корпоративный топ-менеджмент. Но это, подчеркну, скорее, самопонимание, образ «Дворца» для «Дворца» (для «служебного

[69] *Ситуация «соправительства»* дает уникальную возможность наблюдать процесс перераспределения верховной власти. К.Г. Холодковский обращает внимание на факт полного или частичного перемещения реальной власти в новое место вслед за лицом (45, с. 18–21). Причем в рамках такой комбинации лицу удалось подтвердить свою безальтернативность как главы страны. Интересна интерпретация В.Б. Пастухова, который считает Д. Медведева не политическим, а юридическим преемником В. Путина: ему отведена роль «трасти», доверительного управляющего. «Вполне возможно, – отмечает исследователь, – …что широкая вовлеченность российской политической элиты в оффшорный бизнес подсказала ей методологию решения возникшей перед Путиным «проблемы 2008». Привлечение доверительных управляющих экономическими активами так прочно вошло в русскую бизнес-практику, что использование этого механизма для решения политических задач казалось делом совершенно естественным» (30, с. 121). Доверительный управляющий, обладающий лишь правом подписи, – находка в духе «Дворца», интернационалиста, коммерсанта, советского «делового», не доверяющего никому и ничему.

[70] Для определения роли верховной власти очень подошел бы криминальный термин, использованный О. Крыштановской для описания «коалиции Путина»: она говорила о «смотрящих Кремля», я бы сказала – *«смотрящий Кремль»*.

пользования»). Народу он давно уже не предлагается, так как никак не способствует решению «дворцовых» задач. *Во внешних/публичных коммуникациях подчеркивается независимость верховной власти, ее удаленность от «Дворца». Только прикрываясь этим традиционным образом она может представлять и защищать «дворцовые» интересы (т.е. и свои интересы тоже).*

В то же время верховная власть все больше демонстрирует, что видит себя иначе, чем просто «наемным работником» на службе у «государства/корпорации». Это, прежде всего, означает, что амбиция у нас всегда далеко опережает наличные возможности. *Персонификатор верховной власти больше не владеет «Дворцом» единолично. Но долгое пребывание на должности («магия места») активизирует властные владельческие инстинкты*. «Дурно воспитанная» политическая власть стремится пересмотреть ограничившие ее «сделки», вернуть себе привычный самовластный (или «безотчетный», по Ключевскому[71]), надправовой статус – «царя по Правде». Это представляет собой очевидную угрозу интересам других «дворцовых» акторов. И еще бóльшую – народонаселению: самовластие – самая дурная и опасная русская болезнь. Но «не-Дворец» не хочет признавать, что инфицирован ею. Самовластие он трактует как благо для себя, рассчитывая, что царская «гроза» и «опала» коснутся только «аристократических», чуждых и враждебных ему, элементов. То есть «не-дворцовые» «неакторы» верят, что накажут «по заслугам» и по справедливости, – а, значит, не их, бессубъектных и безвинных. «Не-Дворец» ждет ограниченных (выборочных) репрессий так же напряженно, как и «царских» милостей (милостыни).

От номенклатуры – к «Дворцу»: элитарная логика

Кажется, что постсоветский опыт позволяет сформулировать один из «законов» «русской системы». Чем больше ослабевают репрессивный накал государства и страх перед ним населения, тем более очевидными становятся «убегание» от него граждан и его замыкание в себе, сопровождающееся минимизацией социальных функций и гипертрофированием личных и корпоративных (в том числе ведомственных, региональных) интересов в рамках государственной системы. По мере расширения объема общественных свобод (а происходит это «сверху» вниз – от «элит» к массам, причем определяющее значение имеют свободы социально-экономические, не установленные правовым порядком, а вырванные по «праву сильного», «захватом») государство все больше приобретает черты «дворцового». У государства должны быть сильные противовесы («переросшие» «дворцовую» логику элиты, гражданские силы), чтобы сопротивляться давлению этого внутреннего «механизма».

В позднесоветском государстве главным сдерживающим фактором была партия – партийные нормы, дисциплина, контроль, репрессия. Когда партии не стало, государство редуцировалось до «Дворца». Смысл деятельности постсоветского «дворцового государства» – самообеспечение. Государственные собственность и бюджет рассматриваются как «корм» «Дворца»; внутренние (непубличные, в основном нацеленные на согласование интересов между разными «дворцовыми» группировками) и внешние (их можно трактовать как платные услуги и разного рода «связи с общественностью») коммуникации все больше основываются на коррупционных механизмах[72]. Причем, коррупция – это проявление свободы/автономии, на которых строится «Дворец». *Не случайно советское государство (т.е. прежде всего*

[71]Ключевский В.О. Русская история: Полный курс лекций в трех книгах. – Кн. 3. – М.: Мысль, 1993. – 559 с. - С. 137.

[72] По современным подсчетам, к «теневой экономике», возросшей на коррупции, на излете существования СССР принадлежало около 18 млн. человек. Врастая в «теневые» связи, все больше криминализировались средние и низовые уровни советской власти. Постсоветский «Дворец», безусловно, имеет здесь свои корни. – Его (среди прочего) продавила «теневая» масса, желавшая легализоваться и определять собой жизнь в стране. Ее главный жизненный принцип: «теневая» практика обслуживает частные интересы, т.е. используется «для себя». Этот принцип стал определять и «дворцовую» жизнь.

ЦК–ГБ) боролось не с коррупцией как таковой, а с коррупционерами как свободными, автономными от партии/государства людьми (в том смысле, что поставили свои интересы выше партийно-государственных). *Коррупционеры победили; ЦК–ГБ их возглавили*.

Почему на «переходе» «от советского» сработал именно этот, «ущербный» с общесоциальной точки зрения вариант? Ведь он не был предопределен: *в подобных условиях – последовательной всеобщей эмансипации (60-е годы XIX – начало XX в.) – не произошло трансформации государства в «Дворец»*. Вероятно, в основном потому, что правившие тогда не желали быть только «Дворцом», просто «Дворцом». Их интересы были неизмеримо шире и сложнее, потребности не ограничивались потребительскими (за них жажду материального, потребности низшего порядка удовлетворили предки). Достаточно широкий слой вполне европейской, культурно рафинированной элиты стал гарантией от появления «Дворца». *Видимо, главная страховка от сползания к «дворцовому государству» в России – окультуривание элит, их дисциплинирование и гуманизация в рамках европейских ценностей*. Только прививка «антропоцентричной» культуры способна привести к внутреннему самоограничению, укрощению «изнутри» (не царской дыбой и не народным бунтом) эгоизма «правящего сословия». Правда, в массовом, урбанистическом и образованном, обществе *эволюция элит должна быть поддержана и направлена соответствующей социальной эволюцией*.

Рождение «Дворца» (элитарного, «сословного» государства, понятного в XVIII в., но вроде бы несовместимого с условиями массового общества, глобального мира), повторю, обусловлено позднесоветским опытом. То есть опытом трансформации русского массово-мобилизационного общества в массовое потребительское и соответствующего «переформатирования» социального пространства. Инициаторами «перехода» от мобилизующего советского «общенародного» государства к демобилизованному «Дворцу» были позднесоветские «элиты». В советских условиях «наверх» попадали и там выживали сначала самые безжалостные, потом самые ловкие и всегда – самые беспринципные. Условием советской «элитарности» было поведение, противоречащее тому, что можно назвать народным интересом. В рамках «Дворца» оно получило иную, чем в советские времена, и притом самую естественную (а, значит, и самую примитивную) реализацию – материалистическую, потребительскую.

На раскрепощение и выхолащивание из советской системы высшего смысла (осознание всеми – и, прежде всего, «верхами» – бессмысленности советской идеологии и советского порядка) «элиты» ответили единственным, чем могли ответить, – поставили себя, собствен-

---

Здесь следует сделать существенную оговорку: то, что в нашей обыденной жизни принято называть коррупцией (в том числе обмен возможностями, услугами), не есть проблема «карающих» органов. Это не отклонение от нормы, болезнь, сопутствующее нормальной жизни частное явление, а способ существования социума. (Именно в такой интерпретации тема коррупции легализована в публичном пространстве. Сам президент, обсуждая антикоррупционную программу, назвал коррупцию одним из исторических механизмов осуществления власти в стране (см.: 45, с. 12). Однако следует понимать: публичные разговоры «верхов» о том, что все равно разворуют и иначе мы не можем, – не что иное, как легитимация коррупционности «Дворца»). И здесь главный вопрос: почему социум допускает существование такого механизма, более того, нуждается в нем? На него есть ответы, причем, на мой взгляд, взаимодополняющие. С.Г. Кордонский характеризует коррупцию как «систему связей по перераспределению ресурсов». По его мнению, «принципиальная непубличность в распределении и освоении ресурсов… есть имманентное свойство… системы сословно-ресурсного общественного устройства. Оно повсеместно и неискоренимо…» (21, с. 136). Ю.С. Пивоваров видит «корни» этого явления в передельной природе крестьянской дореволюционной, а затем советской социальности: «…коррупция советского периода есть наследник (по прямой) социальных отношений, господствовавших в передельной общине… Русское общество… по своей природе… перманентно-передельное. Переделы происходят периодически, с тем, чтобы имущество не превратилось в собственность» (33, с. 55–56). В современных условиях коррупционный механизм или «механизм передела финансовых и материальных средств» явился, как считает автор, важнейшим измерением «властной плазмы» – социально-властной среды, пришедшей на смену советской «властепопуляции». В этой среде «локализуются и минимизируются конфликты постсоветского общества» – отсюда и название, возникшее по аналогии с «социальной плазмой» Р. Дарендорфа (33, с. 42–45).

ные потребности и интересы выше системы. И это понятно: она не оправдала себя – ни экономически, ни идеологически (см., напр.: 47). (Единственным ее оправданием сразу и уже навсегда стала война.) Ей не стоило служить, – но можно было использовать ее возможности для себя. *В позднесоветское время сформировалась критическая номенклатурная масса, которая захотела «Дворца».* Она и начала его созидать. (*Ю. Андропов и М. Горбачев, по существу, пытались переломить тенденцию эволюции позднесоветского государства к «Дворцу»:* первый – репрессией, в логике «полицейского» государства; второй – стремясь легализовать и цивилизовать «теневую» экономику, в логике рынка, правового государства. Обе попытки не удались. В 1990-е годы еще сохранялся выбор в определении направления государственной эволюции: «Дворец» или нечто более современное, адекватное идее государства. Удачная экономическая конъюнктура, открывшая новые перспективы передела, окончательно смела «антидворцовые» перспективы.)

Потом инициативу перехватили «неноменклатурные пришельцы» – более «голодные», народные и соответствующие моменту выходцы из «низов», прорвавшиеся «наверх» в жестокой конкурентной борьбе «на уничтожение». Они придали творению новый смысл – модернизация быта (за счет заимствования улучшающих его западных технологий) и всеобщее потребительство. Привлекли еще национализм, призванный заменить советскую идею социальной справедливости и компенсировать великодержавные комплексы. Однако он, скорее, имитационен, – *у «Дворца» нет и не может быть высокой идеи, высшего смысла. Он их не приемлет*. Потребительский эгоизм и инстинкт насыщения «правящего класса», не сдерживаемые ограничителями советских времен, – этим исчерпывается «Дворец». Поэтому он в принципе не способен предложить гражданам такой проект общества, который вызвал бы у них доверие, сформировать систему ценностей и норм солидарности, создать основу для роста коллективной ответственности и ощущения общей судьбы.

В конечном счете, *«Дворец» возник в ситуации «переопределения» позднесоветских «элит», их адаптации к новым историческим условиям*. В государстве же «дворцового типа» по-иному проявилась варварская природа советского государства, очевидная во всем: хозяйствовании, администрировании, но главное – в отношении к человеку. Преемственность очевидна: и в том и в другом случае человек (не ЧеловекоВласть, а просто человек со своими потребностями и интересами) не рассматривается в качестве главной социальной перспективы. Наши системы строятся не для него. А он, движимый культурно-исторической логикой, парадоксальным образом соучаствует в их строительстве.

Исторические модели «Дворца»

Исторический опыт не берется из ничего и не может пройти бесследно. При всех изменениях в определенном социокультурном типе сохраняются некие определяющие для него черты, «технологии» самовыражения. Казалось, уже пережитые и забытые, они – при исчерпании каких-то функций и возможностей, в типологически сходных с прежними исторических условиях – возобновляются, начинают работать. Конечно, попадая в новую социальную, темпоральную, пространственную конфигурацию, ведут себя иначе. Но являются вполне узнаваемыми.

Таков феномен «Дворца». Это не случайность и не «вывих», – здесь не прав В.О. Ключевский. И не явление общего порядка, характерное для «большинства обществ переходного типа, в которых проводится авторитарно-бюрократическая модернизация»[73]. Видимо, в не-

[73] Готовность списать всю «неудобную» российскую специфику на «переходный период» и «модернизацию» вообще характерна для современных исследователей. В эту специфику попадают и особые отношения нынешнего государства и граждан: «патерналистские представления о «должном» государстве, способном защитить своих граждан и реализовать их интересы», – и «сложившаяся практика подчинения интересов государственной бюрократии частным и корпоративным интересам, ее неспособность к реализации общественных запросов, общая неэффективность» (4, с. 88–89).

драх российского государства заложена «дворцовая программа» (или *«дворцовый код»*), – иначе она не срабатывала бы. По существу, это *«код» элементарности/упрощенчества*, ориентирующий на существование по линии «наименьшего сопротивления». Он (среди прочего) составляет качество русской культуры, русской государственной традиции. В процессе исторического «оцивилизовывания», «окультуривания» наше государство преодолевало в себе «Дворец», переставало быть только «Дворцом», приобретая черты «регулярного», «полицейского», «правового», «социального». В какой-то мере «дворцовые» инстинкты ограничивала религия, затем – коммунистическая идеология.

Однако в разные периоды своего существования русское государство, повторю, сохраняло (среди прочего) черты «дворцового». В истории заметны, по крайней мере, два варианта «Дворца»:

– *«большой Дворец»* (это «классический вариант», следствие демобилизационного беспорядка) – его составляет достаточно большой круг людей, допущенных к элитарному «перемолоту» наличной доходной материи. Чем шире этот круг, тем больше имущественное неравенство, – но и пространство общественных свобод. Это времена дворянских вольностей, усиления аристократии, требующей себе не только имущественных, но и личных прав. Отказываясь платить по общесоциальным счетам (служить и жертвовать во имя национальных интересов), «элита» «большого Дворца» «скатывается» к «римско-ренессансному» типу.

И здесь действует интересная закономерность. Правящее сословие всегда тяготило желание расширить «Дворец», как наиболее естественную для себя форму существования. Делая это, оно невольно увеличивало объем общественных свобод, а значит, способствовало росту субъектности общества. То есть *свобода в России – «незаконное дитя» растущего «Дворца»*. Эмансипация предполагает и снятие ограничений с передельных инстинктов социума, что выражается в росте коррупции.

Самые яркие примеры «большого Дворца» дали послепетровский XVIII в. с его «верхушечной» («элитарной») коррупцией и закрепощением основной массы населения, а также рубеж XX–XXI столетий, когда в коррупционные процессы включились освобожденные все. Не умея и не желая согласовывать свои интересы правовым порядком, «вольные субъекты» вступили в войну друг с другом за доступ к «зонам» передела. Чем больше субъектов, – тем масштабнее военные действия.

Становясь массовым, «Дворец» способен переродиться в нечто иное – возможно, более современное, даже гуманное и цивилизованное. Но перерождение сопровождается явлениями развала/распада/анархии, этими спутниками русской свободы. Не будучи ничем (даже логикой самосохранения) ограничены, они могут привести к полной дезорганизации. И тогда явятся или новая деспотия в условиях тотальной варваризации, – или какое-то другое государство;

– *«малый Дворец»* (соответствует периоду «сползания» к мобилизационному порядку) – «дворцовое государства» ужимается до узкого круга «избранных» («опричных», «петровских», «ордена меченосцев»), а общество становится более эгалитарным. Это понятно: потребляя меньше, «Дворец» больше оставляет народу. При этом наблюдает за поддержанием относительного равенства в распределении. Однако с усилением контроля «сверху» сужается зона общественных свобод. Урезается и свобода внутри «Дворца»: получив всё и став всем в русском мире, «дворцовые» вынуждены от многого отказываться. Платой за «избранность» становится участие в мобилизационном развитии.

Немногочисленная «элита» в такие моменты тяготеет к военно-монас-тырскому, «орденскому» типу. Консолидируясь вокруг верховной власти, она решает национальные задачи (прежде всего, экспансии в пространстве), удовлетворяет национальные интересы. Метод решения – террор, в рамках которого вполне эффективно борются и с коррупцией, накидывая узду на передельные социальные инстинкты. Во имя общего подавляются интересы личные, корпоративные, общественные. *Это путь перерождения государства «дворцового» в «слу-*

жилое», деспотизм которого оправдан идеей всеобщей службы. На этом пути могут быть эксцессы варварско-криминального характера (как грозненский и сталинский террористические режимы).

Именно «служилое» государство, «кормящее» только «служивых», *понимается и принимается как «до́лжное» основной массой народонаселения. То есть получает в народном восприятии статус «государства правды»:* поравнение социума в службе, потреблении и уязвимости перед государственным насилием воспринимается как реализация принципа социальной справедливости. В ходе такой реализации все социальные силы – добровольно или насильственно – отказываются от собственной субъектности в пользу верховной власти. Государство в таких условиях становится монополистом, распределяющим блага и наказания, военизируется и приобретает идеократический характер.

Конечно, это только один из возможных взглядов на историческую динамику нашего государства. И фиксирует он крайние варианты его самореализации. Действительность сложнее, – в ней нет «чистых» типов, действуют разные тенденции. Но *такая оптика позволяет несколько сместить акценты в суждениях о современном государстве. От него не следует ждать самореализации в режиме демократического, правового, социального*, приписывать соответствующие этому режиму потенции. Хотя наше государство, безусловно, имеет эти черты, т.е. в нем заметны сопоставимые с современным западным элементы, которые – сами по себе – могли бы дать соответствующее качество. Однако попадая в иной контекст, элементы современного государства начинают вести себя иначе, в основном подчиняясь господствующей в данной системе логике. Ее я и предлагаю называть «дворцовой».

Эта логика не архаична, а сам «Дворец» – не неожиданный кратковременный выплеск архаики. *Постсоветский «Дворец» есть наложение особой (назовем ее патримониальной, «вотчинной» и «ресурсной») природы нашего государства* – никогда не исчезавшей, дремавшей, но активизировавшейся – *и передельной (а также «сословно-иерархической») природы нашей социальности на современный момент*: свободы, плюральности (сравнительно с советским временем), выхода из-под государственного контроля частной сферы, открытости миру, интернационализации потребления, отсутствия реальной военной угрозы. В «дворцовом» государстве смешалось многое: «родовые» черты, воспоминания о советском и советские практики, представления о западном и западные технологии и т.д. В «постмодернистском» «Дворце» 2000-х неожиданным образом совместились даже разные «дворцовые» логики – «демобилизационная» (среди прочего – освободительная), возобладавшая в 1990-е, и мобилизационная, ограничительная. Причем совмещение дало эффект, наиболее опасный с общесоциальной точки зрения.

Преодолевая «разброд» 90-х, дисциплинируясь и подавляя «властесмуту», «Дворец» «нулевых» не желает отказываться от завоеваний тех лет – богатства и социальной безответственности. Усилив контроль над обществом (насколько было нужно) и нагнетая «мобилизационную тревогу», не идет на самоограничение. Что по-человечески понятно: крайне трудно делиться (денег всегда не хватает) и служить, особенно если и нынешняя служба тяготит как рабский труд на галерах. Наконец привыкнув к отсутствию всяких внешних ограничений и не имея внутренних, путинско-медведевский «Дворец» живет по принципу: «сегодня можно все». При этом продуцирует соответствующую общественную атмосферу: раз «верхним» позволено, то и всем разрешено. Главное – нажиться, как – не важно. Сейчас это главные принцип и норма, на которых строится социальное взаимодействие. Правда, так взаимодействовать можно лишь «при условии неумеренного разрастания «пирога» доходов, создаваемого высокими ценами на углеводороды и вообще сырье»[74].

Это уникальная даже для России ситуация навязчиво провоцирует вопрос: «дворцовый режим» функционирования государства есть «временная передышка» – или

[74]Холодковский К.Г. К вопросу о политической системе современной России // Полис. – М., 2009. – № 2(110). – С. 7–22. - С. 13.

расслабление/распад, на которых паразитирует и которые катализирует «Дворец», непреодолимы? Каков бы ни был ответ, очевидно, что социальные перспективы располагаются в следующей вилке: выход из «паузы», где весьма вероятен террористический сценарий, – одряхление/умирание.

Наши перспективы: куда идем мы за «Дворцом»?

Сегодняшний – динамичный и веселый, талантливый и роскошный, торгующий и празднующий, во всем этом самоутверждающийся – «Дворец» окружен грозными опасностями. И он их, вероятно, – хотя бы интуитивно – ощущает.

Начнем с «внешней» опасности: «Дворец» не соразмерен современному миру, не способен справиться с сокращающимися географией и демографией – главными проблемами нынешней России. Мир давит на «Дворец», заставляя его искать ответы на современные вызовы. Для этого – усмирять хищнические владельческие инстинкты. А он – не хочет; возможно, уже и не может. В созданных – до него и им самим – геополитических условиях у него почти нет игры. Нет друзей – и возможностей стать центром новой гегемонистской системы, втянуть в свою орбиту новых саттелитов; нет очевидных врагов, – зато масса новых угроз (на одну из них указывает анекдот – национальный лидер в середине XXI в. отчитывается перед вдруг материализовавшимся «вождем народов»: на китайско-финской границе все спокойно); воспоминания о недавнем прошлом не позволяют смириться со статусом региональной страны, – но нет и ресурса для сверх- (или велико)державности (см., напр.: 25, с. 84–98). Ситуация почти тупиковая: единственный выход – умерить внешнеполитические амбиции, отдав приоритет наращиванию экономики и созданию человеческого капитала. Но здесь «Дворец» – нам не лидер; он слишком богат, жаден, самоуверен и амбициозен, заворожен образами собственного успеха.

Главная «внутренняя» опасность для «России–Дворца» – в том, что он обслуживает чрезвычайно узкие социальные интересы. Возможны разные сценарии как ее обострения/разрастания, так и гашения/нейтрализации. Причем, сценарии одинаково малоприятные – уже не только для «Дворца», но и для всех нас. Речь идет о националистической реакции – «сверху» или «снизу».

Первый сценарий обусловлен тем, что «низы» в какой-то момент могут отказаться жить так, как устроил их «Дворец». О радостях жизни «недворцовой» России «Дворцу», в общем-то, известно. Потому что значительная часть «Дворца» сама еще вчера была «не-Дворцом». Но ему так хочется поскорее о них забыть, что он не воспринимает их всерьез, гася воспоминания и тревогу PR-ом и подачками. А радости эти кого угодно способны не только утомить и обессилить, но и озлобить. При всей усталости, безразличии, социальной неэффективности «не-Дворца» (при том, что «настоящих буйных мало»), он вполне еще может трахнуть «дворцовой» стабильностью. – Если доведут до предела.

На взрыв (или цепь локальных взрывов) «недворцовую» массу постоянно провоцирует «Дворец», в поисках новых источников передела реформирующий ЖКХ, добивающий «социалку»[75], приватизировавший энергосистему, грозящий приватизацией метро и т.п. Катали-

[75] Один из последних шагов на этом пути – законопроект 2010 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений». Разработчик законопроекта – правительство, сокращая бюджетные расходы, идет на приватизацию «социалки» (поликлиник и больниц, школ и вузов, театров и музеев, т.е. бюджетной сферы, где занято 14 млн. человек, предоставляющих «услуги» всей стране). Для этого меняет схему их финансирования: малая часть («казенные») получит стопроцентное бюджетное финансирование, прочие («бюджетные нового типа») – госзаказ на выполнение определенных работ, а остальное должны будут взять с населения (в «формате» оказания платных услуг) (см. об этом: 1, 13 и др.). Таким образом, «Дворец» избавляется от государства советского типа (идеи и структур), иссекает его из себя. Для примитивных «дворцовых» задач советское государство избыточно, современное западное – еще и опасно (сами разговоры о

затором предельного обострения социального напряжения могут послужить экотехногенные катастрофы и масштабные теракты – особенно в мегаполисах. При изношенности нашей инфраструктуры и способности государственных органов к их предотвращению приходится только удивляться, что такого рода ситуации нас до сих пор миновали. Если гром грянет, возможно, поминовений и ликвидации последствий окажется недостаточно, – придется вспомнить о «дубине народного гнева».

Заметим, «Дворец» практически не ищет путей купирования протестно-анархическо-криминальной энергии, не пробует вовлечь население в производительный труд. Постсоветские «верхи» полностью положились на эффекты масскультуры и потребительства, игнорируя даже советский опыт социального управления[76]. А ведь советская власть располагала богатым и достаточно эффективным арсеналом средств не только насилия, но и вовлечения/интегрирования. И ее «социальные завоевания» – вовсе не пустой звук (пусть завоевала по минимуму, но сейчас ушло и это). Не случайно люди характеризуют власть советскую как «народную», в противоположность нынешней. Конечно, в чрезвычайной ситуации у «Дворца» есть выход, – граница открыта. Для тех, кто успеет. Ближайшая перспектива для остальных (уже без различия на «Дворец»/«не-Дворец») – да здравствует русский бунт!

Вероятен и другой сценарий – опять-таки по Владимиру Ильичу: когда «верхи» не смогут «верховодить» по-«стародворцовому». Мы по-прежнему живем в дефицитарном обществе, – здесь запас материи, подходящей для передела, ограничен. А «Дворец» разросся – скоро не станет хватать даже тем, кто внутри него (при их непомерных аппетитах). Тем более не останется средств на реализацию «Дворцом» функции «собеса». Так долго продолжаться не может. Здесь для «верхов» возможны два – не исключающих друг друга – пути террористического свойства: сокращение/урезание «Дворца» (по типу грозненской опричнины – поэтому так завораживают фантазии В. Сорокина); сворачивание остатков советского «государства–собеса» и дополнительная формализация или полная отмена соучастия населения в выборе власти. И это логично: начисто лишенный «дворцовой» помощи, народ вряд ли станет голосовать правильно.

Оба пути связаны уже не с народной революцией, а с властным террором как против элит (с целью их минимизации), так и против народонаселения (прежде всего, для его устрашения). То есть дальнейшее самоосуществление современного российского государства как «дворцового» может привести к террору власти с целью полного замыкания во «Дворце», присвоения себе права перераспределения наличной (доступной социуму) материальной субстанции, не ограниченного ни «элитными сговорами», ни народным выбором. Конечно, полная реализация этого сценария возможна только в том случае, если государство замкнет внутри себя всю (или, как, минимум, экономическую) свою деятельность и перестанет нуждать-

«демократическом и правовом» искушают, рождая ненужные иллюзии).

[76] За одним исключением – активное использование репрессивно-охранительных структур для ликвидации самих возможностей выступлений на социальной почве. Характерный факт: в июле 2010 г. Госдума силами парламентского большинства утвердила новую скандальную редакцию Закона о ФСБ, расширяющую его полномочия. Правительственные поправки наделяют спецслужбу правом выносить «официальные предостережения» за намерения, штрафовать и даже арестовывать обычных граждан. Под пристальный надзор службы, если верить пояснительной записке правительства, попадут в первую очередь активисты радикальных молодежных движений и критически настроенные журналисты и их редакции. Высокопоставленный источник журнала «Профиль» в ФСБ на условиях анонимности пояснил, что «новые права службе понадобились вовсе не для гонений на оппозицию, а для работы с теми, кто подстрекает россиян выходить на митинги протеста в регионах. Например, после повышения транспортного налога или увеличения стоимости услуг ЖКХ. В ФСБ уверены, корни социального напряжения не всегда связаны с тяжелой экономической обстановкой на предприятии или в конкретном городе. Зачастую, уверяет высокопоставленный источник, обстановку накаляют намеренно для расшатывания правопорядка во всей России и нередко – вообще извне» (26, с. 22–23). Очень знакомое обоснование очень привычных действий. Однако смысл их иной, чем в советские времена: тогда государство нападало, терроризировало, теперь «Дворец» готовится к защите (от граждан). А значит, чувствует себя неуверенно, понимает свою чуждость «недворцовой» массе.

ся в связях с внешним миром. Это почти невозможно в условиях глобализации и «интернационализации» наших «элит». Но это «невозможно» не отменяет сценария вовсе: в том или ином ограниченном варианте он может реализоваться.

С формальной ликвидацией политического выбора (и, соответственно, выборов) граждане почти наверняка легко смирятся[77]. Террор же против элит неизбежно будет воспринят популяцией как долгожданная справедливая «народная война» против «врагов народа», которую за народ ведет власть. Ее тут же провозгласят «справедливой», «народной» и полюбят «по-русски», «взасос» и всепрощающе. Точкой пересечения реальности «дворцового государства» с идеей «государства трудящихся» в этом случае станет «народный царь» (самодержец от всех трудящихся), возвращающий вместе с угрозой расправы страх как стимул для труда. И мы опять сольемся в единый народ в экстазе всеобщего оптимизма. Хайль, товарищ Сталин!

***

Главная проблема нашего общества – неспособность совместить свободу с порядком и социальными гарантиями. Как показал XX век, в ситуации выбора мы скатываемся к одному из крайних состояний: воли/смуты, в которой исчезает государство вместе с нормативно-регулятивной функцией и потенциалом социальной защиты, или дисциплинирующей полицейщины, где государство-деспот гарантирует минимум, необходимый для выживания. И то и другое одинаково не комфортно и опасно для человека, так как связано с насилием над человеческой природой, ее искушением и развращением.

Сейчас мы пребываем в «фазе» воли, специфика которой выразилась (в том числе) в явлении «дворцового государства». Это такой же яркий показатель несправедливости нашего социального устройства, как крепостное право (дореволюционное или советское). Поэтому эволюция «Дворца» в современное социальное, правовое государство – вроде бы, в интересах нашего человека.

Очевидно, что для изменения ситуации – оказания влияния на политику «государства-корпорации» для придания ей бóльшей социальной ответственности – необходимо сильное давление извне. Позицию «верхов», вполне удовлетворенных «дворцовым» режимом функционирования государства, способен изменить только интенсивный и внятный запрос «низов». А это означает переориентацию хотя бы части социума (наиболее активной, креативной) с «дикого» индивидуализма, нацеленного на удовлетворение собственных материалистических потребностей – как правило, за счет другого, на индивидуализм «либерального» типа, требующий уважения интересов и прав Другого, осознания своей включенности в социальные связи и собственной в них ответственности. А, значит, – и на определенный тип государства, обслуживающего таких индивидуалистов и порожденные ими социальные отношения.

Пока признаков такой переориентации, значимого запроса на правовой порядок (иначе говоря, появления заинтересованного в нем субъекта) в российском обществе не наблюдается. Скорее, становятся все более интенсивными неудовлетворенность значительной части населения (в первую очередь активного меньшинства) собственным положением в «дворцовой» системе, что является главным основанием его оценки как несправедливого, и желание это положение изменить, – т.е. *самим стать «Дворцом»*. В такой ситуации речь может идти о смене лиц «наверху» под напором «снизу», а не об изменении системы как таковой. Получается, что главным стабилизатором «дворцового» порядка является массовый

[77] Об этом свидетельствуют, например, данные опроса ВЦИОМ (апрель 2010 г.): на вопрос «что сейчас важнее для России» 72% респондентов ответили «порядок, достигнутый даже с нарушением демократических принципов», 16% – «демократия, даже если она предоставит определенную свободу криминалу», 12% затруднились с ответом (39). Кстати, показательно некорректно поставлены вопросы: респондентам навязывается антагонизм порядок/наруше-ние демократии – демократия/свобода криминала.

постсоветский человек. То есть прямой и ближайший наследник человека советского с его опытом, ценностными и нормативными ориентирами, стратегиями самозащиты и социального продвижения, иллюзиями, комплексами и фобиями[78].

В постсоветской истории действует «этнос», родившийся в 1917 г., – «новая историческая общность людей», ведомая КПСС–КГБ–комсомолом и т.п. в разных их модификациях. Советско-постсоветский человек ведóм потому, что раздавлен (создавшей его и одновременно им санкционированной) системой – ее насилием, своим перед нею страхом, общим лицемерием, привычкой жить в системе и списывать свое бессилие, удовлетворенность тем, чем нельзя быть довольным, на обстоятельства, внешние условия. В подавлении и развращении человека – порочность той, советской системы. Порочность этой – в том, что она ей наследует, воспитывая человека, согласного с тем, с чем нельзя соглашаться (коррупция – это наше всё, с ней и бороться надо осторожно; власть должна быть в руках одного человека; всё – путём – и нет причин сомневаться в «основах»; каждый должен быть из большинства – один как все). Стратегии адаптации «постоктябрьского этноса» к несоветским (точнее, послесоветским) условиям почти неизбежно вели его к согласию с тем социальным порядком, одним из знаковых элементов которого стал «Дворец». Парадокс заключается в том, что перспективы человека в этом порядке аналогичны тем, с которыми связывали выборы 1996 г.: голосуй, – все равно проиграешь.

Литература

1. Автономное плавание // Newsweek. – Москва, 2010. – 11–16 мая. – С. 26–27.

2. Агапова Т.А. Экономический кризис в России и результативность государственной антикризисной политики // Россия и современный мир. – М., 2010. – № 2(67). – С. 19–30.

3. Афанасьев М.Н. Невыносимая слабость государства. – М.: РОССПЭН, 2006. – 272 с.

4. Бюрократия и власть в новой России / Институт социологии РАН. Центр комплексных социальных исследований // Полития. – М., 2006. – Весна. – № 1(40). – С. 88–103.

5. Виттенберг Е.Я. Социальная ответственность бизнеса: широкий взгляд // Россия и современный мир. – М., 2007. – № 3(56). – С. 124–141.

6. Власть, бизнес и гражданское общество: Материалы дискуссий. – М.: ОГИ, 2003. – 280 с. (Сер. «Дискуссии Фонда «Либеральная миссия»).

7. Галкин А.А. Смутные времена: Последствия и уроки // Полития. – М., 2009. – № 3(54). – С. 6–25.

8. Гаман-Голутвина О.В. Меняющаяся роль государства в контексте реформ государственного управления: Отечественный и зарубежный опыт // Полис. – М., 2007. – № 4. – С. 34–45.

9. Гаман-Голутвина О.В. Региональные элиты современной России: Портрет в изменившемся интерьере // Политическая наука в современной России: Время поиска и контуры эволюции: Ежегодник 2004. – М.: РОССПЭН, 2004. – С. 157–177.

10. Глазьев С.Ю. О стратегии развития российской экономики // Россия и современный мир. – М., 2007. – № 3(56). – С. 103–123.

[78] Это социологический факт, подтвержденный множеством исследований: «Степень глубины, равно как и темпы изменения российского национального самосознания не столь велики, как об этом принято говорить и писать; слегка пошатнувшаяся в первой половине 1990-х годов советская парадигма продолжает демонстрировать удивительную устойчивость» (12, с. 16). Она определяет ценностно-смысловое ядро российской ментальности, делая нас такими непохожими на других – во всяком случае, на европейцев. Именно поэтому «даже в условиях системной трансформации… практически все аспекты и проблемы современного мира – демократия и рыночная экономика, свобода и социальная ответственность, отношения между личностью, обществом и государством – получают в России специфические звучание и окраску» (12, с. 17).

11. Головляницина Е.Б. Инновационен ли российский средний класс? Особенности профессиональной структуры и трудовых ценностей среднего класса накануне кризиса // Мир России. – М., 2009. – № 4 (Т. XVIII). – С. 19–36.

12. Горшков М.К. Российское общество в социологическом измерении // Мир России. – М., 2009. – № 2 (Т. XVIII). – С. 3–21.

13. Госотказ: Спасутся не все // Итоги. – М., 2010. – 8 марта. – С. 18–21.

14. Гудков Л.Д., Дубин Б.В., Левинсон А.Г. Фоторобот российского обывателя // Мир России. – М., 2009. – № 2 (Т. XVIII). – С. 22–33.

15. Двойной стандарт // Профиль. – М., 2010. – 21 июня. – № 23. – С. 34–35.

16. Иноземцев В. Призыв к порядку // Свободная мысль. – М., 2008. – № 10. – С. 57–70.

17. Иноземцев В.Л. История и уроки российских модернизаций // Россия и современный мир. – М., 2010. – № 2(67). – С. 6–18.

18. Итоги 2004 г.: Что дальше? // Экономическое возрождение России. – М., 2005. – № 1(3). – С. 76–80.

19. Ключевский В.О. Русская история: Полный курс лекций в трех книгах. – Кн. 3. – М.: Мысль, 1993. – 559 с.

20. Клямкин И. Постмилитаристское государство // Российское государство: Вчера, сегодня, завтра. – М., 2007. – С. 11–28.

21. Кордонский С. Россия: Поместная Федерация. – М.: «Европа», 2010. – 312 с.

22. Кризис в головах: Интервью с гендиректором ВЦИОМ В. Федоровым // Итоги. – М., 2008. – 15 дек. – С. 63–65.

23. Лебедева М.М. Мировая политика: тенденции развития // Полис. – М., 2009. – № 4. – С. 72–83.

24. Малева Т. Социальные страты и социальная политика: от уроков прошлого к будущему развитию // Россия: Ближайшие десятилетия: Сб. ст. – М., 2004. – С. 75–82.

25. Мельвиль А.Ю., Ильин М.В., Макаренко Б.И., Мелешкина Е.Ю., Миронюк М.Г., Сергеев В.М., Тимофеев И.Н. Российская внешняя политика глазами экспертного сообщества // Полис. – М., 2009. – № 4(112). – С. 84–98.

26. Министерство страха // Профиль: Деловой еженедельник. – М., 2010. – 21 июня. – № 23. – С. 22–23.

27. Награда недели // Коммерсантъ Власть. – М., 2010. – 5 апр. – С. 24.

28. Няня в законе // Итоги. – М., 2010. – 8 марта. – С. 7.

29. Пайпс Р. Россия при старом режиме. – М.: Независимая газета, 1993. – 421 с.

30. Пастухов В.Б. Медведев и Путин: Двоемыслие как альтернатива двоевластию. Послесловие политического циника к дискуссии о либеральном повороте // Полис. – М., 2009. – № 6(114). – С. 119–139.

31. Перегудов С.П. Корпорации, общество, государство: Эволюция отношений. – М.: Наука, 2003. – 352 с.

32. Перегудов С.П. Организованные интересы и российское государство: смена парадигм // Полис. – М., 1994. – № 5. – С. 31–35.

33. Пивоваров Ю.С. Русская политика в ее историческом и культурном отношениях. – М.: РОССПЭН, 2006. – 168 с.

34. Попов Г.Х. О проблемах кризиса 2008 г. // Полития. – М., 2009. – № 3. – С. 87–99.

35. Пушкарев С.Г. Обзор русской истории. – М.: Наука, 1991. – 390 с.

36. Пшизова С.Н. Res publica Corporationum: Заметки на полях книги С.П. Перегудова «Корпорации, общество, государства: Эволюция отношений» (М.: Наука, 2003) // Политическая наука в современной России: Время поиска и контуры эволюции: Ежегодник 2004. – М.: РОССПЭН, 2004. – С. 415–427.

37. Пшизова С.Н. Политика как бизнес: Российская версия // Полис. – М., 2007. – № 3. – С. 65–79.

38. Российская идентичность в социологическом измерении: Аналитический доклад Рабочей группы ИС РАН // Полис. – М., 2008. – № 1. – С.

39. Россия в цифрах // Коммерсантъ Власть. – М., 2010. – 19 апр. – С. 12.

40. Средние классы в России: Экономические и социальные стратегии / Под ред. Т.М. Малеевой. – М.: Гендольф, 2003. – 506 с.

41. Стулья из дворца // Профиль. – М., 2010. – 21 июня. – № 23. – С. 14.

42. Тамаш П. Потерянное десятилетие России: От капитализма-1 к капитализму-2 // Конец ельцинщины. – Будапешт, 1999. – С. 97–126.

43. Уссурийские игры // Русский Newsweek. – М., 2010. – 14–20 июня. – № 25(293). – С. 12–16.

44. Холодковский К.Г. Антикризисные меры и общество // Полития. – М., 2009. – № 3(54). – С. 58–75.

45. Холодковский К.Г. К вопросу о политической системе современной России // Полис. – М., 2009. – № 2(110). – С. 7–22.

46. Шелов-Коведяев Ф.В. Природа кризиса в России и в мире: Общее и особенное // Полития. – М., 2009. – № 3. – С. 110–114.

47. Черняев А.С. Совместный исход: Дневник двух эпох. 1972–1991 годы. – М.: РОССПЭН, 2008. – 1047 с.

48. Экспериментальный диалог на заданную тему // Западники и националисты: Возможен ли диалог? Материалы дискуссии. – М.: ОГИ, 2003. – С. 13–69.

49. Энергии не занимать (Выговор) // Newsweek. – М., 2010. – 1–7 марта. – С. 8.

О ПРИРОДЕ И ПРИЧИНАХ АДМИНИСТРАТИВНОЙ РЕНТЫ: ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА В РОССИЙСКОМ РЕГИОНЕ[1]

А.Н. Олейник
Института экономики РАН

Аннотация. *В статье делается попытка чёткого разграничения ресурсной ренты и административной ренты как на теоретическом уровне, так и в эмпирических исследованиях. В отличие от теории общественного выбора и теории рентоориентированного поведения, акцент поставлен не на индивидуальном процессе принятия решения, а на взаимодействии между тремя акторами: С, государством как «охранником на входе», контролирующим доступ к полю взаимодействий, А, фирмой, пользующейся конкурентными преимуществами ввиду ограниченного доступа к полю и В, конечными потребителями, то есть населением в целом. Взаимодействия структурированы таким образом, что С господствует в результате сочетания интересов. Углублённый анализ случая – ситуации в репрезентативном российском регионе – иллюстрирует основные положения, развиваемые в статье. В нём использованы как количественные (эконометрические модели), так и качественные (контент-анализ 26 полуструктурированных интервью, проведенных в регионе в период с 2006 по 2008 год) методы, а так же их триангуляция.*

Ключевые слова: *ресурсная рента, административная рента, роль государства в их взаимодействии.*

Введение

Рента является одним из ключевых понятий в неоклассической экономической теории. «Рента представляет собой доход от использования ресурсов за вычетом той его части, которая соответствует доходу от их наилучшего альтернативного применения».[2] При всех отличиях между моделями экономического действия – максимизацией, нацеленностью на получение удовлетворительного результата и минимизацией упущенных возможностей[3] – все они предполагают, что актор получает некую ренту. Однако даже простой поиск в базе доку-

[1] Данная статья является существенно переработанной и адаптированной версией одной из глав монографии «Власть и рынок» (М.: РОССПЭН, 2011). Ее журнальный вариант был первоначально опубликован в «Вопросах экономики», №10, 2010, С. 58-80.

[2] Buchanan, James M. (1980), 'Rent-Seeking and Profit Seeking', in: Buchanan, James M., Tollison, Robert D. and Tullock, Gordon, editors, Toward a Theory of the Rent-Seeking Society, College Station, TX: Texas A & M University Press, p. 3.

[3] Олейник, Антон (2009), «Минимизация упущенных выгод: моделирование взаимоотношений государства и бизнеса в России» // Вопросы экономики, 7: 42-61.

ментов Google показывает, что распространенность различных форм ренты зависит от институциональной среды. Относительная частота встречаемости выражений «административная рента» и «ресурсная рента» (по состоянию на 26.3.2009) в русскоязычных документах составляет 2,2 к 1, тогда как это соотношение оказывается прямо противоположным в документах на английском языке (1 к 34,5).

Важным условием получения ресурсной ренты является контроль доступа к ресурсам, в частности, на основе четко специфицированных и защищенных прав собственности. Источник административной ренты иной: различного рода барьеры и ограничения, налагаемые на транзакции. К такой ренте относят, например, «все виды дохода от ограничений на торговлю».[4] При этом акцент смещается с контроля доступа к редким ресурсам к контролю доступа к сделке, или полю взаимодействий как совокупности транзакций, имеющих чёткие границы в физическом и институциональном пространстве.

Экономисты неоклассической ориентации признали существование административной ренты относительно недавно, в конце 70-х – начале 80-х годов прошлого столетия, после появления теорий рентоориентированного поведения и непродуктивной деятельности (directly unproductive activities, DUP).

Экономические социологи не проявляют особого интереса к использованию этого концепта, тем не менее, они внесли свой вклад в его развитие, создав предпосылки для рассмотрения административной ренты в контексте поля взаимодействий.[5] Настоящая статья имеет целью показать богатство открывающихся в результате возможностей.

На первый взгляд, анализ российской экономики в терминах ренты указывает на ряд парадоксов. С одной стороны, это одна из самых богатых природными ресурсами экономик мира. Ресурсная рента может быть представлена как доля ВВП, получаемая в результате истощения энергетических ресурсов (сырой нефти, природного газа и угля), других полезных ископаемых (например, железной руды или алмазов) и лесных ресурсов. В итоге получается показатель, принимающий значения от 0 до 100%.[6] Мировой Банк включает показатель истощения энергетических ресурсов в число Индикаторов Мирового Развития (World Development Indicators). Индикатор энергетического истощения равен произведению физических объемов добычи сырой нефти, природного газа и угля на величину ресурсной ренты, получаемой в результате вычитания из рыночной цены энергоносителей стоимости их добычи и распределения. Средняя величина истощения энергетических ресурсов для Российской Федерации, рассчитанная для десятилетия с 1995 по 2005 год (оно включает в себя периоды как высоких, так и низких цен на энергоносители), равна 27, что в 4,3 раза превышает среднюю величину ($\underline{M}$=6,3, σ=15) для 173 стран мира. Если выразить эту величину в единицах нормированного отклонения ($\underline{z}$), то получится 1,37, что ставит Россию в ряд 20 наиболее богатых энергетическими ресурсами стран. Зависимость России от ресурсной ренты принимает особенно отчётливые формы со второй половины 90-ых годов XX века. Так, Гэдди обращает внимание на явно выраженную зависимость темпов роста российской экономики от мировых цен на нефть.[7]

[4] Colander, David C. (1984), 'Introduction', in: Colander, David C., editor, Neoclassical Political Economy: The Analysis of Rent-Seeking and DUP Activities, Cambridge, MA: Ballinger, p. 8.

[5] О понятии поля см. Fligstein, Neil and Dauter, Luke (2007), 'The Sociology of Markets', Annual Review of Sociology 33: 105-128.

[6] Ulfelder, Jay (2007), 'Natural-Resource Wealth and the Survival of Autocracy', Comparative Political Studies, 40 (8), p. 1002.

[7] Gaddy, Clifford C. (2004), 'Perspectives on the Potential of Russian Oil', Eurasian Geography and Economics, 45 (5), p. 347.

С другой стороны, в российском общественном и академическом дискурсе вопросы административной ренты привлекают относительно большее внимание, чем тема ресурсной ренты. Этот факт можно интерпретировать таким образом, что контроль доступа к полю не ограничивается рамками нефтяной и газовой отрасли. Техники ограничения входа в поле взаимодействий распространены во всех российских регионах, какими бы бедными с точки зрения природных ресурсов они ни были. Они касаются самого разнообразного бизнеса, от малых предприятий до крупных корпораций. Цель данной статьи заключается в выявлении различных конфигураций контроля доступа к полю и рассмотрении их через призму административной ренты. В частности, она показывает, как поле с четко определенными границами возникает в процессе взаимодействий между правительством и бизнесом.

Актор, обладающий сравнительными преимуществами в проведении границ (то есть государство), посредством «огораживания» поля создает предпосылки для укрепления своих доминирующих позиций. Бизнес, A, получает доступ к полю в обмен на оплату «входного билета» («входной билет» представляет собой форму присвоения административной ренты), которую взимает государство, C, или в обмен на признание правил игры, установленных тоже C (которые укоренены в формальных и неформальных институтах), или в качестве вознаграждения за подчинение командам, исходящим от C. До тех пор, пока A заинтересован во вхождении в поле и выигрывает что-то даже после присвоения C части ренты, имеющей своим источником лучшую координацию действий или углубление разделения труда, C господствует над A в результате сочетания их интересов.[8] Иначе говоря, административная рента представляет собой особое проявление господства в результате сочетания интересов как следствия применения стратегии контроля доступа к полю. Однако ею не исчерпываются все возможные последствия этого господства.

Настоящая статья организована следующим образом. В Разделе I обсуждаются границы, очерчивающие различные поля взаимодействий: информационное, правовое, территориальное и рыночное. Обоснование выбора конкретного российского региона для углубленного анализа приводится в Разделе II. Методы триангуляции результатов количественных и качественных исследований того же самого случая помогают выявить в Разделе III ту важную роль, которую играет стратегия ограничения входа для продолжения воспроизводства сложившихся в регионе властных отношений. В частности, результаты качественного и количественного контент-анализа углубленных интервью (метод «внутренней» триангуляции, within-method) сопоставляются с данными серии эконометрических тестов (метод «внешней» триангуляции, between-method).

I. Обзор различных полей взаимодействия

Так как взаимодействия происходят в различных сферах повседневной жизни, вместо того, чтобы говорить о поле в единственном числе, предпочтительнее употреблять множественное. Хотя в обыденном языке эти названия могут звучать по-разному, такие выражения, как «информационное поле», «правовое поле» и «рыночное поле» нельзя признать специфичными для конкретного языка и культуры.[9] Научные обсуждения помогают разобраться в лежащих в их основе феноменах более четко.

I.1. Информационное поле

Теория соглашений предлагает некоторые аналитические средства, пригодные для теоретического осмысления поля взаимодействий вообще и информационного поля в частно-

[8] Олейник, Антон (2009), «Доминирование как результат сочетания интересов: бизнес-стратегии в ритейле и цепях поставок» // Российский журнал менеджмента, 7 (3): 21-44.

[9] Поиск в базах документов с помощью Google.ru, Google.com и Google.fr, осуществленный 29.3.2009, показывает, что соотношение частотности четырех выражений в русском, английском и французском языках примерно одинаково (см. приложение)

сти.[10] С точки зрения «конвенционалистов», поле ограничено институциональными границами: доступ к нему открыт для каждого, кто признает особые правила игры и критерии значимого. Наиболее успешные игроки занимают верхние этажи в иерархии каждого из полей, получая при этом привилегированное право следить за соблюдением норм и использованием критериев значимого. Иными словами, доступ к полю обусловлен признанием господства тех, кто располагается на вершине существующей в нём иерархии.

Чтобы достичь высот в рамках информационного поля, или мира общественного мнения (le monde de l'opinion publique), требуется умение привлекать к себе внимание средств массовой информации и оставаться в его фокусе как можно дольше. Здесь «статус является прямым следствием степени публичного внимания», уделяемого конкретному лицу.[11] В данном поле господствуют знаменитости, которые и определяют, что и кто достойны или недостойны внимания публики.

Впрочем, чиновники так же иногда пытаются сказать свое слово в отношении контроля доступа к информационному полю. Например, они могут создавать особо благоприятные условия – право на проведение эксклюзивных интервью или приоритетное получение новостей – для представителей тех СМИ, которые имеют сходные с ними взгляды и приоритеты.[12] В то же самое время журналисты из слишком критически настроенных изданий и каналов оказываются лишены возможности получать новости «из первых рук», что затрудняет сохранение и увеличение ими своей аудитории, а значит и рекламных доходов. Предоставляя эксклюзивную информацию избирательным образом, чиновники могут господствовать над СМИ в результате сочетания интересов.

I.2. Правовое поле

Если в теории соглашений особое внимание обращается на неформальные институциональные границы – нормы и критерии значимого – изучение правового поля требует перенесения акцента на формальные институты и механизмы принуждения к исполнению их предписаний (enforcement). Определяя, что законно, а что нет, законодатели одновременно очерчивают границы правового поля. Чтобы быть допущенным в это поле, актор обязан привести свои приоритеты в соответствие с теми, что установлены законом, а так же согласиться на господство законодателей, юристов и сотрудников правоохранительных органов. Все зависит от конкретных характеристик правовых норм: если они соответствуют интересам большинства акторов, тогда доступ к правовому полю не может быть слишком избирательным, что сокращает возможности для своекорыстного поведения тех, кто занимает господствующие позиции. Прямо противоположная ситуация возникает, если правовые нормы отражают прежде всего интересы конкретных лиц или малых групп. Эрнандо де Сото различает в этой связи «хорошие» и «плохие» законы: «закон хорош, если он гарантирует экономическую эффективность и способствует ей, и плох, если препятствует ей или ухудшает ее».[13] По его мнению, широкое распространение «плохих» законов приводит к институциональному исключению (exclusion) и росту размеров внелегального сектора в развивающихся и бывших социалистических странах, ибо такие законы затрудняют попадание в правовое поле и использование формальных прав собственности в качестве средства координации деятельности.

---

[10] Тевено, Лоран, Эймар-Дюверне, Франсуа, Фавро, Оливье, Орлеан, Анрэ и Салэ, Робер (2005), «Ценности, координация и рациональность: экономика соглашений или эпоха сближения экономических, социальных и политических наук», в кн.: Олейник, Антон, под общей редакцией, Институциональная экономика: учебник, с. 76-112, Москва: Инфра М.

[11] Boltanski, Luc and Thévenot, Laurent (1991), De la justification: les économies de la grandeur, Paris: Gallimard, p. 228.

[12] Wilson, Andrew (2005), Virtual Politics: Faking Democracy in the Post-Soviet World, New Haven, CT and London: Yale University Press, pp. 65 ff.

[13] Сото, Эрнандо де (1995 [1989]), Иной путь: Невидимая революция в третьем мире, Москва: Catallaxy, Гл. 5.

Для сокращения размеров внелегального сектора Де Сото предлагает легализовывать неформальные нормы,[14] что, по его мнению, позволит увеличить число «хороших» законов за счёт «плохих»: неформальные нормы, используемые обычными людьми в повседневной жизни, по определению соответствуют их интересам. Однако его надежды связаны в первую очередь с просвещёнными законодателями и лицами, ответственными за применение законов на практике, при этом упускается из виду, что более широкое растворение ворот, ведущих к правовому полю, подрывает их господствующие позиции.[15]

Аргументы Де Сото так же строятся на том предположении, что акторы принимают во внимание преимущества подчинения «хорошим» законам, а именно осознают вклад последних в облегчение координации и, следовательно, получения ренты (например, за счет снижения транзакционных издержек). Однако акторы далеко не всегда воспринимают закон в таком ключе. Во-первых, в их привычку может войти его нарушение: «Нет совершенно никаких причин ожидать от предпринимателя, нарушающего «плохие» законы, такие как излишне сложные процедуры получения разрешения, уважения к «хорошим», например, уплаты налога с продаж или подоходного налога».[16] Во-вторых, чтобы увидеть позитивных эффекты соблюдения закона, требуется достижение достаточно высокого уровня зависимости актора от действий окружающих. «Закон возникает только тогда, когда члены общества, наконец, осознают свою зависимость друг от друга».[17] Другими словами, господство в результате предоставления избирательного доступа в правовое поле возможно лишь при наличии определённых исторических условий.

I.3. Территориальное поле

Понятие территориальности описывает ограниченное в физическом пространстве поле взаимодействий. В этом случае огораживание достигается с помощью пространственных границ. Их конфигурация, однако, производна не столько от физических характеристик (рельефа, перепада высот и так далее), сколько от приоритета, который приобретает задача достижения господства. В этом смысле территориальность означает господство, укоренённое в физическом пространстве, «пространственную стратегию достижения влияния, контроля ресурсов и людей посредством контроля территории».[18]

Что может объяснить интерес A проникнуть на определённую территорию, пусть даже и ценой согласия на дополнительные условия, выдвигаемые C? Стоит различать три варианта соотношения интересов A, стремящегося войти на определённую территорию, и C, контролирующего доступ к ней. Во-первых, акторы могут рассматривать территорию как своего рода естественное место встречи, «фокальную точку» при поиске контрагентов. Совершение сделок за её пределами тогда оказывается затруднительным и связанным с бóльшими транзакционными издержками. Количество мест для встреч по определению не может быть большим, они тогда просто утрачивают свою функию подспорья координации.[19] Данная конфигурация позволяет C захватывать административную ренту, впуская A лишь при выполнении им определённых условий.

---

[14] Сото, Эрнандо де (2001), Загадка капитала. Почему капитализм торжествует на Западе и терпит поражение во всем остальном мире, Москва: ЗАО «Олимп бизнес».

[15] Де Сото списывает распространённость «плохих» законов в Латинской Америке на традиции меркантилизма. Однако в них так же можно увидеть результаты желания чиновников укрепить свои господствующие позиции с помощью проведения четких границ правого поля и разрешения доступа к нему лишь избранным.

[16] Thoumi, Francisco E. (1995), Political Economy and Illegal Drugs in Columbia, Boulder, CO and London: Lynne Rienner, p. 95.

[17] Yaney George L. (1973), The Systematization of Russian Government: Social Evolution in the Domestic Administration of Imperial Russia, 1711-1905, Urbana, IL: University of Illinois Press, p. 14.

[18] Sack, Robert D. (1986), Human Territoriality: Its Theory and History, Cambridge: Cambridge University Press, p. 1.

[19] Schelling, Thomas S. (1960), The Strategy of Conflict, Cambridge, MA: Harvard University Press, Chapter 3; Schotter, Andrew (1981), The Economic Theory of Social Institutions, Cambridge: Cambridge University Press, pp. 22-23.

Во-вторых, если на территории расположены месторождения полезных ископаемых (или просто ресурсы с ограниченной мобильностью, то есть активы, специфичные по месту расположения[20]), тогда A не может получить доступ к ним, предварительно не войдя не саму территорию. Два варианта контроля доступа – к ресурсам и к полю – пересекаются. Ограда, воздвигаемая по периметру территории, способствует защите прав собственности, и наоборот. Такая конфигурация создает благоприятные предпосылки для одномоментного присвоения и ресурсной, и административной ренты.

В-третьих, пересечение двух вариантов контроля оказывается ослабленным в случае территории, на которой наблюдается бурный экономический рост, подпитываемый ресурсной рентой. A тогда может быть заинтересован во входе на территорию для получения своей доли в увеличивающемся в размерах «пироге» (Валовом Региональном Продукте, или ВРП) даже без приобретения прав собственности на ресурсы, питающие рост (случай компании, обслуживающей добывающее предприятие). В таких условиях C напрямую извлекает административную ренту и косвенным образом – ресурсную ренту (административная рента включает в себя часть ресурсной ренты).

I.4. Рыночное поле

Неоклассическая теория внесла существенный вклад в количественную оценку последствий монополистического доминирования. Монополия и ряд близких к ней форм (монопсония, олигополия) возникает в результате ограничения доступа на рынок, который не обязательно ограничен в пространственном отношении. В результате монополист получает возможность устанавливать цену выше равновесной, превращаясь при этом из получателя цены в того, кто её формирует. Принимаемые во внимание неоклассическими экономистами барьеры – барьеры на входе и на выходе – имеют преимущественно экономическую природу (ср. институциональные, символические и пространственные барьеры). Они возникают в результате применения особых стратегий ценообразования (например, хищнического ценообразования) и динамики издержек (экономия на масштабах, «утопленные» издержки и так далее). Ценообразование в условиях монополии обусловливает чистый убыток, обычно соотносимый с площадью треугольника Харбергера (Harberger; его площадь равна выгодам от обмена по более высоким, чем конкурентные, ценам, которые, впрочем, не достаются ни монополисту, ни его контрагенту).

Теории рентоорентированного поведения и непродуктивной деятельности дополняют неоклассическую модель монополии. Гордон Таллок, в частности, доказывает, что действительные потери от существования монополии превышают площадь треугольника Харбергера, потому что рента, присваиваемая в результате монополистического ценообразования тратится на усиление монополии и создание прочих условий для изымания ренты, то есть на не связанные с производством цели. Площадь четырехугольника Таллока равна издержкам «действий, направленных на создание монополии или получение прочих преимуществ от правительства».[21]

Введение правительства в модель монополии открывает широкие возможности для рассмотрения иных, чем чисто экономические, барьеров (квот, разрешений, лицензий, патентов и так далее). Охранник на входе, C, создает благоприятные условия для монополиста A, ограничивая доступ к полю его потенциальных конкурентов в обмен на часть захватываемой A ренты монополиста. A, в свою очередь, доминирует над B, доступ которого к полю ничем

[20] Менар, Клод (2005), «Экономика трансакционных издержек: от теоремы Коуза до эмпирических исследований», в кн.: Олейник, Антон, под общей редакцией, Институциональная экономика: учебник, с. 113-151, Москва: Инфра М.

[21] Tullock, Gordon (1984), 'The Backward Society: Static Inefficiency, Rent Seeking, and the Rule of Law', in: Buchanan, James M. and Tollison, Robert D., editors, The Theory of Public Choice – II, Ann Arbor, MI: The University of Michigan Press, p. 224; см. так же Buchanan, Op. cit., p. 8; Tullock, Gordon (2005), Public Goods, Redistribution and Rent Seeking, Cheltenham, UK: Edward Elgar, pp. 92-93.

не ограничен, или ограничен в значительно меньшей степени, что поддерживает конкуренцию среди акторов типа B.

Тем не менее, неоклассическая трактовка рыночной власти не позволяет разобраться с целым рядом вопросов, касающихся монополистического доминирования. Во-первых, ею признается активная роль исключительно монополиста. A предположительно берет инициативу в свои руки и предлагает C взятки (выплачиваемые за счёт части ожидаемой или полученной A монополистической прибыли) и другие стимулы с целью установления и укрепления своих доминирующих позиций в рыночном поле. Эти усилия обычно описываются в терминах захвата регулятора и влияния. В последнем случае A полагается «на свои собственные преимущества, обеспечиваемые контролируемой им долей рынка, масштабами производства, правами собственности, привилегированным доступом к ресурсам и связями с представителями государства на различных уровнях».[22] В случае же захвата регулятора речь идет об использовании исключительно возможностей C как охранника на входе. Интерес самого C в господстве на основе контроля доступа к полю при этом остается без внимания. Для того, чтобы заполнить существующий пробел, Янг Гуо и Анганг Ху вводят понятие административной монополии как «монополии, основанной на использовании различными государственными структурами административной власти либо в своих собственных интересах, либо в интересах конкретной отрасли или связанных с ними предприятий».[23]

Во-вторых, неоклассический подход предполагает акцент на индивидуальном процессе принятия решений, а не на тех новых аспектах, которые возникают в процессе взаимодействия между C, A и B. В процессе же этих взаимодействий закладываются основы господства в результате сочетания интересов этих трёх акторов. Каждый из них что-то выигрывает от сделок с другими, но эти выгоды распределены крайне неравномерно: C достаётся их львиная доля, A – значительная часть, а B довольствуется лишь немного большим того, что он получил бы, не входя в поле. Из этих трёх акторов лишь C максимизирует прибыль/полезность, тогда как A и B минимизируют упущенные возможности.[24]

Игнорирование вопросов, связанных с господством в результате сочетания интересов, мешает действительному пониманию природы связей между коррупцией – согласно её узкому определению сводящейся к использованию государственных должностей для личной выгоды – и контролем доступа к рыночному полю. Популярное восприятие рентоориентированного поведения в качестве источника коррупции[25] позволяет увидеть только часть картины. С одной стороны, коррупция представляет собой способ уменьшения асимметрии, присущей всем властным отношениям, в том числе и их особой форме, господству. Возникновение монополии позволяет захватить ренту, но вовсе не обязательно предполагает ее передел и распределение. «Не прибегая к взятке, подчиненный не может использовать власть вышестоящего..., что препятствует развитию прагматических отношений, основанных на взаимной зависимости между вышестоящим и подчинённым».[26] С этой точки зрения, A предлагает взятку C не только для ограничения конкуренции в поле, но и для уменьшения степени асимметрии в отношениях между A и C. Иначе говоря, коррупция соответствует интересам как C (который в итоге захватывает часть административной ренты), так и A, позволяя им в итоге «сочетаться». Тогда вопрос о том, кто первый проявляет инициативу и предлагает или вымогает взятку, отходит на второй план: это может быть и тот, и другой.

---

[22] Guo, Yong and Hu, Angang (2004), 'The administrative monopoly in China's economic transition', Communist and Post-Communist Studies, 37: 165-280 Guo, Yong and Hu, Angang (2004), 'The administrative monopoly in China's economic transition', Communist and Post-Communist Studies, 37, p. 267.

[23] Ibid, p. 271.

[24] A удалось бы максимизировать свою прибыль/полезность только при отсутствии перераспределения какой-либо ее части в пользу C (Олейник, «Минимизация упущенных выгод»).

[25] Галицкий, Ефим и Левин, Марк (2007), «Коррупционные взаимоотношения бизнеса и власти», Вопросы экономики, 1: 19-32.

[26] Yaney, Op. cit., p. 26.

С другой стороны, административная рента вовсе не обязательно присваивается исключительно в форме взяток, C может потратить ее часть так же и в общественных интересах. Обсуждая практики создания и захвата административной ренты в Китае, Тэк-Вин Нго отмечает «две стороны процесса создания ренты, рента как легитимный инструмент в руках государства и как источник коррупции».[27] В частности, рента может быть подспорьем при осуществлении технологических инноваций в целях развития отраслей на национальном и региональном уровнях, национальных и региональных проектов и так далее. В таком случае B как главный донор при создании ренты, получает часть ее обратно, после того как она была захвачена A и впоследствии перераспределена C.

В-третьих, неоклассическое объяснение природы монополии оказывается вырванным из контекста формирования региональных и национальных рынков (которые, впрочем, с этой точки зрения возникают спонтанным образом). Карл Поланьи,[28] соглашаясь с тем, что региональный рынок может сформироваться спонтанно, утверждает, что появление национального рынка требует «видимой руки» государства. Анализ административной ренты через призму господства в результате сочетания интересов подсказывает альтернативное объяснение процессу возникновения национального и регионального рынков. Оба эти рынка вполне могут быть продуктом «видимой руки» C. В частности, они могут появиться в результате огораживания рыночного поля, соответствующего интересам C и A: это позволяет им извлекать, присваивать и перераспределять ренту. В конечном итоге, огораживание рынка способствует превращению рынка из совокупности сделок между равными в поле власти и господства.

Эмпирическое изучение рынка, укоренённого в территории, сталкивается со значительными трудностями. Существование регионального измерения рыночного поля, или же, что сводится к тому же, рыночного измерения территориального поля, обусловливает сложности с чётким разграничением двух полей в эмпирических исследованиях, о чём ниже. Граница между двумя полями оказывается размытой.

II. Анализ случая: выбор случая, методы анализа и источники информации

Есть несколько причин, по которым желателен выбор региона в качестве единицы анализа при эмпирическом исследовании процесса огораживания четырёх полей. В частности, одно из полей, территориальное, укоренено в географическом пространстве, а другое, рыночное, может иметь пространственное измерение. Это решение так же позволяет обеспечить достаточный уровень сравнимости данных, прежде всего статистических. Стастические данные всегда имеют какие-то изъяны, особенно в постсоветских странах, однако внутри страны эти недостатки имеют одну и ту же природу, и, значит, ошибка измерения одинакова.

Выбор региона для анализа случая был осуществлён по таким критериям:

1. богатство природных ресурсов: ресурсная рента обеспечивает львиную долю всей ренты, захватываемой в России;
2. наличие сильного лидера, способного к огораживанию поля (полей) взаимодействий как ключевой предпосылки для захвата административной ренты;
3. близость по другим параметрам (величина населения, ВРП и т.д.) к средним по России показателям.

Регион, расположенный в Сибири, полностью отвечает всем этим критериям. В 2007 году, Регион S. – в дальнейшем он будет называться именно таким образом – обеспечил 57.8% российской добычи одного из ключевых энергетических ресурсов.[29] Его добыча постоянно растёт, начиная с 40-х годов прошлого столетия, за исключением первой половины де-

[27] Ngo, Tak-Wing (2008), 'Rent-seeking and economic governance in the structural nexus of corruption in China', Crime, Law and Social Change, 49, p. 30.

[28] Polanyi, Karl (1957 [1944]), The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time, Boston, MA: Beacon, Chapter 5.

[29] Федеральная служба государственной статистики (2008), Регионы России – 2008 год, Москва. В 3-х частях.

вяностых годов. Динамика мировых цен на этот ресурс вполне сопоставима с той, что наблюдается в отношении других энергетических ресурсов: существенное снижение на протяжении 90-х годов, а затем резкий рост в начале нового столетия. Совокупная ресурсная рента,[30] производимая в S., если её выразить в единицах нормированного отклонения, равняется 1,23, что обеспечивает ему такое же место среди других российских регионов, какое Россия занимает в международном масштабе.

На протяжении последних четырнадцати лет регион возглавляет сильный лидер, чье влияние выходит далеко за его границы: его имя регулярно попадает в список политиков, пользующихся наибольшим доверием россиян. Это позволяет губернатору S. сохранить определённую автономию действий даже в условиях укрепления «вертикали власти», то есть усиления контроля за региональными властями со стороны федеральных. Несмотря на существенный вклад, который регион S. всегда вносил в советскую и российскую экономики, далеко не все его лидеры были такими же влиятельными.[31] С этой точки зрения, губернатора S. следует отнести к числу своего рода «выбросов», выбивающихся из общей тенденции, причём не только в отношении предшественников на региональном уровне, но и в Сибири в целом.[32]

Регион S. близок к среднероссийским показателям по большинству других параметров. Размер ВРП на душу населения за 2007 год, выраженный в единицах нормированного отклонения, равен -0,02 (μ=121134,6 российских рублей, σ=101940,8), общее население – 0,65 (μ=1775110 человек, σ=1617821), среднедушевые доходы населения с месяц – 0.26 (μ=10436,5 рублей, σ=4883,6) и общая стоимость основных фондов, расположенных в регионе – 0.12 (μ=755916,5 миллионов рублей, σ=1352542,4).[33] Немаловажен и тот факт, что частота упоминаний региональных властей и администрации в СМИ так же находится в пределах одной единицы нормированного отклонения от средней по России. Поиск, произведённый в базе публикаций в периодических изданиях на английском языке LexisNexis (она включает в себя все основные мировые издания) за период с 1.1.2005 по 1.1.2009 показывает, что регион S. упоминается 494 раз, 37,2% из них в связи с действиями региональных властей, 5,7% – в связи с деятельностью расположенных в регионе предприятий. Средняя частота упоминания региональных властей, рассчитанная по случайной выборке из 25 регионов, составляет 45,9% (σ=12,25), а средняя частота ссылок на региональный бизнес – 6,3% (σ=4,92).

Тот факт, что регион S., с одной стороны, характеризуется исключительными возможностями с точки зрения захвата ренты и, с другой стороны, имеет близкие к средним по России показатели во всех иных отношениях, делает его идеальным вариантом для углублённого анализа случая. Анализ случая обычно предполагает использование множества источников как количественной, так и качественной информации. Что касается качественной информации, то две серии углублённых полуструктурированных интервью были проведены в регионе S. в период с 2006 по 2008 год. Выборка первой из них (N=17) включает государственных служащих уровня начальников отделов и департаментов, а так же бывших вице-гу-

[30] Совокупная ресурсная рента на региональном уровне была рассчитана на основе данных официальной статистики за 2007 год с использованием следующей формулы: Добыча угля, умноженная на цены угля для промышленных потребителей плюс Добыча нефти, умноженная на мировую цену (Urals) плюс Добыча природного газа, умноженная на цену для европейских потребителей полюс Объем лесозаготовок, умноженный на среднюю цену на российский лес.

[31] Коновалов, Александр Борисович (2004), История [региона S.] в биографиях партийных руководителей (1943-1991), Кемерово: Кемерововузиздат.

[32] Коновалов, Александр Борисович (2006), Партийная номенклатура Сибири в системе региональной власти (1945-1991), Кемерово: Кемерововузиздат.

[33] Если взять Москву как субъект Российской Федерации, то она представляется «выбросом» по большинству показателей. В её случае размер ресурсной ренты, выраженный в единицах нормированного отклонения, равен – 3,16, ВРП на душу населения – 3,65, численность населения – 5,37 и общая стоимость основных фондов – 6,46.

бернаторов и губернаторов. Эти интервью были организованы в рамках более масштабного исследования.[34] Выборка второй серии (N=9) включает в себя представителей малого, среднего и крупного бизнеса, расположенного в регионе.[35] Не смотря на то, что исследовательские вопросы в двух случаях отличались и, следовательно, программы интервью тоже, обе серии позволили получить данные, помогающие разобраться в различных вариантах сочетания интересов C, A и B. Официальная статистика, собранная Федеральной службой государственной статистики, стала основным источником количественных данных.

Множественность источников информации создаёт возможности для осуществления триангуляции методов исследования. В данном случае использовались две разновидности триангуляции:[36] «внутри» метода (использование различных техник в рамках одного и того же метода) и «между» методами (использование двух и более методов анализа данных). В последнем случае требуется перевод качественных данных в количественную форму, без чего невозможно обеспечить сопоставимость. Эта операция была осуществлена с помощью программы для контент-анализа QDA Miner версия 2.0.8, разработанной Provalis Research. Программа позволяет осуществлять как качественный, так и количественный контент-анализ (под последним подразумевается анализ совместной встречаемости качественных кодов, а так же слов и выражений). Для контент-анализа были использованы интервью из обеих серий (N=26, см. список в Приложении).

III. Эмпирический анализ: Регион S. как поле господства

Анализ первичных (качественных, переведённых в количественную форму) и вторичных (количественных) данных преследует две цели: во-первых, сравнение относительных масштабов контроля доступа к четырём полям (информационному, правовому, территориальному и рыночному) и, во-вторых, подробный анализ особой формы господства – господства в результате сочетания интересов, возникающего в его результате.

III.1. Модель измерения и её проверка

Предвосхищая трудности с операционализацией таких переменных, как тип контроля доступа, каждый из них соотнесён не с одним, а с несколькими возможными индикаторами. В итоге получился список из 11-ти индикаторов для трёх независимых переменных, а именно «Капитал», «Труд» и «Человеческий капитал» (они включаются в большинство эконометрических моделей) и 30-ти индикаторов для четырёх зависимых переменных, в частности, [контроля доступа к] «Информационное поле», «Правовое поле», «Территориальное поле» и «Рыночное поле». Рисунок 1 обобщает ожидаемые отношения между ними в форме модели измерения.

---

[34] Проект «Особенности властных отношений в постсоветском контексте: теоретия и эмпирические исследования» был реализован при поддержке Канадского Совета по Социальным и Гуманитарным Наукам. В состав исследовательской группы входили к.э.н. Н. Апарина, к.пол.н. С. Бирюков (оба – Кемеровский ГУ), д-р К. Клеман (Институт Социологии РАН), проф. О. Гаман-Голутвина (МГИМО), проф. С. Глинкина (Институт Экономики РАН), Е. Гвоздева (Université Libre de Bruxelles), к.псих.н. Г. Медведева (Социологический институт РАН, Санкт-Петербург) и автор, который так же играл роль координатора.

[35] Предварительные итоги этого исследования были опубликованы в форме отдельной статьи (Курбатова, Маргарита и Апарина, Наталья (2008), «Социальный капитал предпринимателя: формы его проявления и особенности в современной российской экономике», Экономический Вестник Ростовского Государственного Университета, 6 (4): 45-61). В целом, было организовано 24 углублённых интервью, однако лишь девять из них использованы в рамках настоящего исследования. Автор выражает свою признательность к.э.н. Н. Апариной за предоставление транскриптов этих интервью для вторичного анализа.

[36] Jick, Todd D. (1979), ‘Mixing Qualitative and Quantitative Methods: Triangulation in Action’, Administrative Science Quarterly, 24 (4): 602-611.

Рисунок 1. Модель измерения

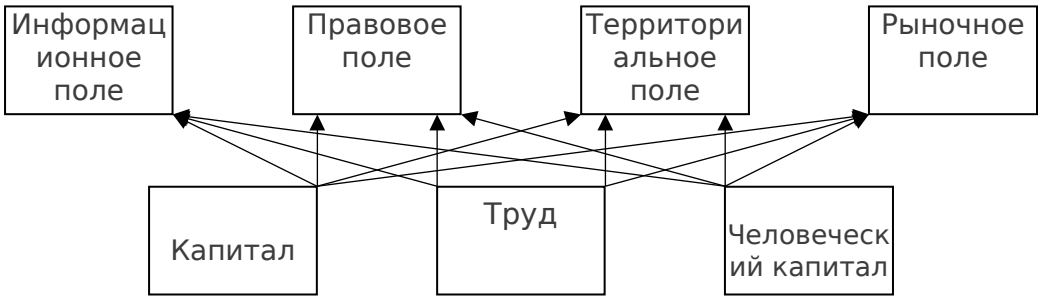
Индикаторы эффекта

Выпуск газет на 1000 человек населения
Число организаций, использовавших интернет
Объем интернет-трафика
% голосов, отданных за правящую партию (Единая Россия), на парламентских выборах в декабре 2007 г.

Число приватизированных имущественных комплексов государственных и муниципальных унитарных предприятий
% частных предприятий, занимающихся добычей полезных ископаемых
Число региональных законодательных актов, внесённых в Федеральный регистр
Число государственных служащих в исполнительных органах власти на региональном уровне
Среднемесячная заработная плата государственных служащих

Баланс мигрантов
% мигрантов, прибывших из-за пределов России
Удельный вес убыточных организаций
Иностранные инвестиции
Организации с участием иностранного капитала
% организаций с иностранной собственностью, занимающихся добычей полезных ископаемых
Объем импорта
Средняя цена кв. метра жилья на первичном рынке
Доля безвозмездных перечислений в доходах регионального бюджета

Число малых предприятий
Число предприятий и организаций
Инвестиции в основной капитал на душу населения
Инвестиции в основной капитал на душу населения в столице субъекта
Доля прибыльных предприятий
Сальдированный финансовый результат (прибыль – убыток) в добыче полезных ископаемых
% убыточных организаций в добыче полезных ископаемых
Оборот розничной торговли торгующих организаций, % к итогу
Оборот розничной торговли торгующих организаций вне рынка
Объём ввезённого из-за пределов региона цемента
Индекс цен производителей
Индекс потребительских цен



Стоимость основных фондов
Ресурсная рента

Численность населения
Численность экономически активного населения
Население столицы субъекта
Среднедушевые денежные доходы населения
Среднедушевые денежные доходы населения в столице субъекта
Оборот розничной торговли
Оборот розничной торговли в столице региона

Численность студентов ВУЗов на 10000 человек населений
Уровень грамотности и совокупная доля обучающихся в начальной, средней и высшей школе

Индикаторы причины

Включение каждого конкретного индикатора имеет под собой либо теоретическое, либо практическое обоснование. В одном из интервью собеседник предложил интересную интерпретацию удельного веса убыточных предприятий, увидев в нём результат (индикатор эффекта) контроля доступа к территориальному полю:

«На момент, когда меня перевели в Москву, ни одного предприятия банкрота в [регионе S.] не было. Ни одного, я подчеркиваю. Через полгода их стало 60. Только основных»(17).

Собеседник намекает на то, после его отставки с поста губернатора произошли существенные изменения в правилах игры: успешное огораживание территориального поля требует, чтобы те, кто проник в него ранее и рассматривает свой статус как нечто само собой разумеющееся, были «вытолканы» за его пределы, в том числе посредством вынужденного банкротства.

Другой собеседник упомянул интернет в качестве источника надёжной информации, находящейся в свободном доступе, над которым государственные органы и другие официальные организации имеют ограниченный контроль. Эта мысль объясняет включение переменной «Объем интернет-трафика» в число индикаторов контроля доступа к информационному полю.

«А что толку слушать?... По компьютеру я выйду в интернет, и даже получу какой-то ответ бесплатный, а в нашей организации я получу только бюрократию, в которую не зайти, не выйти, не получить» (22).

Ряд публикаций в российской печати (а так же интервью с представителем Федеральной Антимонопольной Службы, проведённое в рамках более масштабного проекта) подсказали идею использования объёма ввезённого из-за пределов региона цемента в качестве индикатора контроля доступа к рыночному полю. Российская цементная промышленность в целом характеризуется высокими показателями концентрации производства, и регион S., в котором было произведено 5,7% от общего объема цемента в 2007 году, не является исключением.[37]

Некоторые индикаторы касаются столицы региона как единицы анализа, а не региона в целом. Как правило, ситуация в столице напрямую отражает ситуацию в регионе. Помимо увеличения числа и разнообразия используемых индикаторов данное решение позволяет увеличить надежность результатов количественного анализа и минимизировать шансы допущения ошибки первого рода (риск отказа от нулевой гипотезы, когда она в действительности верна). После визуальной проверки распределения всех индикаторов причины и эффекта, некоторые из них были подвергнуты логарифмическому преобразованию. В итоге значения всех переменных, включённых в модель измерения, распределены близким к нормальному образом.

Вместо того, чтобы обсуждать результаты каждого эмпирического теста по отдельности, что заняло бы слишком много времени и места, они обобщены с помощью мета-анализа. «Мета-анализ представляет собой количественную систематизацию результатов количественных тестов».[38] Здесь используется мета-анализ в самой простой его форме, а именно таблицы, обобщающей результаты множественных регрессий, параметры которых задаются моделью измерения. Всего было осуществлено 30 множественных регрессий: 4 для проверки гипотезы о [контроле доступа к] «Информационном поле», 4 – о «Правовом поле», 8 – о «Территориальном поле» и 14 – о «Рыночном поле» (к ним нужно добавить три дополнительных теста в отношении таких зависимых переменных, как ВРП, Индекс человеческого развития и Баланс консолидированного бюджета: прибыль или убыток).

[37] Федеральная служба государственной статистики (2008), Российский статистический ежегодник 2008, Москва.

[38] Vogt, Paul W. (2007), Quantitative Research Methods for Professionals, Boston, MA: Allyn and Bacon / Pearson, p. 306.

При проведении каждого теста расчётное значение для региона S. – полученное с помощью уравнения множественной регрессии – было сопоставлено с фактическим. Для опровержения нулевой гипотезы H_0 (согласно нулевой гипотезе, связь между переменными, включёнными в уравнение, отсутствует) необходимо либо чтобы фактическое значение превышало расчётное, либо наоборот – в зависимости от вменяемой логики. Например, объём внешней торговли со странами дальнего зарубежья (без учёта стран СНГ) в 2007 году может быть рассчитан с помощью следующей формулы:

$$Foreign_trade_{Expected} = -7.786 - 0.089 \times Lg10(Resource_Rents + 1) + 0.95 \times Lg10(Retail_trade) + 1.199 \times Lg10(GRP)$$

Модель объясняет примерно 70% изменчивости в объемах внешней торговли российских регионов ($\underline{R}$=0,834, $\underline{R}^2$=0,696 и скорректированный $\underline{R}^2$=0,684). Уравнение регрессии в целом оказывается стастически значимым $\underline{F}(3,76)$ =57,87; $\underline{p}$<0,001. Вклад переменных «Ресурсная рента» (Resource_ Rents), «Оборот розничной торговли» (Retail_trade) и ВРП (GRP) в объяснение изменчивости зависимой переменной так же стастически значим: $\underline{t}(79)$=-2,714, $\underline{p}$=0,008; $\underline{t}(79)$=8,704, $\underline{p}$<0,001 и $\underline{t}(79)$=5,245, $\underline{p}$<0,001 соответственно. Расчётный объем внешней торговли (2,95) существенно превышает фактический (2,53). Это значит, что при отсутствии ограничений, вызванных контролем доступа к рынку, объем внешней торговли был бы примерно на 17% больше.

Таблица 1 обобщает итоги 30-ти эконометрических тестов. Картина достаточно неоднозначна. Только тесты в отношении контроля доступа к информационному полю однозначны и позволяют однозначно отказаться от нулевой гипотезы. Что касается контроля доступа к правовому полю, то здесь три теста из четырёх свидетельствуют в пользу отказа от нулевой гипотезы. При интерпретации этого результата следует учесть, что время проведения интервью совпало с периодом укрепления иерархического контроля за региональными властями со стороны федеральных, особенно касательно законотворческой деятельности.

«Единственное, на что мы обязаны постоянно реагировать, это на требования приведения наших нормативных документов, приказов и т.д. в соответствие с федеральными законами. По этой линии жестче стали контролировать» (8).

Таблица 1. Мета-анализ результатов 30 множественных регрессий

Поле	Число индикаторов эффекта	Число статистически значимых тестов	Неопределённый результат: расчётная величина равна фактической‡	Невозможно опровергнуть нулевую гипотезу, H_0	Опровержение H_0	Соотношение Опровержение/ Число тестов
Информационное	4	4	0	0	4 (2)	1
Правовое	5	4	0	3 (1)†	1 (1)	0.25
Территориальное	9	8	0	4 (2)	4 (1)	0.5
Рыночное	13	14♠	3 (3)	4 (2)	7 (3)	0.5
Другие зависимые переменные	3	3	0	1	2 (1)	0.67

Легенда: ‡ расчётная величина точно равна фактической. Так как логарифмическая трансформация уменьшает магнитуду вариаций, случай равенства рассчётной и фактической величин стоит рассматривать отдельно. † число тестов со значительным размером эффекта указано в скобках (из общего числа тестов). Размер эффекта – $\underline{R}^2$ в случае множественной регрессии – считается значительным, если он равен или превышает 0.8. ♠ в тестах использовались две единицы анализа, регион и столичный город.

Результаты тестов относительно существования контроля доступа к территориальному полю оказались противоречивыми, тогда как большинство тестов, касающихся контроля доступа к рыночному полю, не исключают его существования в регионе S. Однако, учитывая частичное пересечение между этими двумя случаями, желателен дополнительный анализ.

III.2. Контент-анализ качественных интервью

Полная версия Книги кодов содержит 55 кодов. Оригинальная методика триангуляции результатов трёх разновидностей контент-анализа[39] – качественного кодирования, контент-анализа с использованием словаря, основанного на замещении (каждый качественный код здесь представлен в форме определённого набора слов и выражений) и количественного контент-анализа (совместной встречаемости слов) – указывает на высокий уровень надежности, достигнутый при выделении фрагментов транскриптов интервью, соответствующих качественным кодам. Все коэффициенты корреляции Пирсона между результатами трёх разновидностей контент-анализа превышают 0,7. Однако в предложенном в данной главе анализе используются лишь 15 кодов, объединённых в три категории – «Господство в результате сочетания интересов» (4 кода), «Техники навязывания воли» (7 кодов), «Власть в ее чистом виде» (4 кода) и отдельно взятый код «Сочетание интересов» (Таблица 3). Первая категория (коды [контроль доступа к] «Информационное поле», «Правовое поле», «Территориальное поле» и «Рыночное поле»), и отдельно взятый код представляют особый интерес, ибо они позволяют осуществить триангуляцию «между» методами, в частности, результатами эконометрических тестов и контент-анализа.

III.2.1. Сочетание интересов

При осуществлении качественного кодирования фрагментов интервью «Сочетание интересов» указывает на различные проявления общности интересов чиновников и бизнеса, возникающей в условиях рынка с ограниченной конкуренцией. Основной акцент был сделан на приемлемый для бизнеса характер господства региональной администрации, а не на способы его достижения, в частности, установление контроля доступа к полю.

«Если предпринимателю нужен административный ресурс и с него за это потребуют административные действия, то фактически отношения перерастают в рыночные – между администрацией и предпринимателем. Вопрос, готов ли ты за эти деньги купить какие-то привилегии. Не важно, как они потом на рынке будут сказываться – льготы» (26).

Четыре кода, объединённые в категорию «Господство в результате сочетания интересов», указывают на методы, с помощью которых оно может быть достигнуто. Контроль доступа позволяет C, региональной администрации, обеспечить себе господствующие позиции в тех полях, которые ей удается «огораживать». Два типа акторов оказываются допущены в поле: типа A, которые получают конкурентные преимущества от C (например, ограничение конкуренции) в обмен на признание власти C, а так же типа B, которые лишены каких-либо привилегий, но так же что-то выигрывают от вхождения в поле. Оплата A своего доступа к полю не обязательно принимает денежную форму (например, часть прибыли монополиста, получаемой A). Главная обязанность A, своеобразный «долг чести», заключается в содействии всеми доступными средствами – финансовыми, идеологическими, структурными и прочими – господству A (усиливая тем самым «системные перекосы»[40]).

III.2.2. Информационное поле

В случае информационного поля C обменивает доступ A к общественному вниманию на готовность последнего содействовать укреплению имиджа и репутации C (которые могут быть конвертированы в голоса избирателей, например). Этот тип контроля особенно эффективен в отношении СМИ, принимая форму практик «избирательной аккредитации», а так же избирательного освещения событий и персоналий. Контроль доступа к информационному

[39] Олейник, Антон (2009), «Триангуляция в контент анализе: вопросы методологии и эмпирическая проверка» // СОЦИС – Социологические Исследования, 2.

[40] Lukes, Steven (2005 [1974]), Power: A Radical View, New York: Palgrave Macmillan.

полю приводит к самоцензуре как проявлению правила «ожидаемых реакций»: A «действует, исходя из ожидаемых реакций [C] на свои действия».[41]

«Если мне, допустим, не угоден какой-то журналист, да? – скажем, с кем-то я не смогла договориться. Или журналист, который постоянно гадости пишет к примеру, да. А я, допустим, организую пресс-конференцию... Как мне сделать так, что бы не допустить того или иного журналиста, да?... При этом я заинтересована в том, разафишировать, проангажировать пресс-конференцию своего руководителя! Я просто-напросто смогу воспользоваться этим методом, т.е. сказать, что необходима аккредитация, а журналистам, которые мне не угодны я могу сказать: извините, места закончились, на вас не хватило мест. Или: вы поздно обратились» (9).

III.2.3. Правовое поле

Контроль доступа в правовое поле заключается в определении, что является легальным, внелегальным и криминальным исключительно на основе разумения C. К его проявлениям следует отнести требования различного рода справок, выписок как условия решения целого ряда многих повседневных проблем, а так же необходимость получения разрешений и лицензий для занятия бизнесом в ряде отраслей: добыче полезных ископаемых, розничной торговле, сделками с недвижимостью, секторе услуг и так далее. Вопреки оптимистическим утверждениям Де Сото, чиновники могут быть заинтересованы в сохранении подобрых требований как средства признания «чистым» перед законом только «послушных» индивидов, предприятий и организаций.

«Я сталкиваюсь по роду деятельности с лицензированием алкогольной продукции… Получить лицензию на продажу в розницу не сложно, а на опт сложнее. В этом случае очень высокие требования к открытию акцизного склада. Эти требования такие, как будто это склад бриллиантов, а не алкоголя. Нужно иметь лицензированную охрану, налоговый пост, несколько компьютеров и т.д., в общем, апофеоз дури. Тут уже каждый по-своему решает эту проблему. Главное, конверт вовремя принести» (19).

III.2.4. Территориальное поле

При выявлении фрагментов интервью, соответствующих коду «Территориальное поле», основное внимание уделялось укоренённости господства в географическом, физическом пространстве. Административные границы региона тогда превращаются в ресурс власти, то есть границы территориального поля.

Принимая во внимание отмеченные выше сложности с различением территориального и рыночного полей, было принято решение применять код «Территориальное поле» только в тех случаях, когда фрагмент содержит явные упоминания контроля доступа к взаимодействиям в физическом пространстве, включая аренду и субаренду муниципальной и региональной собственности.

«Вот едешь из [центра региона S.] в [центр соседнего региона], кругом пустошь, никому не нужная. Стоит тебе поставить павильон, так такой данью обложат» (19).

«Там такие коэффициенты, которые устанавливает самолично кто-то. Хотя утверждается это, публикуется, но коэффициенты такие, что от и до. Грубо говоря, от 0.5 и до 15. И этими коэффициентами можно одну и ту же площадь оценить в 2 рубля, а можно в 10 за квадратный метр. Одну и ту же площадь можно сдать на 10 лет, а можно и на год» (18).

Регион S. был первым, в котором была опробована и внедрена – еще во второй половине 90-ых годов – практика заключения соглашений о социально-экономическом сотрудничестве между региональной администрацией и всеми более-менее значимыми предприятиями (десять лет спустя она нашла широкое применение во многих российских регионах). В результате без принятия условий соглашения, смысл которых сводится к обязанности поддерживать – финансово и любыми другими доступными средствами – всех инициатив админи-

[41] Wrong, Dennis H. (1980), Power: Its Forms, Bases and Uses, New York: Harper Colophon, p. 8.

страции, бизнес не может «зайти» в регион. Если с условиями соглашения вдруг не соглашается местный бизнес, то тогда администрация прилагает все усилия по его выталкиванию и выживанию, например, организуя различного рода проверки, отказываясь выдавать или продлевать срок действия лицензий и разрешений.

«[Губернатор] может [не подписывающих договор] прижать экологией, там всякими санитарными, пожарными, там всякими другими – налоговыми и всякими другими делами. И сколько их менялось здесь – он их вытолкнул отсюда» (16).

III.2.5. Рыночное поле

Фрагменты транскриптов, соответствующие коду «Рыночное поле», выявлялись на основе упоминания в них отличных от географических границ: финансовых и институциональных, в том числе и социальных (членство в определённой социальной группе как условие доступа к рынку). Ограниченный доступ к рыночному полю естественным образом создает предпосылки для монополизации. Наиболее распространённая интерпретация административной ренты сводится к прибыли, распределяемой между С, охранником на входе, и А, бизнесом, получающем конкурентное преимущество в результате ограничения доступа его потенциальных конкурентов. Администрации региона S. удаётся осуществить огораживание рыночного поля за счёт возведения препятствий на пути нежелательных участников в организуемых ею аукционов, а так же предоставления привилегий и налоговых льгот избранному бизнесу.

«Допустим есть 2-3 предприятия в какой-то определенной сфере деятельности, производят неважно что (молоко, мясо, что угодно), есть федеральные, [региональные] программы поддержки и развития. Если наша власть выбирает определенное предприятие, которому она оказывает поддержку в данном направлении, то два других остаются в невыгодном положении... Если в нашем [регионе] какое-либо предприятие остается без зеленого света, то ему надо либо идти продаваться, либо лучше закрываться» (20).

III.2.6. Зависимости между различными формами контроля доступа

Различные формы контроля доступа были разграничены прежде всего в аналитических целях, тогда как на практике они зачастую не только сосуществуют, но и усиливают друг друга. Так, контроль доступа к информационному полю может способствовать усилению контроля доступа к рыночному полю.

«Конкурс очень часто выигрывает тот, кто про него вообще знает... Чуть небольшое преимущество в информационном плане, небольшая близость к информационным источникам дает большие преимущества» (14).

Внимательное рассмотрение совместной встречаемости кодов показывает, что следующие пары кодов принимают особенно устойчивый характер (эти коды оказываются в текстах транскриптов рядом чаще других, делая поправку на фактор случайности): «Рыночное поле» и «Правовое поле», «Территориальное поле» и «Рыночное поле», «Правовое поле» и «Территориальное поле» (Таблица 2). Подтверждение с помощью контент-анализа связи между рыночным полем и территориальным полем представляется особенно существенным, учитывая предложенную интерпретацию регионального рынка как рыночного поля, укоренённого в территориальном поле. Существующие географические и административные границы используются региональной администрацией для возведения барьеров на входе и выходе, которые являются ключевым элементом структуры рыночного поля.

«Это не дает нормальной конкуренции, это не дает нормального ценообразования, это не дает возможности нормальными людскими ресурсами себя снабжать, материальными ресурсами. Это с точки зрения расположения предприятия, так скажем, возможности доступа к сырью. Это все вместе в совокупности создает такую неравномерную конкурентную среду, что один сдыхает правильно, а выигрывает совершенно неправильно. И причем продукция выходит некачественная по сравнению с этой, более дорогая. Тем не менее, она заполняет все, везде и всюду. А мы этим пользуемся потом. А потом ходим и говорим, а у нас капита-

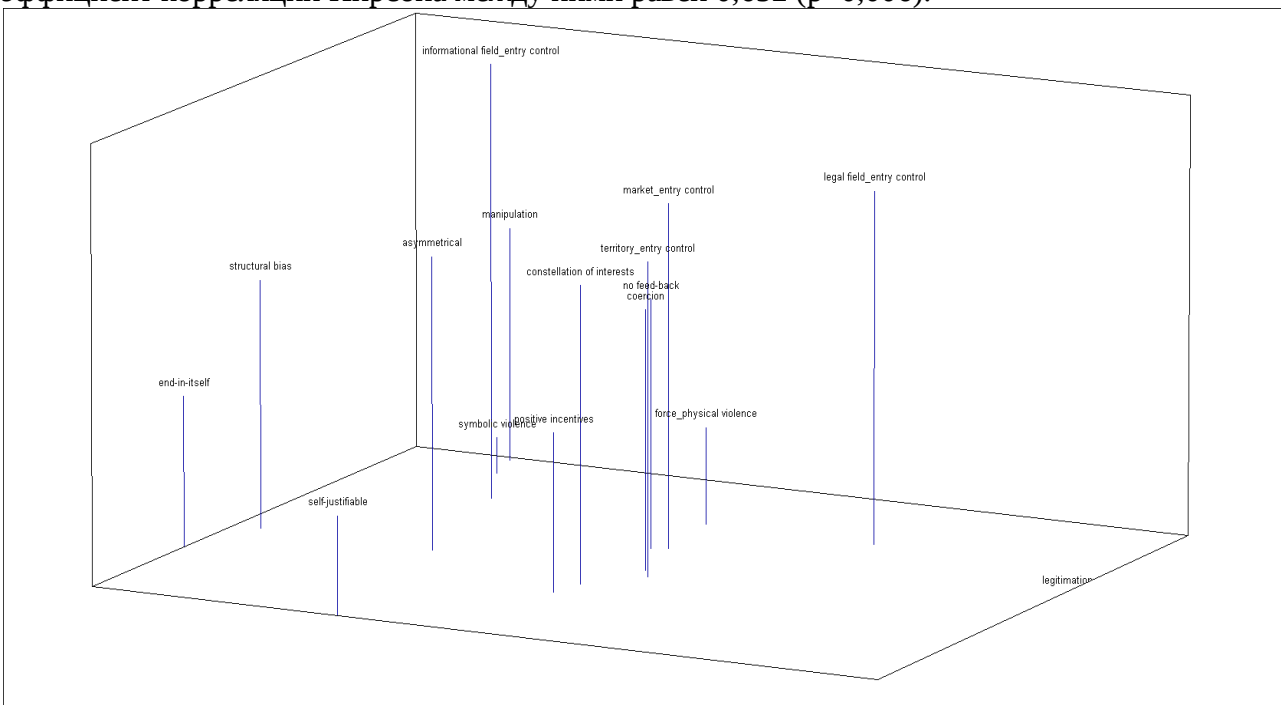
лизм. Да какой же это капитализм? Рынок, это ни когда я посидел с тобой и договорился, а когда пришел третий и выбрал между тобой и мной. А у нас сегодня – мы договариваемся, а не нас выбирают» (22).

Таблица 2. Последовательности качественных кодов, если вероятность получения такой последовательности случайным образом меньше 0,1

Код A	Код B	Частота A	Частота B	Частота (B | A)	% от A	Частота (A | B)	% от B	% Событий	z	Вероятн.
Рыночное поле	Правовое поле	60	47	12	20,0	12	25,5	24,5	4,224	0,0004
Сочетание интересов	Рыночное поле	62	60	17	27,4	14	23,3	23,3	3,325	0,0027
Отсутствие обратных связей	Сила физическое насилие	40	27	4	10,0	4	14,8	23,5	3,708	0,0067
Структурный перекос	Сила физическое насилие	34	27	4	11,8	4	14,8	22,2	3,551	0,0083
Принуждение	Позитивные стимулы	53	24	5	9,4	5	20,8	15,6	3,277	0,0094
Самоцель	Структурный перекос	19	34	3	15,8	3	8,8	33,3	3,521	0,0128
Структурный перекос	Структурный перекос	34	34	4	11,8	4	11,8	22,2	2,967	0,0183
Манипуляция	Информационное поле	16	12	2	12,5	2	16,7	18,2	3,766	0,0206
Символическое насилие	Позитивные стимулы	16	24	1	6,3	2	8,3	25,0	2,973	0,0402
Территориальное поле	Рыночное поле	73	60	12	16,4	11	18,3	17,2	1,816	0,0611
Территориальное поле	Принуждение	73	53	10	13,7	10	18,9	15,6	1,818	0,0626
Асимметричность	Символическое насилие	79	16	3	3,8	3	18,8	8,8	2,17	0,0658
Асимметричность	Манипуляция	79	16	3	3,8	3	18,8	8,8	2,17	0,0658
Рыночное поле	Сочетание интересов	60	62	11	18,3	9	14,5	18,4	1,756	0,0712
Правовое поле	Сочетание интересов	47	62	8	17,0	8	12,9	19,0	1,769	0,0723
Правовое поле	Территориальное поле	47	73	9	19,1	9	12,3	21,4	1,744	0,0725
Территориальное поле	Сочетание интересов	73	62	12	16,4	11	17,7	17,2	1,7	0,0737
Рыночное поле	Территориальное поле	60	73	10	16,7	10	13,7	20,4	1,668	0,0794

Легенда: Код A означает первый код в последовательности, код B – второй. Закодированные фрагменты могут пересекаться, но не могут быть разделены другими кодами. «Событие» означает общее число выявленных последовательностей. Для получения величины нормированного отклонения z фактическая частота сравнивается с расчётной, характерной для совершенного случайного распределения кодов («взвешенных» с использованием их доли в совокупном числе «Событий»). Значение α установлено на уровне 0,1, что приемлемо для разведочного исследования.

Визуализация связей между кодами по критерию их совместной встречаемости с помощью трёхмерных графиков свидетельствует о том, что в центре находится код «Сочетание интересов» (Рисунок 2). На аналогичном графике, изображающем результаты контент-анализа интервью, организованных в рамках более масштабного проекта (N=47, исключая интервью, проведённые в регионе S.), этот код так же расположен в непосредственной близости от центра, что подтверждает валидный характер полученных результатов. Другое доказательство валидности можно найти в средне-сильной корреляционной связи между коэффициентами Жаккарда, рассчитанными для качественных кодов в рамках двух серий интервью. Коэффициент корреляции Пирсона между ними равен 0,652 (p=0,006).[42]



Сравнение двух серий интервью по критерию совместной встречаемости кодов так же наталкивает на ряд интересных наблюдений. 4 качественных кода из 15, напрямую относящихся к настоящей дискуссии, встречаются в интервью с представителями региона S. существенно чаще, чем в других случаях (Таблица 3). Так, код «Территориальное поле» встречается почти в семь раз чаще, код «Рыночное поле» – почти в четыре раза чаще, код «Сочетание интересов» – в 2,4 раза чаще и код «Правовое поле» – в 2,2 раза чаще. В этом факте можно увидеть дополнительное подтверждение склонности C, региональной администрации, к контролю доступа к региональному рынку как средству воспроизводства и укрепления своего господства. A, бизнес, который оказывается допущен на рынок, соглашается со сложившимся порядком вещей, так как в обмен на выплату региональной администрации части захватываемой ренты и поддержку широкого – и заранее не оговариваемого – круга ее инициатив A получает возможность действовать в условиях ограниченной конкуренции.

[42] Коэффициент Жаккарда отражает степень совместной встречаемости кодов. $SIM_{Jaccard}(code_i, code_j) = \frac{\sum_{k=1}^{t}(text_{ik} \times text_{jk})}{\sum_{k=1}^{t} text_{ik} + \sum_{k=1}^{t} text_{jk} - \sum_{k=1}^{t}(text_{ik} \times text_{jk})}$ где $text_{ik}$ означает транскрипт интервью, в котором встречается конкретный код $code_i$, $text_{ik} \times text_{jk}$ – совместную встречаемость двух годов в том же транскрипте, *t* – общее число транскриптов.

Таблица 3. Книга кодов для контент-анализа, фрагмент

Категория	Код и его определение	Регион S.		Другие регионы		Регион S.		Другие регионы		Регион S.		Другие регионы	
		Число	% кодов	Число	% кодов	Число	% кодов	Число	% кодов	Число слов	% слов	Число слов	% слов
	Сочетание интересов*: власть укоренённая в рыночных структурах. Акцент на последствиях, а именно на сочетании интересов A и C.	62	4,6	76	1,9	22	84,6	34	72,3	5129	4,1	5472	1,6
[Господство] в результате сочетания интересов	Информационное поле: контроль доступа к информационному полю. Практики избирательной аккредитации, кого и что показывают по ТВ.	12	0,9	27	0,7	10	38,5	17	36,2	969	0,8	1032	0,3
	Правовое поле: контроль доступа к правовому полю. Чей статус признается легальным и на каких условиях. Получение лицензий, разрешений, и т.д.	47	3,5	62	1,6	16	61,5	25	53,2	3319	2,6	3196	0,9
	Рыночное поле: контроль до-ступа к рыночному полю с акцентом на его локализации в институциональном прост-ранстве, а не физическом. Барьеры на входе, рассматриваемые неоклассической теорией. Монополии, возникающие в их результате, в отличие от естественных монополий.	60	4,5	49	1,2	20	76,9	22	46,8	3755	3,0	2367	0,7
	Территориальное поле: контроль доступа на территорию. Акцент на географических границах. Практики аренды и субаренды региональной и муниципальной собственности.	73	5,5	32	0,8	23	88,5	21	44,7	5009	4,0	1597	0,5
Власть в чистом виде	Асимметричность: асимметрия в распределении прав и обязанностей между начальником и подчинённым. Например, все инициативы исходят только «сверху».	79	5,9	179	4,6	21	80,8	46	97,9	3188	2,5	5724	1,7
	Самоцель: власть нацелена на своё укрепление и воспроизводство.	19	1,4	32	0,8	11	42,3	23	48,9	555	0,4	894	0,3

	Отсутствие обратных связей: отсутствие обратных связей в отношениях между начальником и подчинённым. Начальник не прислушивается к мнению последнего.	40	3,0	63	1,6	18	69,2	31	66,0	1616	1,3	2530	0,7
	Самообоснование: власть, не требующая отсылок ни на какие высшие принципы. Начальник не обосновывает свои действия и решения.	14	1,0	46	1,2	8	30,8	24	51,1	592	0,5	1261	0,4
Репертуар техник навязывания воли	Принуждение: использование угроз, с помощью которых подчинённый становится перед выбором наименьшего из двух зол.	53	4,0	88	2,2	21	80,8	34	72,3	2020	1,6	2897	0,8
	Сила, физическое насилие: применение силы для обеспечения подчинения воли. Применение давления, убийства, тюремное заключение.	27	2,0	47	1,2	9	34,6	25	53,2	928	0,7	1776	0,5
	Легитимация: власть, обоснованная с помощью отсылки к высшему принципу (закону, например).	7	0,5	26	0,7	6	23,1	17	36,2	250	0,2	1022	0,3
	Манипуляция: ограничение и искажение информационных потоков, так что подчинённых не осознает того, что в действительности он действует не в своих интересах, а в интересах начальника.	16	1,2	47	1,2	9	34,6	22	46,8	730	0,6	2224	0,7
	Позитивные стимулы: денежные и другие материальные стимулы для выполнения подчинённым приказаний.	24	1,8	120	3,1	14	53,8	40	85,1	693	0,6	3912	1,1
	Структурный перекос: ситуации, в которых выбор подчинённого ограничен структурным образом, а именно существующими правилами игры. «C может осуществлять власть над B не только заставляя последнего делать то, что он иначе не сделал бы, но и влияя на сами желания и выбор последнего».[43]	34	2,5	82	2,1	14	53,8	33	70,2	1361	1,1	3487	1,0

[43] Lukes, Op. cit., p. 27.

	Символическое насилие: навязывание определённой точ-ки зрения, мировоззрения. Образование, если сводится к индоктринации.	16	1,2	55	1,4	6	23,1	27	57,4	849	0,7	1994	0,6

Легенда:* Власть, укоренённая в структурах монополизированного рынка. Акцент делается на том, как в результате сочетаются интересы C и A.

Таким образом, исходные аргументы в пользу выбора региона S. для углублённого анализа случая подтверждаются результатами проведённого контент-анализа. Итоги эконометрических тестов (таблица 1) как минимум не исключают гипотезы о господстве C в результате сочетания интересов на региональном рынке. Впрочем, остается объяснить следующее затруднение: тезис о распространении контроля доступа к информационному полю подтверждается количественным, но не качественным анализом (частотность этого кода в двух сериях интервью практически не отличается). В этом можно увидеть результат использования стратегий манипуляции, основная цель которых как раз и заключается в создании у A впечатления, что C не искажает информационные потоки: частотность кода «Манипуляция» превышает частотность кода «Информационное поле».

III.2.7. Обеспечение лояльности B.: на что тратится административная рента

До сих пор основное внимание уделялось сочетанию интересов C и A. Однако B, рядовой потребитель, покупающий у A продукты и услуги по завышенным ценам, тоже не заинтересован в изменении сложившейся ситуации. Заметность губернатора S., который фактически персонифицирует C в этом регионе, на федеральном уровне уже отмечалась ранее. Он пользуется ещё более интенсивной поддержкой населения на региональном уровне: до отмены губернаторских выборов в декабре 2004 года он дважды переизбирался на эту должность, получив 95% голосов в 1997 году и 93,5% голосов в 2001 году. Следовательно, важно разобраться в причинах согласия на господство C не только A, но и B.

Контроль доступа на региональный рынок позволяет захватить административную ренту. Часть этой ренты остаётся в руках A, тогда как C захватывает её основную часть. Как C тратит полученные средства? С одной стороны, C действует в интересах населения региона S. и его социально-экономичес-кого развития – таких, какими C их понимает. Существование этих трат означает, что B получает обратно часть административной ренты – после того, как она проходит через руки A и C. С другой стороны, C так же тратит административную ренту, исходя исключительно из своих собственных соображений и интересов. Они принимают различные формы: от инвестиций в проекты, направленные главным образом на укрепление господствующих позиций C, до коррупции и хищений в более или менее изысканных формах.

«Можно спонсирование там разных мероприятий производственного плана, которые должны идти вроде как за счет бюджета, но денег бюджет, как всегда, на это мало выделяет. Ну, например, строительство детских площадок, которые не хватает ЖКХ, строительство домов престарелых и тому подобное, приютов. То есть, в принципе, на что бюджет должен тратить деньги, вдруг принимает решение, что объект построить за счет предпринимателей» (22).

Эти свидетельства из интервью показывают, что административная рента частично замещает бюджетные расходы, частично дополняет их. Возникает закономерный вопрос: почему региональная администрация не хочет пойти по другому пути, увеличив местные и региональные налоги? Дело в том, что доходы, получаемые в форме налогов, подвержены значительно более строгому учёту стороны федерального правительства и его контролирующих органов. Иными словами, главное преимущество получения доходов в неналоговой форме заключается в снижении степени прозрачности использования денег и увеличения степеней

свободы C в распоряжении ими. В итоге C и только C решает, в какой пропорции тратить дополнительные доходы на общественные нужды и в какой – на свои собственные, включая коррупционные, цели.

«Сложившаяся практика при влечения дополнительных ресурсов бизнеса местными властями вызвана тем, что эти дополнительные ресурсы бизнеса трудно учесть, и они мало контролируемы в расходах, в отличие от бюджетных средств, где все статьи расписаны и перекидывать средства с одной статьи на другую нельзя. А здесь есть возможность часть дополнительно привлеченных ресурсов от бизнесменов положить чиновникам в карман» (25).

При попытках оценить размеры захватываемой в регионе S. административной ренты следует помнить, что данные официальной статистики дают представление лишь о вершине айсберга. В частности, часть её учитывается по статье «Прочие расходы» регионального бюджета.

«Используется практика софинансирования. Областной на софинансирование, муниципальный. В бюджете статья есть – «прочие доходы». Туда эти средства поступают. Удельный вес таких средств? Ну примерно, процентов 24-25% от общего» (10).

Согласно официальным данным, аккумулиремые по этой статье ресурсы в 2006 году составляют примерно 1,8% от доходной части бюджета в регионе S., тогда как в консолидированном бюджете Российской Федерации, представляющем собой сумму региональных бюджетов – 0,5%. В 2007 году соответствующие цифры составляют 1,3% и 0,35%.[44] Тот факт, что официальные цифры расходятся с данными, приведёнными имеющим непосредственное отношение к процессу экспертом, членом регионального законодательного органа (24% против 1,8%), лишний раз подтверждает непрозрачный характер захвата и распределения административной ренты. А бóльшая доля статьи «прочие расходы» в региональном бюджете по сравнению с бюджетом консолидированным подтверждает тезис о сравнительных преимуществах региональной администрации S. в осуществлении огораживания регионального рынка и захвате административной ренты. Что касается доли административной ренты, присваиваемой A, собранные данные представляются недостаточными для её точной оценки. Например, в Китае совокупный объём ренты, захватываемой в монополизированных секторах экономики, оценивается в 1,7-2,7% ВНП.[45] Что касается региона S., то объём официально учитываемой административной ренты равен 0,24% ВРП в 2006 году. Предполагая, что официально и неофициально захватываемая административная рента соотносится как 1 к 10 (1,8% и 24%), получается, что её совокупный объём составляет примерно 2,4% ВРП.

В конечном счёте B получает лишь малую толику административной ренты, изымаемой главным образом из его кармана. Однако тот факт, что B всё же получает что-то – в форме либо частных (небольшие прибавки к пенсии или стипендии), либо общественных (обновлённые фасады зданий и содержащиеся в относительном порядке дороги) благ – обусловливает его готовность соглашаться на господство C. Господство в результате сочетания интересов A, B и C приводит здесь к возникновению политического режима с существенной компонентой популизма. По сравнению с популистскими режимами ряда латиноамериканских стран,[46] популизм в регионе S. ещё сильнее ориентирован на рынок, ввиду своей укоренённости в региональном рыночном поле.

---

[44] В расчётах использовались следующие источники: Закон [региона S.] от 4.6.2007 № 64-ОЗ «Об утверждении отчета об исполнении областного бюджета за 2006 год», Закон [региона S.] от 5.6.2008 № 33-ОЗ «Об исполнении областного бюджета за 2007 год»; Отчет об исполнении консолидированного бюджета Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов в 2006 году http://www.roskazna.ru/store/reports_file204.zip; Отчет об исполнении консолидированного бюджета Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов в 2007 году http://www.roskazna.ru/store/reports_file355.zip.

[45] Guo and Hu, Op. cit., p. 276.

[46] Touraine, Alain (1988), La parole et le sang: Politique et société en Amérique Latine, Paris: Odile Jacob.

Заключение

Анализ случая региона S. помогает разобраться с тем, как возникает господство в результате сочетания интересов, и почему A, бизнес, и B, население, принимают контроль доступа к полю, осуществляемый C, региональной администрацией. Он так же позволяет пересмотреть некоторые положения теории общественного выбора и теории рентоориентированного поведения и непродуктивной деятельности за счёт переноса акцента в анализе с индивидуального процесса принятия решений и агрегирования индивидуальных решений в рамках неоклассических макроэкономических моделей (то есть через ценовой механизм) на транзакции. Господство проистекает из взаимодействий между A, B и C и сочетания их интересов особым образом.

Транзакция является единицей анализа в той версии институциональной экономики, которая связана с именами Торстейна Веблена и Джона Коммонса. Эти авторы и их последователи так же уделяют особое внимание взаимосвязи между транзакциями и властью: «переговорная транзакция (bargaining transaction) как единица анализа может рассматриваться в четырёх экономических аспектах: конкуренции, дискриминации, экономической власти и рабочих правил».[47] Предлагаемый подход, однако, позволяет раздвинуть рамки понятия транзакции и подчеркнуть наличие в ней не двух, а трёх сторон.

Говоря более практическим языком, чтобы минимизировать упущенные возможности, бизнес должен согласиться играть подчинённую роль в отношении C, актора, контролирующего доступ к полю. Идеология свободного предпринимательства и деловая этика, адаптированная к условиям открытого рынка, в контексте рыночного поля представляется неуместной и даже контр-продуктивной. Бизнес должен быть готов перечислить C часть захватываемой ресурсной и административной ренты, используя при этом как официальные каналы, такие как налогообложение, так и непрозрачные схемы, открывающие богатые возможности для коррупции.

Было так же показано, что рентоориентированное поведение следует рассматривать в качестве особого случая более глобального феномена. Рентоориентированное поведение возникает в рыночной среде, говоря более точно – внутри рыночного поля как огороженного рынка. Господство в результате сочетания интересов, в свою очередь, может иметь место в рамках любого поля как огороженного пространства взаимодействий: информационного, территориального, правового полей и так далее. Сочетаться, создавая предпосылки для власти и господства, следовательно, могут не только материальные интересы. Например, заинтересованность в получении доступа к информационному полю может объясняться желанием попасть в центр общественного внимания, получить признание.

Масштабы доминирования с помощью рынка выходят далеко за административные границы региона S. Оно наблюдается во всех ключевых отраслях и сферах деятельности в России. Не является этот феномен и специфически российским. Китайская институциональная система включает в себя множество элементов, делающих возможным господство в результате сочетания интересов.[48] Вообще говоря, все страны «догоняющей» модернизации особо предрасположены к превращению рынка в поле[49]: государство принимает на себя роль движущей силы экономического развития «запаздывающих» экономик в том числе и за счёт регулирования доступа к национальному рынку. Распространённый в этих странах протекционизм лишний раз подчёркивает двойственный статус рынка. Соглашаясь с важностью существования рынка в качестве предпосылки социально-экономического роста чиновники в этих странах, тем не менее, стараются осуществить его огораживание, захватить ренту и заложить тем самым основы для дальнейшего воспроизводства своего господства.

[47] Commons, John R. (1931), 'Institutional Economics', American Economic Review, 21 (4), p. 653.
[48] Ngo. Op. cit.; Guo and Hu. Op. cit.
[49] Oleinik, Anton (2006). 'The More Things Change, the More They Stay the Same: Institutional Transfers seen through the Lens of Reforms in Russia', Journal of Economic Issues, 40 (4): 919-940.

Приложение: Список респондентов

#	Пол	Возраст	Должность	Год
1	Муж.	51-60	Начальник отдела, региональная администрация	2006
2	Муж.	<30	Начальник отдела, муниципалитет регионального центра	2008
4	Жен.	51-60	Заместитель директора департамента, региональная администрация	2006
8	Жен.	41-50	Директор департамента, региональная администрация	2006
9	Жен.	31-40	Пресс-секретарь, крупная компания	2006
10	Муж.	51-60	Депутат регионального законодательного собрания, заместитель главы комитета	2006
12	Жен.	<30	Начальник отдела, региональная администрация	2008
13	Жен.	41-50	Начальник отдела, региональная администрация	2008
14	Муж.	<30	Начальник отдела, региональная администрация	2008
15	Муж.	41-50	Бывший вице-губернатор	2006
16	Муж.	61+	Бывший вице-губернатор	2006
17	Муж.	51-60	Бывший губернатор	2007
18	Муж.	51-60	Руководитель крупной компании	2006
19	Муж.	41-50	Собственник предприятия среднего бизнеса	2006
20	Жен.	41-50	Собственник предприятия среднего бизнеса	2006
21	Муж.	51-60	Руководитель средней по размеру компании	2007
22	Муж.	51-60	Руководитель средней по размеру компании	2008
25	Муж.	41-50	Собственник предприятия малого бизнеса	2006
26	Муж.	31-40	Руководитель крупной торговой компании	2006

Приложение: Таблица «Соотношение частотности упоминания четырех полей в электронных документах на русском, английском и французском языках»

Русский	Английский	Французский	
Информационное поле	Information field	Champ d’information	13819747
Правовое поле	Legal field	Champ de la loi	977143
Региональное поле	Territorial field	Champ territorial	2119
Рыночное поле	Market field	Champ marchand	1251

Переводы и комментарии

О НАШЕМ МЕСТЕ В ИСТОРИИ

Г. Дерлугьян
Северо-Западный университет (г. Чикаго)

Сергею Александровичу Арутюнову,
предшественнику и вдохновителю

Аннотация: *В статье дается структурный анализ глубоких социальных преобразований в глобальном масштабе, определяющих принципиально новую структуру личного самоопределения и деятельности и требующих новых подходов к основаниям социальных неравенств и противоречий. Именно эти преобразования и отношение к ним должны стать синтетическим предметом новой социальной науки, соединяющим различные исследовательские направления.*

Ключевые слова: *глобализация социальных структур, перестройка структур жизнеобеспечения, синтез социологических направлений.*

Нам выпало жить в период нескольких исторических переломов, происходящих одновременно на разных уровнях. Переломы, подчас, настолько грандиозны, что мы их либо не замечаем из своей повседневности, либо отделываемся модным, поверхностным и излишне усложненным дискурсом про «глобальные проблемы современности».

Я беру на себя обязательство говорить по возможности доступно и призываю к этому всех остальных участников обсуждения. Наша задача как профессионалов научного знания — установить вразумительное общение между собой и затем попытаться сделать добытое знание полезным. В случае общественных наук это предполагает популяризацию как осмысленную цель и мерило успеха нашего занятия. Здесь я попытаюсь обрисовать, в каком положении сегодня оказались общественные науки и наметить возможности для, простите за неизбежно громкие слова, объяснения наших смутных времен. Но прежде я попробую указать, где источники этой смутности.

Возьмем преднамеренно обыденный пример. Где-то на улице большого города сегодня русская женщина покупает заурядный пучок бананов для своего единственного ребенка. Женщина разведена, как многие из ее подруг, и имеет высшее образование. Она горожанка во втором или третьем поколении, работающая в каком-то государственном бюрократизированном учреждении или в частном бизнесе, так или иначе отпочковавшемся от той же государственной структуры. Все это, конечно, результаты коренной трансформации ее общества в период советской военно-промышленной индустриализации.

Бананы выросли на индустриальной плантации в Эквадоре, созданной американской транснациональной корпорацией, для чего вырубили немало гектаров тропического леса и регулярно вносят массу химикатов, смываемых дождями в реки и далее в мировой океан. Фрукты привезли в Москву через перевалочную базу в Роттердаме на польском дальнобойном грузовике.

Продает бананы азербайджанский торговец. У него аж пятеро братьев, и все они более или менее нелегально находятся на заработках где-то в России. Учитывая известные нам обстоятельства, воплощенные в милицейском наряде у входа на рынок, азербайджанский микро-предприниматель скорее всего действует под прикрытием фиктивной жены из бывших ивановских ткачих. Милиционер, сам родом из пришедшего в упадок уральского промышленного поселка, все это видит насквозь, и вдобавок знает, что никто на этом рынке не платит даже десятой части налогов, но не эти налоги и пошлины собирает милиционер. Его начальство предполагает такое поведение, благодаря чему благополучно ездит на престижных иномарках, многие из которых, наверное, числятся в угоне где-то в Германии.

Братья-азербайджанцы меж собой зовут милиционера шакалом, снисходительно презирают своих местных временно-фиктивных жен, и при любой возможности обсчитывают покупающую у них бананы москвичку. Эти персонажи не принадлежат к их моральному сообществу, на которое распространяются традиционные нормы. Конечно, милиционер и москвичка платят инородцам тем же презрением, но более открыто, поскольку находятся на своей территории обитания. Тем временем торговцы все еще лелеют надежду поднакопить и когда-то вернуться на родину, чтобы сделаться главами настоящих традиционных семейств, обзавестись четками и ходить в мечеть с другими почтенными людьми или проводить время за чаем и нардами. Только где их очаг? Они родом из села, которое давно под контролем армии карабахских армян и, скорее всего, полностью разрушено. Да и в самом Азербайджане есть полиция со своими представлениями о пошлинах и социальной иерархии.

Думаю, этого вполне уже достаточно и для бытовой узнаваемости, и для выхода на большие теоретические вопросы. Итак, какие глобальные процессы мы наблюдаем в этой обыденно повторяемой микроситуации? Рыночную глобализацию, демографические тренды, экологическое давление на природу планеты, мировую миграцию, эрозию государственности, столкновение цивилизаций? Конечно, можно легко отделаться стандартным ответом из американских тестов — all of the above, все перечисленное выше. Но в какой системной взаимосвязи, в какой причинно-следственной последовательности анализировать эмпирическую картинку? Что вытекает из чего? И не упускаем ли мы чего-то главного?

Думаю, главное тут — не отдельная проблема, а мета-условие большинства мировых проблем. Это ломка деревенских структур жизнеобеспечения. Вымирание деревенских сообществ происходит в сочетании и во многом по причине исторически беспрецедентного демо-

графического давления. Взрывание и обрушение традиционных способов организации жизни сопровождается недостаточностью государственных и рыночных структур перед наплывом нуждающейся в новом жизнеустройстве человеческой массы. Жители преимущественно северных стран мира, чьи предки два-три или четыре поколения назад пережили аналогичную ломку (но в совсем других условиях), сегодня превращаются в стареющее и сокращающееся меньшинство. Однако это меньшинство унаследовало лучшую часть мира, где сегодня сосредоточены главные политические структуры, экономические и культурные капиталы.

Оставим нормативную полемику о справедливости или несправедливости такого положения дел. Она, скорее всего, попросту неразрешима, если ставить вопрос в виде взаимоисключающего выбора, который прямо соотносится с позиционными жизненными интересами людей, оказавшихся в разных социальных классах и регионах мира. Главное, подобная поляризация в нашем тесно взаимодействующем мире будет постоянно порождать конфликты и кризисы, пока не будет достигнуто какое-то более устойчивое и воспроизводимое состояние. Вероятно, потенциально устойчивых состояний несколько, но пока не ясно даже, как бы они могли выглядеть. В такой опасной и, по меньшей мере, неудобной неопределенности нам предстоит жить еще достаточно долго. Кризисы исторических систем могут продолжаться столетие и более. Но впервые системный кризис происходит на глазах у социальной науки, которая сама есть результат системной рационализации последних двух-трех столетий. Здесь, по моему мнению, находится основная задача всех разделов социального знания сегодня — от нормативно-утопического, до сравнительно-аналитического и прикладного управленческого. Попытаемся прояснить, какие сдвиги происходят в мире, и затем – какие сдвиги происходят в нашем знании об этом мире.

Проницательный Эрик Хобсбаум в своей истории XX в. отмечает важнейшую веху: «Для 80% человечества Средневековье внезапно окончилось в 1950-е гг.»[1] По всему миру быстро исчезает сельский уклад жизни, который с наработанным автоматизмом организовывал социальное и хозяйственное воспроизводство значительного большинства человечества. Так продолжалось в течение нескольких тысячелетий, минувших со времен Неолитической революции. Традиционный сельский уклад с его «средневековыми» (на самом деле – куда старше) чертами предполагал довольно трудную и как правило краткую жизнь. С другой стороны, та жизнь нередко была расцвечена теплыми эмоциями, возникающими в привычной среде между родных или давно знакомых людей с глубоко усвоенными и предсказуемыми поведенческими ролями. Откуда и ностальгия по деревенской простоте.

Наши консервативно-ностальгические или, напротив, прогрессистские предпочтения имеют очень незначительное влияние на происходящее. Деревня сделалась демографически невозможной с появлением современной санитарии и макро-географических структур (будь то государства или рынки), способных достаточно эффективно доставить массу продовольствия в случае угрозы голодного вымирания. Деревня стала также и экономически невозможна с индустриализацией сельского хозяйства. На смену крестьянам пришли намного более производительные и оттого малочисленные фермеры. За истекшее столетие страны периферии утратили роль аграрного придатка, при этом мало кому удалось пока обрести новые

[1] Eric Hobsbawm, The Age of Extremes: A History of the World, 1914-1991. New York: Vintage, 1994. P. 288. Существует русский перевод.

устойчивые роли в мировой экономике. Аграрное производство из трудоемкого сделалось капиталоемким, и потому сместилось в центры капиталистического накопления.

Где-то до 1970-х гг. процесс отмирания сельских сообществ приветствовался как прогрессивный модернизационный переход к современному типу общества. В тот оптимистический период это многим казалось верным и подтверждало исторический оптимизм. Настроения резко меняются после нефтяного шока 1973 г., за которым последовало замедление экономического роста и повсеместные кризисы государственных финансов. В сумме это вызвало резкое падение доверия к властям, и снижение уверенности властей в самих себе. Отсюда многочисленные демократизации последующих лет и либерализации экономик, нередко провальные, — политики разных стран, имитируя друг друга и воспринимая ставшие популярными в тот момент либеральные идеологемы, искали способы ослабить давление на себя и продемонстрировать, что они предпринимают усилия против кризиса. Из этого также вытекает рост коррупции и ослабление едва не большинства государств мира в последние два десятилетия. Вместо трудностей госуправления в условиях кризиса и элементарной опасности оказаться свергнутым, многие правящие элиты избрали сверх-краткосрочную, пожарную стратегию «хватать и бежать», либо, оставаясь у власти, делиться ее плодами только со своими непосредственными клиентами в обмен на их поддержку патрона. Действенные полиция и суды, бюрократический надзор и реальные демократические процедуры были бы тут досаднейшей помехой. (Главным исключением служат страны Восточной Азии, где в ответ на американские поиски способов понижения производственных издержек началось такое экономическое возрождение, при котором даже коррупция оказалась не особенно вредна, а то и полезна для действенного управления.)

Трезво рассуждая, кризис 1970-х гг. так и не был преодолен. Этот, надеюсь, достаточно узнаваемый набросок основных черт и причинно-следственных связей последних трех десятилетий показывает, что мы по-прежнему живем среди разнообразных последствий того кризиса. В данном случае все еще модные сегодня приставки «пост», похоже, соответствуют нашим смутным реалиям. Одна эпоха закончилась, но наступила ли другая? Возникло ли достаточно структурных определенностей, чтобы можно было говорить о новой системной конфигурации? Ближайший пример дает наша страна — Россия остается именно пост-советской. Но и даже всем на зависть растущий Китай остается пока пост-социалистическим. Несмотря на активное включение в мировые рынки, еще предстоит увидеть, кому в Китае будет принадлежать собственность и как распределятся блага.

Что тем временем происходит со многими миллионами мировых мигрантов, которые по-прежнему, но теперь еще более массово и куда более отчаянно, устремляются в города? Вернее, в хаотичные трущобные «посады», разрастающиеся в последние десятилетия вокруг и внутри практически всех городов мира, от Парижа до Калькутты, от Москвы до Душанбе. Что и каким образом заместит культурные комплексы, социальные сети взаимоподдержки, структуры жизнеобеспечения, утрачиваемые бывшими крестьянами? От классической социальной теории нам не досталось даже классификационных концепций для понимания этой людской массы, покинувшей село, но не находящей себе места в чуждой для них городской среде. Люмпены, маргиналы, суб-пролетарии?

Пример более-менее преодоленной де-рурализации стран Запада в XIX в. едва ли предоставляет адекватные аналогии. Тогда Запад господствовал над остальным миром и мог

экспортировать избыточное население в колонии. Сегодня куда большая демографическая масса устремляется из бывших колоний в их городские центры и, при всякой возможности, далее в сами метрополии. Нищета имущественная и культурная приобретает глобальный характер и притом явно отмечена расовыми и религиозными признаками. Конечно, мы это видим и нередко чувствуем на личном микроуровне. Но насколько мы сегодня способны внятно рассуждать на такие темы, не впадая в фобии и проповеди? Какие теории дают нам языки описания и аналитические приемы, способные продвинуть понимание проблем?

Что происходит с мировой демографией? Грядет ужас, или все-таки страхи были преувеличены? Что на самом деле творится с экологией? Можно ли что-то поделать с потеплением климата, и вообще, как и к чему готовиться? Есть ли возможности для общемировой координации? Или прежде должен грянуть какой-то разрушительный кризис, который может нас попросту убить, но, хотелось бы надеяться, все-таки лишь потрясет различные устои и тем самым создаст политические условия и побудительные мотивы для мировой организации ответа?

Как быть с той же пресловутой глобализацией рынков, о которой столько и в основном триумфально говорилось до недавних пор? Похоже, главным результатом глобализации оказалось не экономическое возрождение Запада после кризиса 1970-х гг., а возвращение Китая на позиции неоспоримо крупнейшей производственной базы мира — чем Китай, судя по недавним открытиям экономических историков, был, по крайней мере, до 1800 г. С одной стороны, это грозит таким усилением конкуренции на мировых рынках, что становится проблематичным устойчивое извлечение высокой прибыли. Отомрут ли корпоративные гиганты Запада? Как будут на это реагировать население и политики ныне богатых стран?

С другой стороны, материальный рост Китая порождает диффузионные эффекты, начинают выбираться из затяжной стагнации другие страны мировой периферии. Появилась ли вдруг надежда на выравнивание мировых уровней доходов и политического влияния? Быть может, нынешней структурно безработной люмпенской массе предстоит найти новые источники существования и включиться в самовоспроизводство? Сколько всего тогда начнет самообустраиваться! Впрочем, кто сказал, что возобновление экономического роста означает политическую стабильность? Опыт индустриализации и урбанизации Запада показывает, что как раз в этот более оптимистичный период и стоит ожидать острой борьбы за право определять политику и распоряжаться общественными ресурсами. Только политику и ресурсы *чего*? Национальных государств, транснациональных олигархических корпораций, или возникнут принципиально новые арены политического взаимодействия?

И не забудем: пока новый виток индустриализации и урбанизации не выйдет на стабильное плато, как быть с экологией? Кто заплатит за экологическую перестройку мировой экономики, если это вообще возможно? А если, упаси боже, прогнозы ломки климата нашей планеты все-таки подтвердятся? Как будут реагировать на, казалось, преодоленную и полузабытую угрозу массового голода различные регионы мира, социальные группы, политики и военные? Будет ли кому тогда дело до науки и культуры?

Хотелось бы надеяться, что лет через тридцать буду жив и стану перечитывать эти апокалиптические вопросы с неловкой усмешкой. Вот же, бывали пугалки! Но сегодня, в наши смутные времена, я нахожу долю оптимизма в науке. Кое-что мы все-таки знаем.

Рэндалл Коллинз, который видит социальные науки шире и четче большинства из нас, со своим обычным спокойствием утверждает, что мы живем в Золотом веке исторической макросоциологии.[2] В 1970-е гг. были совершены прорывы в понимании исторической динамики древних обществ и современного капитализма, институциональных условий и нишево-сетевой природы рынков, неформальных экономик, роста (а также распада) современных государств, возникновения революций, мобилизации общественных движений, источников и динамики демократизации, в понимании национализма и этничности, причин коррупции и организованной преступности, или в объяснении самого научного и художественного творчества. Наступает, по словам Коллинза, этап более массового научного освоения теоретических прорывов предшествующего поколения и синтеза различных исследовательских направлений.

На первый взгляд, откуда такой оптимизм? Со всех сторон слышны жалобы на скуку и измельчание интеллектуальной жизни с конца XX века. Но стоит серьезно прислушаться к словам Рэндалла Коллинза хотя бы потому, что он был одним из совсем немногих ученых, именно теоретически (т.е. не политически декларативно, и не по-экспертному интуитивно) предвидевших распад СССР. В начале 1980-х гг. это также воспринималось, мягко говоря, с недоумением в профессиональной среде советологов.

Обнадеживает, что оптимизм Коллинза и его призыв к «кумуляции социального знания», добытого различными школами, перекликается с оценками другого, важнейшего на сегодня, макросоциолога, Джованни Арриги, который также не был замечен ни в полемической запальчивости, ни в опрометчивости прогнозов.[3] Напротив, Арриги в своем фундаментальном исследовании исторической эволюции центров капитализма «Долгий двадцатый век», написанном в начале 1990-х гг., теоретически предсказал и наступление финансового «вторичного процветания» США, и вероятность попытки силового закрепления американской гегемонии путем создания мировой военной империи.[4] Сегодня Арриги предлагает искать зоны взаимного усиления между различными школами социального анализа современности, прежде всего экономической социологии рынков и миросистемного анализа капитализма, восходящего к Фернану Броделю, а также сравнительно-исторической социологии государств, начало которой положили исследования Теды Скочпол и Чарльза Тилли.

Оценки Коллинза и Арриги относятся к более детальному уровню анализа состояния дел в социальной науке, нежели известная и всеохватывающая эпистемологическая критика Иммануила Валлерстайна.[5] Тем и лучше — из такого взаимодополнения начинает вырисовываться более четкая и многоуровневая картина.

Отдельный исследовательский прорыв связан с уже упоминавшимися именами Чарльза Тилли (который продолжил линию историко-социологичес-кого объяснения европейской политики норвежца Стайна Роккана), а также Теды Скочпол (в свою очередь ученицы Барринг-

[2] Randall Collins, Macrohistory: Essays in Sociology of the Long Run. Stanford: Stanford University Press, 1999.

[3] Giovanni Arrighi, “Globalization and Historical Macrosociology." Pp. 117-133 in: Janet L. Lughod (ed.) Sociology for the Twenty-First Century. Chicago: University of Chicago Press, 1999. В том же программном сборнике Американской социологической ассоциации под редакцией Джанет Абу-Лугод помещена и более развернутая оценка Рэндалла Коллинза: Randall Collins, "The European Sociological Tradition and Twenty-First-Century World Sociology." Abu-Lughod, Op. Cit., Pp. 26-42

[4] Джованни Арриги. «Долгий двадцатый век: деньги, власть и истоки нашего времени. М., 2006.

[5] Иммануил Валлерстайн. Конец знакомого мира: Социология XXI века / Пер. с англ. под ред. Б. Л. Иноземцева; Центр исследований постиндустриального общества. — М.: Логос, 2003. — 368 с.

тона Мура) и нео-веберианцев Джека Голдстоуна и Майкла Манна. Предмет их исследований — формирование современных централизованных бюрократических государств и, одновременно, общественное сопротивление этому процессу в виде элитных мятежей и народных восстаний, национальных сепаратизмов и фабричных забастовок, оформления массовых партий и социальных революций эпохи Нового Времени. Из такого сложного, исторически изменчивого, неоднозначного взаимодействия двух трендов — формирования бюрократической государственности и общественного сопротивления растущей власти государства — в результате и возникают либеральные демократии Запада.

Наряду с миросистемным анализом капитализма, это наиболее успешное из новых направлений исторической макросоциологии. В обоих случаях были преодолены канонические схемы либерализма и марксизма, исходившие из типичных для XIX века однолинейных эволюционных представлений о непреложных законах истории. Там, где ранее господствовала идеологическая телеология (в виде стадий модернизации или общественных формаций), где историю вершили абстрактные персонажи и реифицированные принципы (классовая борьба, технический прогресс, либо идея свободы), теперь исследуются и «картографируются» сложные и изменчивые экологические ландшафты. Они наполненные социальными сетями, классами и статусными группами (идентичностями), политическими движениями, государственными учреждениями и капиталистическими организациями, и не в последнюю очередь конкретными людьми, действующими в насыщенном историческом контексте по своему культурно-обусловленному разумению.

Картина перемен в социальных науках усложняется, но и становится рельефнее, если попробовать прочесть под данным углом зрения теоретиков «дискурсивно-культурного поворота» в социальной науке: Джорджа Стайн-меца, Билла Сьюэлла, Маргарет Соммерс, Эмили Хауптманн, Майкла Даттона, Тимоти Митчелла, Филиппа Мировски.[6] К тому же ряду относится, скажем, и прекрасный критический разбор теории модернизации, предложенный Нильсом Гилманом.[7] Культурологическая критика направлена на выявление идеологических основ и дискурсивных практик господствующей парадигмы неоклассической экономики и позитивистского «мейнстрима» политологии. Тут культурологи добились неоспоримых успехов. Сегодня это отдельный фронт интеллектуального сопротивления, чьи позиции весьма прочны на гуманитарном фланге науки.

Вместе с тем, на данном направлении противостояние приобрело характер затяжной позиционной войны. Культурологическая критика сильна в обороне своей области знания, но менее эффективна в объяснении материальных структур современного мира. Поэтому экономисты и политологи в большинстве случаев могут попросту игнорировать гуманитарного противника, пользуясь своим подавляющим превосходством институционального контроля над господствующими высотами и главными материальными ресурсами интеллектуального поля.

Вполне возможно, что мостом между историко-социологическими и культурологическими школами может послужить социология Пьера Бурдье. Этот исключительно влиятельный и энергичный француз двигался своим особым путем и создавал свой собственный науч-

[6] См. сборник George Steinmetz (ed.) The Politics of Method in the Human Sciences: Positivism and its Epistemological Others. Durham: Duke University Press, 2005.

[7] Nils Gilman, Mandarins of the Future: Modernization Theory in Cold War America. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2003.

ный язык. Притом Бурдье был известным забиякой и полемистом. Но даже и сам Бурдье признавал, что его мысли и поиски двигались в том же направлении, что историческая социология Чарльза Тилли.[8]

Бурдье сделал очень много для систематического заполнения того места в анализе социальных структур, стратегий социального господства и их соотношения с практиками культуры, которое традиционно занимали марксизм, особенно в его поздней грамшианской версии, и либеральные теории, связанные прежде всего с именем Карла Маннгейма. По сути Бурдье создавал политическую экономию культуры — понимаемую вовсе не как набор непреходящих ценностей и шедевров искусства, но как поле конкуретно-конфликт-ных взаимоотношений по поводу того, что считать ценностями и шедеврами. Школе Бурдье после его неожиданной смерти в 2002 г. предстоит доказать свою способность развиваться без великого основателя и вождя. Но даже если круг его учеников распадется и на какое-то время имя Бурдье окажется непопулярно (прежде всего, именно потому, что еще недавно оно казалось таким модным), концепции габитуса, символического капитала, и индивидуально-групповых траекторий в социальных полях останутся очень полезным инструментарием в арсенале новой социальной науки.

В научных дисциплинах, которые более удалены от поля власти и занимают относительно маргинальные позиции в современной академической среде — в социальной антропологии и экономической географии — соответственно, оказался и больше зазор для свободы теоретического экспериментирования. Сошлюсь на знаковые работы лишь двух видных ученых. Это теоретический археолог Тимоти Эрл, прямой продолжатель эволюционной политэкономии архаических обществ Маршалла Салинса и Элмана Сервиса. Тимоти Эрл применил очень элегантную версию синтеза концепций Майкла Манна, Пьера Бурдье и миров-экономик Фернана Броделя к объяснению изменчивости структур власти в пред-государственных образованиях (вождествах). При этом брались преднамеренно удаленные друг от друга примеры: древних Инков, вождества Скандинавии и Придунайской равнины эпохи Бронзового века, и Гавайских островов накануне контакта с европейцами.[9] У географов сегодня один из наиболее влиятельных теоретиков — англичанин Питер Тэйлор, который отслеживает на протяжении последних веков пространственное измерение современности в эволюции рынков, капиталистических городов и государств. При этом политико-экономическая география Питера Тэйлора удивительно органично сопряжена с трансформацией современной культуры — как материально-бытовой, так и «высокого» искусства.[10]

Это уже не единичная удачная попытка сопряжения миросистемного анализа с культурологией. Итальянский филолог Франко Моретти в последние годы очень продуктивно и, надо добавить, провокативно разрабатывал идею картографирования литературы, прежде всего западноевропейского романа. Притом Моретти сосредоточен не на интерпретации единичных высоких достижений, признаваемых литературной классикой, а стремится описать целиком хаотически самоорганизущийся эволюционный поток творческого производства.[11]

[8] Pierre Bourdieu and Loïc J.D. Wacquant, An Invitation to Reflexive Sociology. Chicago: University of Chicago Press, 1992.

[9] Timothy Earle, How Chiefs Come to Power. The Political Economy in Prehistory. Stanford: Stanford University Press, 1997.

[10] Peter J. Taylor, The Way the Modern World Works. Chichester, England: John Wiley & Sons, 1996.

[11] Чего стоят заголовки последних книг Франко Моретти! См. Franco Moretti, Modern epic: the world-system from Goethe to García Márquez. (Современный эпос: миросистема от Гёте до Гарсии Маркеса) London: Verso, 1996;

Выходившие в последние годы одна за другой книги и статьи Моретти произвели фурор в литературоведческой среде, где несмотря на постмодернистский скептицизм, на самом деле остаются весьма сильны жанровые традиции и механизмы профессионального контроля внутри гильдии посредством сохранения определенного канона и представлений о подобающем стиле. Впрочем, темпераментный Моретти (к тому же защищенный званием профессора Стэнфордского университета), похоже, с удовольствием использует фурор для продвижения своих новаций.

Наконец, очень важно, что мощные и принципиально аналогичные подвижки проявились в естественно-исторических науках. Об этом замечательно писали гарвардский профессор эволюционной биологии и при этом в последние двадцать пять лет, несомненно, самый знаменитый популяризатор науки Стивен Джей Гулд, и также не чуравшийся популяризации лауреат Нобелевской премии по химии бельгиец Илья Пригожин (кстати, оба великих ученых, для интересующихся, происходили из семей еврейских эмигрантов из Российской империи).[12]

Так в чем же состоит сдвиг парадигмы? Одной фразой, можно сказать, что идет переосвоение интеллектуального пространства и тематики, ранее занятых историческим материализмом. Политическое вымирание марксизма-ленинизма в 1970-1980-е гг. произвело колоссальный освободительный эффект. Появилась возможность для экспериментирования и дальнейшего продвижения там, где прежде господствовала ортодоксия, подкрепленная не только собственной политической организацией и идейным надзором, но и, куда сильнее, бинарной оппозицией Холодной войны. Как любил повторять Пьер Бурдье, самая мощная ортодоксия не выступает в одиночку, а является нам в виде антиномии, как пара якобы взаимоисключающих положений. Интеллектуальные критики, инакомыслящие и экспериментаторы автоматически воспринимались как отступники и перебежчики, место которым в противоположном лагере. Одновременное преодоление *обеих* ортодоксий было настолько же трудным, насколько и необходимым условием для развития науки об обществе.

В интеллектуальном поле Холодная война началась не после 1945 г., и ни в 1917 г., а сразу после европейских революций 1848 г., когда в ответ на вызов слева формируется либерально-консервативный канон социальной науки. Наиболее отчетливо это видно на примере неоклассической экономики, поскольку в современном западном обществе это одновременно наиболее идеологически востребованная и наиболее прикладная из дисциплин.[13] Для коммунистических партий и государств аналогичную роль играла философия, достигшая положения мета-дисциплины и вобравшая в себя едва не целиком все знание об обществе. Противостояние мощно подкреплялось организационными и

Ibidem, Atlas of the European novel, 1800-1900. (Атлас европейского романа) London: Verso, 1998. Ibidem, Graphs, maps, trees: abstract models for a literary history. (Графики, карты, генеалогические древа: абстрактные модели для литературной истории) London: Verso, 2005.

[12] Stephen Jay Gould, Full House: The Spread of Excellence from Plato to Darwin. New York: Three Rivers Press, 1996. Iliya Prigogine in collaboration with Isabelle Stengers. The End of Certainty: Time, Chaos, and the New Laws of Nature. New York: Free Press, 1997. (Английский перевод La Fin des Certitudes — проверить, может уже есть и русский перевод, плюс точно есть перевод книги Пригожина «Порядок из хаоса». М., «Прогресс», 1986.

[13] Вот лишь некоторые из наиболее ярких исследовании экономики как профессионального поля: Philip Mirowski, More heat than light: economics as social physics, physics as nature’s economics. New York: Cambridge University Press, 1990. Yuval P. Yonay, The struggle over the soul of economics: institutionalists and neoclassical economists in America between the wars. Princeton: Princeton University Press, 1998. John Markoff & Verónica Montecinos, “The ubiquitous rise of economists”, International Public Policy, Vol. 13, no. 1 (1993), pp. 37-68.

материальными ресурсами соответствующих политических движений и государств, полемика генерировала заряды эмоциональной энергии, и интеллектуальное производство двигалось в течение нескольких поколений со впечатляющими успехами в накоплении эмпирических знаний, теорий, и исследовательских методологий — наряду с колоссальным численным ростом научных сообществ по обе стороны политического раздела. Развитие массового университетского образования в течение всего периода с середины XIX в., особенно в 1950-1960-е гг., создало беспрецедентную организационную базу для профессиональной научной деятельности. В самом деле, сегодня есть, что вспоминать с ностальгией — хотя при этом хорошо бы не затуманивать взор.

Социальная наука и на Западе, и в соцлагере в начале 1960-х гг. одновременно столкнулась с внутренним сопротивлением, переходящим в восстание. Восстание было направлено против ортодоксального канона, который оформился с обеих сторон в основном в 1930-1950-е гг. Двигателем протеста выступало тогда молодое и численно беспрецедентно большое поколение молодых мужчин и женщин, в основной массе технических специалистов и нередко интеллигентов в первом поколении из числа нацменьшинств, провинциалов, которые наряду с обретением высшего образования испытали в период взросления мощное социальное продвижение и, соответственно, приобрели заряд оптимизма. Новые образованные слои стремились сломать барьеры, традиционно удеживавшие статусно «младших» в подчинении статусно «старшим», т.е. начальству, и привести структуры политической власти и культурные нормы в соответствие со своим возросшим весом в общественном воспроизводстве.[14] В самых общих чертах, оставив пока конкретные сюжеты, тут мы находим объяснение общемирового феномена «шестидесятничества».

Демографическое и культурное давление «младших» привело к скачкообразному росту всевозможных нон-конформистских проявлений: в моделях личного поведения и массовой моде, в сексуальных предпочтениях и в семейном быту, в искусстве, в сфере религиозной догматики и ритуала (откуда как и размытый «новый спиритуализм», так и воинственно анти-структурный фундаментализм), наконец, в интенсификации рыночного и политического предпринимательства где-то с конца семидесятых годов. Обычное отождествление нон-конформизма шестидесятых с движением Но-вых Левых упускает из виду, что к той же волне или ее вторичным накатам принадлежат и нео-консерваторы, и нео-националисты (в России выступающие преимущественно в жанре богемно-поэтизированной геополитики и конфликтологии), и фундаменталисты различных религий, и рыночные младореформаторы всех стран. Так или иначе, все это было формами вызова истеблишменту и начальственной опеке, предписывавшим вести себя «в рамках». Отсюда и ошеломляющая легкость, с которой многие из бывших Новых Левых превращались в Новых Правых, в националистов, в венчурных капиталистов, и т.д.

В поле социальной науки нон-конформизм младшего поколения вылился, прежде всего, в критику ортодоксальных интерпретаций путем возврата к изначальным идеям основателей. Отсюда разнообразные движения с приставкой «нео»: более всего, конечно, нео-марксизм, противостоявший догматизму компартий, но также нео-веберианство, отвергавшее техницистскую интерпретацию Талкотта Парсонса, или нео-либерализм в экономике,

[14] См., к примеру, написанную в 1992 г. статью Giovanni Arrighi, Terence K. Hopkins, and Immanuel Wallerstein. “1989: The Continuation of 1968.” Pp. 35-51 in George Katsiaficas (ed.) After the Fall: 1989 and the Future of Freedom. New York: Routledge, 2001.

направленный против гегемонии кейнсианства. (Отметим, что полного возврата не деле не произошло и, учитывая сильно изменившиеся реалии, не могло произойти — как нео-марксисты не упоминали о диктатуре пролетариата, предпочитая гуманистические наброски молодого Маркса или Грамши, так и нео-либералы предпочитали умалчивать об идеале золотого стандарта, который бы лишил современные правительства Запада важнейшего механизма социальной регуляции.)

Знаковые фигуры возрожденческих движений порой принадлежали к старшему поколению — Дьёрдь Лукач для нео-марксистов шестидесятых или Фридрих фон Фаек и Милтон Фридман для рыночных нео-либералов семидесятых. Но знаковыми этих уже почтенных профессоров, надолго изолированных в период ортодоксии, сделали именно их молодые и энергичные читатели. В том же русле возникает «крестьяноведение», лидерами которого выступили Джеймс Скотт и Теодор Шанин, который заново ввел в научный оборот идеи Чаянова и политэкономии русского народничества, а также сравнительно-филологическое движение на Западе, чье вдохновение питалось от других полу-забытых русских авторов: фольклористов Бахтина и Проппа, либо «формалистов» Тынянова и Шкловского и историко-струк-турного лингвиста Романа Якобсона (в конце своей жизни оказавшегося в Гарварде, где он также сыграл роль знаковой фигуры возрождения).

К началу восьмидесятых годов возрождение с приставкой нео- начинает исчерпыватся. На смену ему приходят движения уже не возрождения, а отхода от традиции и ее критики. Многие тогда обзавелись приставкой «пост»: пост-структурализм, пост-гуманизм, пост-реализм, пост-феминизм, пост-марксизм, пост-колониализм, франко-английская школа пост-фордизма в политэкономии, и, конечно же, самый популярный из «постов» восьмидесятых — пост-модернизм.

Критический вектор «пост» движений был направлен против фундаментальных положений и самих способов построения классической теории. Достигалось это в основном методом «деконструкции», направленным на выявление скрытых, пред-рациональных и обычно неосознаваемых предпочтений и презумпций так называемых классиков и их последователей. Главным результатом стала критическая атака на всю парадигму социальной науки XIX века и особенно на сциентизм, достигший пика в 1950-е гг. Гуманистическая критика на самом деле, конечно, служила предупреждением современникам. Предупреждение было важным, но его ничто не отделяло от абсолютного сомнения в самой возможности обобщающей теории. Вслед за первыми раскатистыми залпами, «постам» оказалось трудно двинуться в каком-либо направлении. Возникла заминка, если не тупик, что сегодня во многом (не во всем, но все-таки в очень многом) характеризует ситуацию, и особенно в гуманитарно-философских областях.

Наиболее отчетливо признаки спада интеллектуальной активности проявились за пределами США. В шестидесятых-семидесятых годах европейские интеллигенции предприняли славную и очень впечатляющую контратаку на послевоенную гегемонию англо-американского сциентизма. Но затем наступает спад активности, и Европа едва не пуще прежнего провинциализуется по отношению к США. Помимо общей теории происходили изменения и в каких-то других условиях творчества, которые я здесь не рискну определять. Однако, с 1980-х гг. спад и провинциализация явно наблюдались также в художественных полях, в частности, в европейском кино.

Явно не в одной материальной базе тут дело. Бедность осложняет творческие занятия и привносит в них горечь. И все-таки сама по себе бедность не может воспрепятствовать интеллектуальным занятиям, даже таким относительно капиталоемким, как кино, журналистика, или, в другой области, теоретическая физика и химия. В 1980-е и особенно в 1990-е гг. что-то случилось с самим интеллектуальным тонусом, куда-то подевалась эмоциональная энергетика.

Еще раз оговорюсь. Всегда есть опасность пережать в обобщениях и упустить из виду важные контр-примеры. Говорить о полном спаде только в социальных науках и в культурном поле было бы и огульно, и аналитически ошибочно. Однако представляется, что общие понижательно-измельчательные тенденции именно таковы.

В Латинской Америке перепад был еще драматичнее. Если где-то в районе 1970 г. этот прежде удаленный континент оказался представлен именами мирового значения практически во всех областях, от социологии до музыки и литературы (возможно, следует добавить сюда и футбол), то ничего подобного уже нельзя было сказать в 1990 г. или 2000 г. От былого сочетания колоритной местной самобытности с виртуозностью мирового класса остались ностальгические воспоминания, хотя и воспоминания о былом успехе могут послужить культурным капиталом на другом витке истории. Господствующие позиции в интеллектуальных полях стран Латинской Америки, и особенно в университетах, перешли к подражателям ортодоксальных англо-американских образцов (факультеты экономики дают, конечно, самый разительный пример), в то время как наиболее известные и оригинальные латиноамериканские интеллектуалы сами мигрировали в США и Канаду.

То же самое произошло и с Африкой, где наибольшие успехи были связаны с шестидесятнической литературой (вспомним хотя бы Чинуа Ачебе) и социальной критикой (Махмуд Мамдани). Теперь африканская (как и арабская) общественная мысль практически целиком оказалась в диаспоре, вернее в европейских столицах и американских университетских кампусах. С соответствующими поправками, нечто подобное можно не без горечи сказать и о нашем уголке мира — Восточной Европе.

Свято место большой теории оставаться пусто не могло уже хотя бы потому, что в англо-американской науке (в континентальной Европе конкурентность несколько ниже) индивидуальные научные карьеры напрямую связаны с количеством и престижным рейтингом публикаций. Надо постоянно придумывать темы диссертаций, конференций, монографий. Но как? В новых формулировках началось восстановление сциентистских подходов и сюжетов из пред-кризисного периода. Скажем, нео-институционализм фактически возродил программу структурного функционализма, теории рационального выбора восприняли наиболее сциентистские и схоластические аспекты системных амбиций школы Талкотта Парсонса (но без указания на источник и далеко без прежнего парсонианского охвата). Другой крайне распространенной стратегией, типичной для периодов спада, оказалось перетолковывание признанных теорий на новом относительно материале и общее измельчение тематики. Отметим, однако, что полного возврата к ситуации 1950-х гг. не произошло. Гуманитарно-текстологические дисциплины и более «социальные» из социальных наук (антропология, социология, и история) закрепились на рубежах, достигнутых ими в семидесятые годы или в начале восьмидесятых. На тех позициях, в целом, они и остаются сегодня.

Наряду с внутренними для социальной науки проблемами в 1980-е гг. мощно проявились две новые тенденции. Во-первых, общемировое вымирание политических альтернатив, марксизма в первую очередь, но также и более более оптимистичных вариантов национализма (антиколониализм Третьего мира, европейские патриотизмы) резко сузило пространство для нон-конформистских проявлений и восстановило господство одной из сохранившихся ортодоксий. Это было провозглашено концом идеологической истории. Нон-конформизм всевозможных видов не столько подавлялся, сколько стал казаться устаревшим и ненужным, поскольку за пределами академической среды исчезли соответствующие референтные аудитории, протестные политические настроения и движения. Соответственно, вплоть до отрицательных величин понизился заряд эмоциональной энергии в общественной сфере, откуда подпитывалась публицистика, но также большинство видов искусства и социальная наука. Катастрофически резкий перепад настроений и интеллектуального производства в Восточной Европе после пика 1989г. — лишь крайний пример.

Во-вторых, общемировое давление в сторону сокращения государственного финансирования (хотя в различной степени в разных странах) побуждает университеты и исследовательские институты искать способы самофинансирования. Развивается коммерческое образование, рыночно-применимая наука (информатика, биотехнология), и та прикладная отрасль социальной работы, которая в новый период превращается в «надомную индустрию» неправительственных организаций. Самым мощным примером самофинансирования науки и образования стал рост и преобладание школ бизнеса. Элементарная статистика — только номинальные зарплаты в американских школах бизнеса вдвое-втрое выше зарплат на гуманитарных факультетах, не говоря о высокодоходных консалтинговых возможностях. Все, что может себя выдать за полезное для бизнеса знание, начинает мимикрировать в этом направлении — от прикладной психологии и социологии рынков и потребительского вкуса до деловой этики и офисной эстетики.

Дифферент в доходах, однако, сам по себе не дает удовлетворительного объяснения. Куда важнее, что резко изменился общественный климат. Точнее, при сужении и утилитаризации общественных представлений о полезности науки, культурных навыков и абстрактного знания оказались обесценены типичные для прежних поколений интеллигенции формы символического капитала. В новых условиях стало очень трудно чувствовать и (употребляя гоффмановский жаргонизм) социально репрезентировать себя бедным, но при этом благородным, либо полезным для человечества, либо изобретательным в поведении и самовыражении, либо романтичным и виртуозно культурным. Притом, следуя общей тенденции, сами предметы и практики высокой культуры (книги или опера) стали требовать куда больших затрат.

Довольно причитаний. Давайте лучше проведем мысленный эксперимент. А как бы выглядела та самая, Томасом Куном описанная коперниковская революция в объяснении мироздания из середины периода, который историки зовут кризисом XVII столетия, из года эдак 1650 или 1660-го? Сам Николай Коперник к тому времени благополучно упокоился в своем костеле, не оставив учеников, Галилей поплатился за дерзкие публикации, и тогда еще мальчишка Ньютон не знал, что Кеплер оставил ему в наследие законы движения небесных тел, которые сам Кеплер не смог теоретизировать. Конечно, это имена тех, кого много позднее провозгласят плеядой титанов научной революции Нового Времени. Только титаны при жиз-

ни не были плеядой. Они жили выдающимися одиночками в мире, где господствовали средневековые представления, которым и сами они отдавали должное: Кеплер зарабатывал на жизнь астрологией, Ньютон большей частью искал философский камень.

Астрология дает нам, быть может, очень полезный пример. Напомню, это была удивительно мощная дисциплина, за которой стояли классические авторитеты древности, масса добротных эмпирических данных, накопленных за долгие века, а также стройная логика и математический аппарат. Это было подлинно транснациональное интеллектуальное поле, центры которого располагались на межцивилизационном пространстве от Японии до Самарканда и от Индии до Парижа. Более того, центры взаимодействовали между собой посредством переводных публикаций. Это была дисциплина с мощной теоретической базой и регулярным, престижным применением в политической практике. Едва ли не во всех дворцах и правительствах прислушивались к экспертному мнению звездочетов. Чем не параллель с современной экономической наукой?

Да, в основе прежнего экспертного знания лежало ныне сомнительное (но даже сегодня не для всех) допущение, что наблюдаемое и теоретически предсказуемое движение небесных тел обладает причинно-следственным воздействием на политические и личные выборы людей. В основу неоклассической экономики также заложены аксиомы о том, что сельская ярмарка может служить прообразом капиталистической экономики, что все в этом мире стремится к равновесию, а человеческое поведение следует неизменным абстрактным моделям, сродни поведению атомов.

Если отвлечься от титанического статуса, позднее приобретенного Коперником, его даже не открытие, а предположение было удивительно просто — если сменить перспективу, то многое в наблюдаемой системе встает на свои места. Собственно, к этому и сводятся теоретические прорывы 1970-х гг. в социальной науке, будь то миросистемный анализа Валлерстайна, сравнительно-историческая политология Тилли, или социология культуры Бурдье. Сопротивление также совершенно предсказуемое. Во-первых, действует коллективный интерес первой гильдии интеллектуальных специалистов, астрологов в одну эпоху или экономистов в другую. Куда серьезнее, что научный переворот неизбежно подрывает легитимацию существующей власти. Галилея преследовали далеко не мракобесы.[15] Его осудили при папе Урбане VIII, одном из самых просвещенных глав Римской церкви. Несмотря на личную дружбу и покровительство, тот прекрасно видел, насколько Галилей его «подставил» (современное выражение тут уместно, поскольку коллизия совершенно аналогична отношениям советских диссидентских интеллектуалов с просвещенным крылом высшей номенклатуры). Предположить посреди Контр-реформации, что небосвод не строится по канонической иерархии?! Что дальше, множественность центров власти вместо Божественной Империи? Возможность рационального переустройства мира? Политический анализ Урбана VIII был безупречен, если и оказался тщетным. Конечно, все именно так и вышло в истории.

Сегодня мы живем в свою эпоху контр-реформации и исторического кризиса. “Коперниковский” сдвиг перспективы произошел уже почти поколение назад, и не единожды. Как часто бывает в науке, прорывы были параллельно совершены несколькими учеными. После прорывов идет накопление знания и попытки соединения самих прорывов. Но пока не родился или не проявился Ньютон нашего времени, и, тем более, пока далеко до момента, когда новое знание превратится в азбучные истины.

[15] Dava Sobel, Galileo’s Daughter: A Historical Memoir of Science, Faith, and Love. New York: Walker & Co., 1999.

МЕМОРИАЛ ВЕТЕРАНОВ ВЬЕТНАМА: ПАМЯТИ ТРУДНОГО ПРОШЛОГО[1]

Р. Вагнер-Пацифици,
Б. Шварц
(Перевод Н.П. Проценко)

Аннотация: *В статье рассматривается социальное восприятие мемориалов военной памяти в США – на примере Мемориала ветеранов Вьетнама – позитивного, негативного, амбивалентного, самими ветеранами и посторонними, а также политический смысл* проектов таких мемориалов и динамика их востребованности в обществе.

Ключевые термины: *мемориал, уроки прошлого, поминовение как политический ритуал, поминовение как социальное явление.*

Проблема почтения памяти (commemoration) связана с восприятием обществом своего прошлого и поэтому является важным аспектом социологии культуры. В нынешних подходах к данной проблеме, восходящих к работам Эмиля Дюркгейма, делается акцент на способах, при помощи которых мемориальные объекты (commemorative objects) символизируют прошлые славные события в истории общества. В настоящей статье о Мемориале ветеранов Вьетнама, напротив, рассматривается то, как общество усваивает уроки былых событий, которые вовсе не назовешь славными, а память о них противоречива и не демонстрирует общее согласие. Вьетнамская война отличалась от прочих войн тем, что она была политически неоднозначным и морально сомнительным делом, которое закончилось поражением Соединенных Штатов. Однако, как и другие войны, ее участники проявляли и храбрость, и самопожертвование, и честь. Воплощение этих противоречивых аспектов Вьетнамской войны в одном монументе сопровождалась конфликтами между разными жанрами мемориального искусства. Основным предметом исследования в этой статье станет дискурсивное поле, из которого возник Мемориал ветеранов Вьетнама. Тем самым будет показано, каким образом противоположные группы заинтересованных лиц выразили ту двойственность, которая характерна для памяти о Вьетнамской войне. Эта двойственность отразилась не только в композиции (design) монумента, рассматриваемого в статье, но и в других мемориалах памя-

[1]Оригинальный текст: American Journal of Sociology, Vol. 97, Number 2, September 1991, pp. 376-420.

Авторы выражают благодарность Венди Грисволд, Харольду Бершади, Гидеону Арану, Джою Чарльтону, Т. Каори Китао и Гэри Марксу за полезные комментарии к предыдущей версии этой статьи. Ряд анонимных замечаний также значительно повлиял на понимание логики изложения материала. Авторы также признательны

ти Вьетнамской войны, которые позже были воздвигнуты в разных местах страны. Эти попытки почтить память разъединившей общество войны, равно как и стремление других наций примириться с трудными страницами собственного прошлого, ставят под вопрос убежденность Дюркгейма в том, что моральное единство является абсолютным объектом поминовения (commemoration). Мемориал ветеранов Вьетнама и подобные ему монументы выступают не символами солидарности, но чем-то, что более явно и более осознанно выводит на поверхность конфликтные представления нации о себе и своем прошлом.

Наследник славы, для грядущих дней
Не просишь ты свидетельства камней.
Джон Мильтон
«О Шекспире» (1630)
Перевод С.Я. Маршака

В этой статье будут рассмотрены две проблемы – общая и частная; при этом мы утверждаем, что наиболее оптимально рассматривать данные проблемы в их взаимосвязи. Общая проблема – это выявление процессов, с помощью которых производятся культурные смыслы и сама культура. В этих процессах преломляются коллективная память, этические и политические начинания, господствующие идеологии и различные дискурсивные жанры – всему этому социологическая наука должна дать должные масштаб и место. Частная проблема – это собственно Мемориал ветеранов Вьетнама. Этот необычный монумент стал результатом запоздалого понимания необходимости некоего всеобщего символического почтения памяти людей (the men and women), погибших во время Вьетнамской войны. Однако перед создателями этого памятника стояла задача, прежде неизвестная американской истории, - задача увековечить разъединившее людей поражение.

Конкретный случай проблемы поминовения ветеранов Вьетнама позволяет сделать некоторые общие выводы в области социологии культуры. Столь пристальное внимание к отдельному эпизоду можно объяснить словами Клиффорда Гиртца: «важнейшей задачей построения теории… является не кодификация абстрактных закономерностей, но создание возможности для широкого описания; не обобщение поверх примеров, а обобщение, не выходящее за их рамки» (Geertz 1973, p. 26). Однако нам также важно выявить определенные формулы почтения памяти, поскольку они повторяются от одной ситуации к другой. Поэтому от собственно Мемориала ветеранов Вьетнама мы перейдем к монументам, которые аналогичным образом выполняли миссию почтения памяти неоднозначных событий, пытаясь свести сходства и различия между ними в единой структуре анализа.

В ходе рассмотрения нашего предмета мы проследим социальные, политические и культурные траектории переговорного процесса, результатом которого стало сооружение Мемориала. Этот процесс столкнулся с рядом определенным образом связанных друг с другом проблем: (1) социальные проблемы закрепления в общественном сознании болезненных эпизодов прошлого (поражение в войне, неискуплённое поколение ветеранов), (2) политическая проблема почтения памяти события, относительно которого отсутствует национальное согласие (consensus), и (3) культурная традиция действия в русле традиционных ожиданий относительно военно-мемориального жанра и наоборот.

Дэвиду Гайнесу, чья кураторская помощь позволила использовать фонды Музея Соединенных Штатов и Регионального археологического хранилища, и Дональду А. Леону, автору проекта мемориала ветеранов Корейской войны, чьи глубокие замечания об этом памятнике оказались для нас наиболее полезны. Предыдущие версии настоящей статьи были представлены в 1987 году на годовом собрании Американской социологической ассоциации и в 1989 году на коллоквиуме по современным военным монументам, который проводил берлинский Институт современных исследований. Оба автора благодарны за финансовую поддержку исследования фонду Эндрю У. Меллона. Корреспонденция принимается по адресу: Robin Wagner-Pacifici, Department of Sociology and Anthropology, Swarthmore College, Swarthmore, Pennsylvania 19081.

Открытие

Мемориал ветеранов Вьетнама был открыт 11 ноября 1982 года[a], спустя семь лет, как последний американский солдат погиб во Вьетнаме. Непосредственно перед церемонией открытия 150 тысяч зрителей встретили аплодисментами парад 15 тысяч ветеранов. Украшением трехчасового действа стал мастерски срежиссированный пролёт боевых самолетов и вертолетов. Еще бóльшую торжественность событию придала предшествовавшая ему 56-часовая месса со свечами в Национальном соборе[b], где были зачитаны имена всех 57 939 американцев, погибших во Вьетнаме. Президент Соединенных Штатов, принявший участие в этой церемонии, зажег свечу в память павших и прослушал часть длинного списка имен.

В этих мемориальных церемониях изначально не раз возникали темы возрождения и солидарности, которые отразил девиз парада в День ветеранов – «Маршируем вместе» (Marching along Together). Эта формулировка стала своего рода прологом к призыву, прозвучавшему в день открытия Мемориала: «Пусть этот мемориал положит начало исцелению нации и станет вечным символом нашего национального единства». Но если официальный оратор утверждал, что монумент представляет собой путь «к единению любимой нами Америки с ее храбрейшими и лучшими сынами», то последние скорее недоумевали, почему этот путь потребовал так много времени. Как сказал один из ветеранов, «они должны были это сделать, еще когда первые из нас вернулись домой в 1971-м». Министр обороны Каспер Вайнбергер признал, что мемориал появился с опозданием, но при этом добавил, что «в конечном итоге мы пришли к признанию вашей жертвы». В подобном ключе высказался и президент Рейган, разглядывая список погибших. Он заявил, что теперь каждый «начинает понимать, что они просто сражались за дело». (*Washington Post*, 14 ноября 1982, секция A, стр. 1, 18, 20; *New York Times*, 11 ноября 1982, секция A, стр. 1).

Многие были не согласны с этим утверждением президента. Сама церемония открытия началась скорее со слов раскаяния, а не с прямой оценки: «Мы взываем к милости, чтобы повернуться лицом к нашему прошлому». А в момент эмоциональной кульминации церемонии, при возложении лавровых венков, из толпы раздался нелицеприятный вопрос: «Так за что же мы воевали?» (*U.S. News and World Report*, 22 ноября 1982, стр. 66). Никто не осмелится утверждать, что американцы достигли единого ответа на этот вопрос.

Дилеммы поминовения

Память о Вьетнамской войне и ее времени вписана в рамки культуры поминовения. Существующие в культурологических исследованиях аналитические подходы определяют как мемориальные объекты, так и культурные объекты в целом в качестве «обретшего форму всеобщего смысла (shared significance)» (Griswold 1987*a*, p. 13). Однако в нашем случае проблема заключается в том, чтобы сформулировать подход к той разновидности поминовения, когда смысл, напротив, не является общим для всех.

Одно из наиболее влиятельных направлений исследования социальных функций поминовения задал Эмиль Дюркгейм. По его мнению (Durkheim 1965, p. 420), мемориальные ритуалы и символы служат для сохранения и прославления традиционных верований, «для поддержания их жизненной силы, предотвращения их стирания из памяти и, в конечном итоге, для оживления наиболее существенных элементов коллективного сознания. Через [практики поминовения] определенная группа периодически освежает свое представление о себе и чувство своего единства». В русле концепции Дюркгейма находится богатая исследовательская традиция, к которой среди прочих относятся работы Мориса Хальбвахса (Halbwachs 1941, 1950), Роберта Хертца (Hertz 1965) Ллойда Уорнера (Warner 1959), Бернарда Барбера (Barber 1972), Эдварда Шилза (Shils 1981) и Дэвида Лоуэнталя (Lowenthal 1985). Вслед за Дюркгеймом в этих работах подчеркивается, каким образом мемориальные сооружения интегрируют

славные события прошлого в повседневные заботы и устремления какого-либо общества. Авторы указанных трудов признают, что событиям или личностям, избранным в качестве объекта поминовения, обязательно присущ героический характер или, по меньшей мере, незапятнанная репутация. При таком подходе поминовение руководствуется чем-то вроде принципа удовольствия, который продуцирует единый позитивный образ прошлого. Но давайте предположим, что выбранное для поминовения событие, напротив, разделяет общество на разные лагеря, что такое событие (например, военный разгром или период внутренних репрессий)[2] является болезненным для общества эпизодом. Тогда какие «традиционные верования» и «существенные элементы» могут быть зафиксированы посвященными этим событиям мемориалами и тем самым объединить общество вокруг последних? – если, конечно, такое вообще возможно. Как возможно поминовение без согласия или без гордости?

Мемориал ветеранов Вьетнама дает основательный повод задуматься об этих проблемах. Череда событий, итогом которых стали его создание и общественная оценка, представляла собой процесс культурного производства, в ходе которого были высказаны противоположные этические оценки Вьетнамской войны и ее участников. Данный процесс состоял из семи этапов, каждый из которых был отмечен деятельностью определенных лиц и институтов: (1) Решение Пентагона почтить память войны неприметной мемориальной доской на Арлингтонском кладбище[c]. (2) Деятельность Конгресса, кульминацией которой стали Неделя ветеранов Вьетнама[d] и ряд программ поддержки ветеранов. (3) Один из ветеранов Вьетнама формулирует концепцию Мемориала, далее следует кампания поддержки. (4) Масштабная дискуссия вокруг нетрадиционной композиции Мемориала, отобранной Комиссией по искусствам США. (5) Изменение исходной композиции путем внесения в нее традиционных элементов. (6) Неординарная и неожиданная реакция публики на Мемориал. (7) Продолжающаяся полемика вокруг дальнейших изменений в конструкции Мемориала. Далее мы рассмотрим каждый из перечисленных этапов.

Сравнительный анализ показывает, что моральные оценки, воплощенные в Мемориале ветеранов Вьетнама, исходят из некой формулы, единой для всех обществ, которые хотят почтить память неоднозначных военных предприятий. Если проигранная война была, согласно широко распространенному в обществе представлению, аморальной или как минимум ненужной, то, по словам Джеймса Майо (Mayo 1988, p. 170), «поражение… не может быть забыто, поэтому нация должна отыскать пути искупления жертвы павших за ее интересы, чтобы придать поражению достойный вид. Этого можно достичь почтением скорее не самой проигранной войны, а тех, кто в ней сражался». Как будет показано ниже, именно эта мемориальная формула определенно была использована для обоснования необходимости почтить память Вьетнамской войны. При этом данная формула также может служить для оправдания памяти о тех войнах, которые имеют сходство с Вьетнамской войной. Когда израильские официальные лица выступают на церемониях, посвященных войне в Ливане[e], они прославляют израильских солдат яркими словами воодушевления, но их высказывания о самой войне остаются неопределенными и размытыми. Израильские чиновники признают за этой войной ее место в истории, но отрицают ее высокое значение для национального опыта. Образно говоря, это событие, которое нации пришлось проглотить, но оно никогда не будет усвоено. Такова память об «израильском Вьетнаме» – этом незаконнорожденном, но храбро исполненном деле.[3] Двусмысленность исторического деяния и двусмысленное положение его участников особенно драматичны для американского Юга. Церемонии Дня памяти Конфедерации отличаются на Юге от штата к штату, однако их общей чертой является стремление отдать должное мужеству солдат Конфедерации, не упоминая при этом о Сецессии[f] и рабстве. Аналогичную идею – отделить людей от их деяний – использовали сторонники Рональ-

[2] Нынешние усилия по увековечению памяти жертв Сталина в Советском Союзе представляют собой свежий пример стремления к поминовению репрессий в отношении гражданского населения.

[3] Из беседы с Гидеоном Араном, отделение социологии Иудейского университета в Иерусалиме.

да Рейгана для оправдания его визита в Битбург[g], чтобы почтить память погибших нацистских солдат.[4] С проблемой признания заслуг тех, кто сражался, но проиграл войну, столкнулся и Советский Союз после вывода войск из Афганистана. В жесте беспрецедентной милости в отношении собственных военнопленных советское правительство не только поверило на слово тем, чье поведение в плену не было безупречным, но также декларировало, что «прощение военнопленных, поддавшихся давлению неприятеля, является необходимой составляющей процесса исцеления нации от ран Афганской войны» (*New York Times*, 14 июня 1988 года).[5] Та же самая потребность в «исцелении нации» способствовала оправданию признания заслуг ветеранов Вьетнама в Америке. И если за желанием Советского Союза простить тех, кто предал его дело, скрывается сомнительное достоинство самого этого дела, то незадолго до этого аналогичная проблема настойчиво стояла и перед Соединенными Штатами.

Поминовение как жанровая проблема

Дискуссии о том, каким образом следует увековечить память той или иной войны, в некоторой степени являются отражением разногласий относительно ее природы (merits). В многоэтапном процессе создания Мемориала ветеранов Вьетнама, с одной стороны, содержалось желание отразить в его композиции уникальность Вьетнамской войны, а с другой, стремление обнаружить, в чем эта война похожа на предыдущие. От других войн Вьетнамская война отличалась тем, что она была противоречивым, этически спорным и безуспешным предприятием. При этом она напоминала другие войны тем, что пробуждала в ее участниках такие традиционные для войн достоинства, как самопожертвование, храбрость, преданность и честь. Конфликт между альтернативными проектами Мемориала вращался вокруг проблемы соотношения этих противоположных тенденций в рамках одного монумента.

Различия между военными монументами, как и все жанровые различия вообще, проистекают из «определенной классификации, из выявления схожих черт в разных… объектах, из установления общих оснований в нагромождении частностей» (Griswold 1987*a*, p. 17). По мнению Венди Грисволд, жанр – это разновидность схемы, организующей восприятие, однако литературные и художественные жанры не являются чем-то неизменным (imperma-nent) – напротив, они выражают меняющийся характер своих авторов, аудиторий и контекстов. Понятие жанра значимо и для нашей проблемы: какой монумент может быть воздвигнут в свете изменения традиционных представлений о том, как должен выглядеть военный мемориал, и что он должен выражать? Однако полностью следы традиции стереть невозможно, поэтому в данном случае следует говорить о том, в каких пределах могут изменяться мемориальные жанры. В обобщенном виде данная проблема звучит так: любой анализ культурного объекта должен содержать описание и интерпретацию его жанровых пределов. Скажем, когда трагедия перестает быть трагедией? Когда военный мемориал перестает быть военным мемориалом? Именно эту проблему превращения одних жанров в другие (negotiability of genre) было бы уместно рассмотреть в настоящем исследовании. Имеется ли некая сущность, которую можно обозначить как «военную мемориальность», и можно ли ее идентифицировать? Самое главное здесь – это понимание того, каким образом данная жанровая природа переводит идейный конфликт по поводу Вьетнамской войны в непосредственный процесс создания монумента? Каким образом она вносит свою лепту в решение задачи включения горьких событий прошлого в коллективную память?

Мы уверены, что ключ к разгадке заключается в обманутых ожиданиях, связанных с внешним видом мемориальных монументов. В случае с военными мемориалами традиционные ожидания удовлетворяются разнообразием форм, включающим такие элементы, как ме-

[4] Подробный анализ Битбургского конфликта см. в: Schmitt 1989.

[5] Обсуждение общих проблем послевоенной адаптации ветеранов Вьетнама и Афганистана см. в: Atlanta Journal, 19 октября 1988 года, p. 2A; New York Times Magazine, 11 июня 1989 года, p. 60 ff.

мориальные строения, реалистичные скульптуры сражающихся людей, обелиски, арки, гранитные монолиты и другие сооружения, которые лаконично говорят о той или иной войне. Кроме того, перечисленные элементы предполагают определенные особенности внешнего вида, в том числе вертикальные доминанты, солидный размер и светлую цветовую гамму в сочетании с национальной символикой. Если же, как в случае с Мемориалом ветеранов Вьетнама, все эти традиционные мемориальные формы отвергаются в пользу некой новой формы, тогда следует задать вопрос, что она стремится собой выразить. Данный вопрос содержит следующие аспекты. (1) Природа самой войны (объявленная/необъявленная, справедливая/несправедливая, победа/поражение). (2) Характер националь-ной реакции на войну (согласие/разногласие). (3) Общественное представление о социальном статусе вернувшихся с войны ветеранов (герои/ девиантная группа). (4) Политический климат эпохи (консервативный/либеральный). (5) Природа политического действия (мажоритарная/группы интересов электорального происхождения).

Метод

Различные отношения и интересы трансформируются в мемориальные формы благодаря инициативе определенных лиц. Прежде чем то или иное событие может быть названо достойным памяти, прежде чем какая-либо группа (class) лиц будет признана участниками этого события, должны появиться некоторые люди, а на самом деле определенные группы, которые считают и само событие, и его участников памятным явлением и способны убедить в этом другие группы. Мемориальные объекты не создаются сами по себе – их рождают и создают те, кто хотел бы ввести в общественное сознание определенные события и людей, о которых все прочие скорее склонны забыть. Такое представление о появлении мемориальных объектов предполагает, что в процессе их сооружения конкурирующие «идейные вдохновители» (moral entrepreneurs) ищут общественные площадки и общественную поддержку для своей интерпретации прошлого. Именно такие интерпретации воплощаются в символической структуре мемориальных объектов.

Существующие попытки связать культурные объекты с человеческим социальным опытом редко уделяют внимание описанному процессу. Работа Эдварда Шилза и Майкла Янга о церемониале коронации (Shils, Young 1953), труд Клиффорда Гиртца о балийских петушиных боях (Geertz 1973), анализ Люсьеном Гольдманом пьес Расина (Goldmann 1964) – в этих и других показательных работах присутствует стремление провести параллель между символической структурой культурных объектов и ментальными структурами общества. Не отрицая объективности этих частных исследований, следует признать два недостатка используемого в них метода. Во-первых, данный метод допускает наличие спорных выводов, поскольку проницательный наблюдатель всегда может найти в некотором культурном объекте определенное отражение социума. Во-вторых, этот метод ставит акцент на том, чем является культурный объект и что он выражает, но не на том, каким образом этот объект стал таким, какой он есть, и приобрел то содержание, выражением которого он является. Данные недочеты стали очевидны при анализе Мемориала ветеранов Вьетнама. Созерцая этот мемориал в конкретный момент времени, невозможно обнаружить способ его «декодирования», то есть определить его отношение к социуму. Лишь приняв в расчет исходные точки и растянутый во времени процесс появления Мемориала, мы пришли к пониманию того, каким образом его символическая структура выражает ценности общества и память о войне или вырастает из них.

Поэтому в нашем исследовании использованы три различных, но при этом сопоставимых подхода – они позволят нам воспроизвести и интерпретировать контекст, в который вписан монумент ветеранам Вьетнама. Мы будем применять (1) метод «плотного» (thick) описания отдельного случая – своего рода этнографическое описание[h], направленное на рас-

крытие «понятийной структуры, информирующей о действиях предмета нашего исследования» (Geertz 1973, p. 27), (2) дискурсивный анализ, являющийся чувствительным инструментом обнаружения смысловых проявлений (как вербальных, так и визуальных) в социальных контекстах, и (3) сравнительный метод, с помощью которого будут получены общие выводы.

Применение дискурсивного анализа к теме нашего исследования требует некоторого уточнения. Двигаясь сквозь «дискурсивное окружение» культурного объекта, мы систематически обращаем внимание на публичные высказывания и жесты, которые конституируют и интерпретируют данный объект во времени и пространстве. Мы полагаем, что специализированным дискурсам социальных институтов (organizations), в том числе политических, институтов массовой информации и военных, присущи собственные мировоззрения, включающие представления о том, каким должно быть место человека в обществе и как оно должно быть выражено. Дискурсивный анализ вращается между институтами и контурами их мировоззрений, обращая внимание на специфику высказываний и действий представителей этих институтов. Некоторый дискурс и присущее ему мировоззрение могут быть рассмотрены и описаны начиная с микроуровня их лексических особенностей (например, использование конкретных или абстрактных слов) через их синтаксические черты (такие, как использование активного или пассивного залога и др.) и далее, вплоть до всеобъемлющих аллегорических фигур.

Данный вид анализа предполагает допущение устойчивости жанровой структуры, поэтому в контексте более широкой исследовательской задачи соотнесения дискурса с социальными установками было бы интересно обнаружить противоположное поведение жанра. Применительно к анализу вербального дискурса, связанного с военными мемориалами, такой анализ предполагает выявление неожиданных комбинаций (героизм и поражение), а также фигур повторения, чрезмерности и отсутствия (т.е. слов и понятий, которые встречаются либо слишком часто, либо не встречаются вовсе). В плане визуального выражения, характерного для военных мемориалов, анализ включает в себя семиотический процесс узнавания определенного порядка и нормативной оценки бинарных оппозиций, которым данная культура уделяет особое внимание (например, высокое/низкое, черное/белое, конкретное/абстрактное).

Подобная методология предлагает рассмотрение Мемориала ветеранов Вьетнама в его становлении во времени. Для этого мы предпримем подробное описание взаимодействия Мемориала с его контекстом и покажем, каким образом это взаимодействие очерчивает траекторию, в рамках которой Мемориал получает признание и соответствие ожиданиям. Применение компаративного анализа других сложных мемориальных объектов позволит поставить данное описание в контекст более широкого исследования соотношения между поминовением и его жанрами.

Таким образом, теоретические и методологические проблемы дают пищу друг другу. Дюркгейм и его последователи сформулировали принципы, применимые к памяти о событиях позитивного характера, в содержании значения которых никто не сомневается. Мы же, напротив, хотели бы понять, как происходит поминовение негативных событий. К последним, согласно нашему определению, не относятся различные виды ущерба, несправедливо причиненные врагом (например, во время проигранных, но справедливых войн), или же стойко перенесенные жестокости и страдания. Скорее негативные события являются чем-то вроде моральных травм: их результат не только выражается в ущербе или поражении, но и пробуждает несогласие в обществе, а также провоцирует цензуру. Однако эти травмы не всегда удается игнорировать, отрицая их благородную сторону и забывая свершения и жертвы, которые в иных обстоятельствах считались бы героическими. Именно для того, чтобы вскрыть и артикулировать данное противоречие, были разработаны наша теория и методология.

Сбор материала. Когда реалии некоего социального опыта, например, опыта Вьетнамской войны, обращаются против некогда устоявшихся представлений, индивидуальные и

институциональные дискурсы должны подвергнуться преобразованию – в противном случае, то есть в прежних терминах данных дискурсов эта война останется непонятой. Подобное приспособление дискурса к опыту отражено в каждом аспекте сооружения Мемориала ветеранов Вьетнама. Поскольку основное внимание мы уделяли именно процессу становления Мемориала, это побудило нас рассмотреть особенности дискурса таких имевших отношение к делу институтов, как Комиссия по искусствам, масс-медиа, авторы проектов и посетители Мемориала. Нашими основными источниками стали ежедневные «Ведомости Конгресса», выступления на открытии Мемориала и в День ветеранов, комментарии на страницах газет и журналов. Кроме того, на территории Мемориала было оставлено множество посланий к погибшим солдатам от их друзей и родственников. Еще одним уровнем осмысления Мемориала стали наши собственные наблюдения или наблюдения, сделанные другими людьми. От Министерства внутренних дел мы получили частичный список вещей, найденных на территории Мемориала с момента его открытия. Как правило, это вещи, которые хранили память о погибшем у его семьи и друзей, – от национальных символов, например флагов, до личных вещей типа игрушек или предметов одежды, некогда принадлежавших убитому. Каждый день перед закрытием Мемориала сотрудники Службы национальных парков собирают эти символы, которые затем, наряду с упомянутыми записками, регистрируются и отправляются на хранение в Региональное археологическое музеехранилище (MARS) в Лэнхэме, Мэриленд, где мы и получили возможность с ними ознакомиться.[6]

Ни одна часть этого материала в отдельности не представляет собой слишком полезную информацию. Лишь тщательно сгруппированная и расположенная в надлежащем виде совокупность перечисленных документов и артефактов приведет к раскрытию искомого мемориального смысла.

Благодарность нации: в поисках жанра

Первое официальное признание ветеранов Вьетнама – признание шаткое и неопределенное – произошло лишь в 1978 году, три года спустя ухода последнего американца из Сайгона. Склеп памяти Вьетнамской войны уже был заготовлен у Могилы неизвестного солдата[i], однако армия решила, что ни одно из двух неидентифицированных тел погибших (в обоих случаях сохранилось лишь 30% тела) не является подходящим для захоронения объектом. Вместо почтения павших в битвах Вьетнамской войны символическим актом воссоединения с ними, то есть путем захоронения останков этих неизвестных солдат рядом с погибшими в других войнах, армия посоветовала повесить позади Могилы неизвестного солдата мемориальную доску и несколько медалей, сопроводив это следующей надписью: «Пусть все знают, что Соединенные Штаты Америки отдают дань солдатам, которые ответили на зов своей страны». Эта странная декларация не имела никакого отношения к Вьетнамской войне,

[6] В ноябре 1986 года один из сотрудников этой организации передал нам на исследование фотокопии всей письменной корреспонденции, оставленной у стены Мемориала и собранной на тот момент. Группируя эти документы по жанрам (письма, стихи, записки, поздравительные открытки, визитные карточки, листовки и т.д.) и темам (записки о войне, записки о самом мемориале, записки об отдельных солдатах, правительственных чиновниках, членах семей и т.д.), мы стремились избегать лишнего и при этом подобрать представительный набор и достаточное количество свидетельств. 250 из примерно 350 рассмотренных документов были скопированы и проанализированы. С другой стороны, в общем доступе существует полный, но ограниченный определенными временными рамками перечень вещей, обнаруженных Службой национальных парков. Этот список начал формироваться в ноябре 1984 года, после завершения строительства Мемориала, но в сентябре 1985 года работа была внезапно прекращена из-за отсутствия средств. Однако сбор и хранение оставленных на территории Мемориала вещей продолжились, и теперь они доступны для осмотра в помещении MARS. Наконец, наши непосредственные полевые наблюдения происходили в ходе четырех посещений Мемориала и одного посещения экспозиции его передвижной копии в 1986-1989 годах. Помимо этих наблюдений, занявших в общей сложности десять часов, мы посещали региональные памятники ветеранам Вьетнама, хотя от этих визитов у нас остались совершенно неупорядоченные наблюдения.

поэтому для того чтобы сделать ее более конкретной, потребовалось специальное уточнение в постановлении подкомиссии по делам Вьетнама: «Пусть все знают, что Соединенные Штаты Америки отдают дань солдатам, которые с честью служили в Юго-Восточной Азии в эпоху Вьетнама» (*The Nation*, 8 апреля 1978 года, с. 389). В этом более сильном заявлении следует отметить три момента: (1) данное высказывание было инициировано самими военными, хотя затем было пересмотрено Конгрессом; (2) оно получило незначительную публичную огласку и (3) определило Вьетнамский конфликт словом «эпоха» (era), а не «война». Таким образом, это признание исходило лишь от малой части общества, в интересах которой и в соответствии с ее ценностями и велась эта война, и было предъявлено обществу без какой-либо знаковой церемонии. Кроме того, неназывание вещей своими именами выдавало замешательство военных относительно смысла войны, и этот момент наиболее примечателен. Несмотря на то, что официально война не была объявлена, многие резолюции Конгресса 1980-х годов называли боевые действия во Вьетнаме «Вьетнамской войной». Характерная для конца 1970-х неясность относительно того, как называть этот конфликт, объясняется социальными, а не правовыми причинами. Назвать некоторое событие – это значит присвоить ему этическую категорию и признать его участников отдельной группой лиц. Неадекватные наименования, напротив, влекут за собой двусмысленное понимание природы события и неопределенность восприятия людей, которые принимали в нем участие.

Итак, первое жанровое решение проблемы почтения памяти о Вьетнамской войне оказалось неопределенным и несовершенным. Участники войны получили положенное им признание, но не в виде памятника, а в виде неприметной мемориальной доски, надпись на которой, взятая сама по себе, ни о чем не говорила и имела косвенное отношение к делу. Необъявленные войны, какими бы жестокими они ни были, обычно ведутся скрытно, и первый официальный памятный знак, посвященный Вьетнамской войне, отражал эту их особенность, указывая на событие, но не привлекая к нему внимания.

Далее официальная двусмысленность по поводу Вьетнамской войны обнаружилась в действиях Конгресса. Именно здесь осенью 1978 года началась работа, кульминацией которой затем стало создание Мемориала ветеранов Вьетнама. Однако обсуждавшийся план предполагал не почтение памяти погибших в войне, а учреждение специальной «недели ветеранов Вьетнама» – для оставшихся в живых. Таким образом, возник второй вариант решения проблемы поиска адекватного жанра для почтения памяти Вьетнамской войны: время, а не гранит, поминальная неделя, а не создание материального объекта – вот достаточная почесть сражавшимся во Вьетнаме. Основными сторонниками этого плана был закрытый круг (Caucus), сложившийся еще в годы Вьетнамской войны, – 19 членов Палаты представителей и сенаторов, в те времена служивших в вооруженных силах. Подобным способом они стремились достичь двух целей: объединить нацию, разделенную войной, и вынудить Конгресс признать, что многие ветераны войны страдали от неудовлетворенных потребностей. Однако прежде осуществления каких-либо фактических мероприятий следовало преодолеть определенные препятствия, присущие самому предмету поминовения.

Главной задачей Конгресса было продвинуть идею единства, отделив событие от людей, которые в нем участвовали. По словам конгрессмена Гришэма, «у нас по-прежнему остаются разные мнения о нашем участии во Вьетнамской войне, но нас больше не разделяет разное отношение к тем, кто служил во Вьетнаме» (U.S. House of Representatives 1979, p. 12588). Действительно, было время, когда по отношению к ветеранам существовал глубокий раскол мнений. Сам же Гришэм признавал, что по возвращению домой ветеранов клеймили позором, а в лучшем случае просто игнорировали, и не было ни одного торжественного действа, которое подчеркнуло и облагородило бы их жертву. Об этом знали и большинство других конгрессменов, желавших повысить статус ветерана. Превращая солдата-«вьетнамца» из «опасного (ugly) американца» в патриота, который не по своей вине оказался проводником

политики избранных нацией лидеров, Конгресс пытался создать некий позитивный образ, который смогли бы принять все американцы.

Однако даже сама попытка повысить статус ветеранов поднимала неудобные вопросы. Дело в том, что конгрессмены, тем самым, открыто признавали, что в вооруженных силах были непропорционально высоко представлены малообеспеченные меньшинства и что травма войны оказалась для них более тяжкой и экономически, и психологически, чем если бы армия состояла из представителей среднего класса. Этому признанию соответствовал и неприглядный образ солдата, вернувшегося домой. Конгрессмены оставили без внимания преступления, согласно имеющемуся мнению, совершенные американскими солдатами во Вьетнаме, однако они публично признали, что «25% заключенных в исправительных учреждениях США составляют ветераны Вьетнама», а также признали необходимость в «широких программах излечения от наркотической и алкогольной зависимости и в программах реабилитации». Кроме того, была упомянута потребность в семейном консультировании: «Среди тех ветеранов, кто был женат до отправки во Вьетнам, почти 40% развелись в течение шести месяцев по возвращению» (U.S. House of Representatives 1979, p. 12589, 12593, 12584, подробности см. в: Johnson 1976, 1980; U.S. House Committee on Veterans' Affairs 1981). Социальную маргинальность ветеранов признал и конгрессмен Микульски в своей просьбе к правительству «ответственно относиться к тем неординарным проблемам, с которыми они сталкиваются,… тем самым они более успешно смогут занять место в обществе». Конгрессмен Миква также говорил, что существующих ветеранских программ, по его мнению, недостаточно: «Это символическое признание их заслуг перед нашей страной должно опираться на… образовательные и реабилитационные программы в соответствии с их специфическими нуждами» (U.S. House of Representatives 1979, p. 12589, 12588). Как и в других выступлениях, в этой речи подчеркиваются неприглядные стороны жизни ветеранов, что отражает стремление общества к их моральному возрождению.

Именно последний аспект дискуссии в Конгрессе вскрывает более глубинные уровни текста статьи о ветеранах, опубликованной в «Ведомостях Конгресса», – текста, который и знаменует переходный момент в официальной оценке ветеранов Вьетнама, и является его составной частью. Наше прочтение этого текста содержит некую долю сомнения по поводу описанного там психологического и морального состояния ветеранов. Если обращать внимание только на упоминания ветеранов в негативном контексте – их проблемы с занятостью, физические и психологические проблемы, их ощущение отчуждения, склонность к наркотикам и криминалу, то становится очевидным, что в дискурсе конгрессменов доминирует стилистика, более соответствующая описанию социальных девиантов, а не солдат, вернувшихся с войны. Причем этот дискурс тем более оскорбителен и, по-видимому, тем более откровенен, что он исходит от лица людей, которые сами были действующими лицами, если не архитекторами первого военного поражения Соединенных Штатов.

В ходе этой дискуссии ее участники ни разу не демонстрировали желания увековечить героическую сторону Вьетнамской войны. Они считали, что подходящим способом выразить память о войне могут стать неделя ветеранов Вьетнама и программы реабилитации ветеранов. Иными словами, ключевой составляющей их мемориального проекта стала нескрываемая утилитарность.

Инициаторы и попечители (entrepreneurs and sponsors)

Отрицательная характеристика ветеранов Вьетнама могла фактически уничтожить идею их позитивного признания, если бы последняя не предполагала создания памятника, в большей степени обращенного к мертвым, чем к живым. Пока пресловутый кружок конгрессменов работал над законодательными оформлением своих инициатив, бывший армейский капрал Ян Скраггс, выходец из рабочей семьи, независимо от них предпринял собственный

план действий. Как уже было отмечено выше, одной из ключевых идей недели ветеранов Вьетнама было отделение солдата от его дела, – именно этот момент Скраггс и стремился выразить публично. Первоначально его идея привлекала мало внимания, однако по своей значимости для осуществления задачи поминовения она превзошла проект недели ветеранов Вьетнама. Скраггс предложил построить мемориал, посвященный всем, кто служил во Вьетнаме, и начертать на нем имена всех погибших в войне. Этот проект предлагал иное жанровое решение проблемы поминовения, нежели предшествующее. Его отличие заключалось в сочетании традиционного каменного монумента жертвам войны с радикальной идеей воздержаться от превращения погибших в сколько-нибудь значимый символ национальной чести и славы. Вместо этого монумент должен был содержать список 58 тысяч погибших солдат. 28 мая 1979 года Скраггс объявил о создании Мемориального фонда ветеранов Вьетнама для сбора средств на постройку монумента.

Сбор денег на постройку мемориала не следовал автоматически из желания его строить. Для начала было необходимо преодолеть не только оппозицию противников Вьетнамской войны, чье мнение по-прежнему имело вес,[7] но и, что более важно, ощущение неопределенности в обществе, прежде всего относительно того, как будет выглядеть монумент и что он будет выражать. Все эти подозрения и неопределенности отпали, когда исходная организующая идея мемориала – «Почтим солдата, а не войну» – была в очередной раз подтверждена самим фактом выбора попечителей проекта. Последние имели очевидные и масштабные расхождения по многим политическим вопросам, но их объединяло желание почтить память ветеранов Вьетнама. Среди главных попечителей были такие известные лица[j], как президент Национальной городской лиги Вернон Джордан, национальный президент Объединенной лиги латиноамериканских граждан Рубен Бонилья, актриса Кэрл Бёрнетт, игравшая мать погибшего солдата в телевизионной драме «Дружеский огонь», первые леди Розалин Картер и Бетти Форд, президент университета Нотр-Дам о. Теодор Хесбург, Боб Хоуп, Роки Блэйр – «вьетнамский ветеран, снова ставший звездой в составе «Питтсбург Стилерз»», президент «Цитадели» и бывший военнопленный адмирал Джеймс Б. Стокдейл. Эти лица представляли различные группы общества: чернокожих, испаноязычных американцев, женщин; среди них были религиозные и академические фигуры, звезды шоу-бизнеса и спортивные знаменитости, а также военные. При поддержке этой лишенной противоречий попечительской коалиции была быстро собрана сумма, достаточная для оплаты работ по проектированию и сооружению монумента. Наконец, 4 июля 1980 года, через несколько дней после провозглашения Недели ветеранов Вьетнама, президент Картер подписал совместную резолюцию, согласно которой для сооружения мемориала было выделено два акра земли на территории Парка Конституции, между мемориалами Вашингтона и Линкольна.

Несмотря на то, что планы Скраггса быстро претворялись в жизнь, неоднозначный образ вьетнамских ветеранов снова всплыл на поверхность, на сей раз в СМИ – правда, в отличие от дебатов в Конгрессе, всплыл косвенным образом, поэтому в данном случае требова-

[7] «Не будем увековечивать память столь бесчестных событий [Вьетнамской войны] созданием им памятника», писал Яну Скраггсу бывший антивоенный активист. По мнению Скраггса, нет ничего необычного в том, что «главным источником потенциальной оппозиции» сооружению мемориала ветеранам было «антивоенное движение» (*National Geographic*, май 1985 года, p. 558). С точки зрения его участников, поминовение солдата Вьетнамской войны было бы оскорблением подлинных героев. Как выразился другой оппонент, «лесть в адрес ветеранов Вьетнама, этих «забытых героев», – это плевок в лица миллионов в этой стране, кто противостоял войне» (*Hess* 1983, p. 126). Все это было высказано в ходе создания Мемориала; антивоенные голоса раздались вновь, когда Комиссия по искусствам проводила слушания по вопросу о включении в мемориальный ансамбль скульптуры, изображающей трех солдат. Почему бы не стремиться к «буквальному воплощению» роли Америки во Вьетнаме? – вопрошал один из участников дискуссии. Памятные образы этой войны, продолжил он свою речь, – это не геройские военные подвиги, а обнаженный ребенок, бегущий прочь из горящей деревни, офицер армии Южного Вьетнама, стреляющий в голову безоружному партизану, и расстрел солдатами Национальной гвардии студентов в Кент Стейт[k].

лось читать между строк. Теперь предметом изображения оказался сам Скраггс. Различные мнения по поводу предложенного Скраггсом весной 1979 года «монумента вдохновения» выявили разные представления о вьетнамских ветеранах, но при этом разнобой мнений продемонстрировал, какого рода «идейных вдохновителей» желали поддерживать попечительские организации. Для последних достоинства самого предложенного проекта мемориала стали поводом для доверия к человеку, который его пропагандировал.

Случай Яна Скраггса

Большинство высказываний о Яне Скраггсе и его деятельности по созданию монумента начинались примерно так: «Спустя десять лет после того, как он был тяжело ранен вражеской гранатой…» Тот факт, что Скраггс был признан именно пострадавшим ветераном, чрезвычайно важен. Полученные ранения в целом играют значительную роль в дискурсе, связанном с ветеранами Вьетнама и Мемориалом. Неустранимость того факта, что Скраггс был ранен, означает, что он воспринимался как человек, который мог авторитетно говорить о нуждах ветеранов. В данном случае раны – это знаки легитимации, а тело ветерана выступает доказательством самого непосредственного (inti-mate) опыта войны, опыта храбрости и человечности. Раны Скраггса делают этого человека своего рода обобщенным образом ветеранов, коллективным представлением их собственной правды. В конечном итоге характеристика Скраггса как, в первую очередь, пострадавшего ветерана, отсылает к традиционному представлению о герое войны, а вместе с ним и традиционное представление о военном мемориале получает бóльшую убедительность в применении к Вьетнамской войне.

Раны Скраггса резонируют с негативным образом типичного ветерана Вьетнама и способствуют его преодолению. Искупление, прежде всего, требовалось тем ветеранам, которые в буквальном смысле умерли от ран, и именно их имена первыми появятся на стене мемориала. Напротив, наименее вероятными кандидатами на почтение памяти оказываются те, кому удалось выйти из войны невредимым. При этом Ян Скраггс – ветеран, в чьем теле осталось одиннадцать осколков гранаты, – выступает идеальным посредником между живыми и мертвыми, поскольку у него есть общее и с теми, и с другими. Он принял страдания как участник несправедливой войны, но выжил, чтобы почтить память своих товарищей.

После того как стало известно о боевых ранениях Скраггса, сюжет с его идеей о создании мемориала распадается на три разные линии, причем не имеет значения, насколько они достоверны и совместимы друг с другом. Важно, наоборот, то, что все они формируют образ, объединявший помыслы сторонников создания мемориала, который они могли использовать в борьбе как с собственными сомнениями, так и оппонентами проекта. Основная сюжетная линия такова: идея мемориала возникла у Скраггса после того, как однажды он посмотрел фильм «Охотник на оленей»[1] (см., например, *Time* от 14 июля 1980 года, p. 23). Здесь Скраггс выступает как человек, вдохновленный художественным изображением войны, в которой он сам принимал участие. Более ранние фильмы изображали отчуждение, рождаемое войной, а в «Охотнике на оленей», напротив, было показано, как обычный человек, несмотря на личную трагедию, сохраняет преданность своей стране и тем самым утверждает свое право на ответное восхищение страны перед ним.

Согласно второй версии, на решение Скраггса повлияла работа Роберта Джея Лифтона о «синдроме отложенного стресса», которую Скраггс прочел до просмотра фильма (*Esquire*, сентябрь 1985, p. 64). В данном случае инициатор монумента черпает вдохновение не только из произведения массовой культуры, но и из науки. Такое изложение представляется вполне реальным, однако его содержание возвращает нас к прежним сомнениям, поскольку книга, которую Скраггс использует в качестве объяснения, обращена к проблемам адаптации, пережитым многими ветеранами: галлюцинации, безработица, злоупотребление наркотиками и насилие. Тем не менее, изложенная в этой книге трактовка создает новый образ ветерана,

смягчающий его моральные недостатки превращением их в проблемы медицинского и психологического характера.

Наконец, вот последняя аллегория вдохновения: якобы идея мемориала пришла в голову Скраггсу, когда тот «потягивал (nursing) бутылку бурбона» в раздумьях о фильме «Охотник на оленей» (*U.S. News and World Report*, 22 ноября 1982). Эта сцена одиночества и уединения демонстрирует, что просмотр фильма и даже чтение книги вовсе не такой уединенный процесс, как может показаться на первый взгляд. Здесь также возникает тема алкоголя – одна из нескольких проблем, по всеобщему убеждению, поразившая ветеранов Вьетнама. Если бы не было известно, что после возвращения с войны Скраггс выгодно устроился в Министерстве труда, то образ «потягивания» был бы знаком отчаяния, однако сам факт, что в бутылке находился бурбон – напиток преуспевающих людей, свидетельствует о личной стабильности в жизни Скраггса. В то время как во многих публикациях его рассматривают как бывшего «рядового» (“grunt”) (т.е. срочнослужащего, как и большинство социальных жертв Вьетнамской войны), в данном эпизоде Скраггс предстает как человек, успешно вернувшийся к гражданской жизни.

Перечисленные характеристики в своем наиболее последовательном виде формируют образ, появляющийся в тот самый момент, когда Скраггс становится публичной фигурой. У представителей масс-медиа он изначально вызывал симпатии, а для Конгресса Скраггс выступал показательным персонажем – символом упорного труда и законопослушания ветеранов. Телефильм 1987 года «Исцелить нацию», основанный на одноименной книге Скраггса, демонстрирует, что и сегодня подобное восприятие его личности остается столь же актуальным, что и десять лет назад. В этом фильме Скраггс и Мемориал ставятся на одну доску: Скраггс оказывается таким же многозначным воплощением мемориала, каким был и тогда. Признавая, что Вьетнамской войне никогда не будет оправдания, он обращается к тем, кто был ее противником. Как участник войны, знающий мысли и слова своих товарищей о ней, Скраггс взывает также и к ветеранам и их сторонникам. Образ Скраггса выступает средством не предотвращения или завершения споров о Мемориале, но его средством осмысления. Именно в этом отношении можно говорить о том, что Скраггс заручился поддержкой людей различных и даже противостоящих взглядов. Не столь привлекательный человек не смог бы с таким успехом превратить в капитал чувство долга Конгресса перед ветеранами.

Сторонники проекта в Конгрессе подчеркивали в проекте Скраггса как раз искупительный момент, а именно то, что Мемориал является воплощением признательности – единственной монеты, которой можно оплатить моральный долг. Одобряя резолюцию Конгресса, президент Картер выразил уверенность, что формальное почтение ветеранов также станет шагом к исцелению разделенной войной нации. Именно поэтому руководители фонда Мемориала последовательно избегали политических заявлений как в процессе сбора средств, так и в ходе рассмотрения проекта. Единогласная поддержка Сената и существенное содействие Палаты Представителей были основаны на том же принципе: мемориал не имеет отношения к войне – лишь к людям, которые в ней сражались. Политический нейтралитет был условием поддержки и со стороны таких попечительских организаций, как Ассоциация офицеров запаса, Организация ветеранов заграничных кампаний, Лига морской пехоты, Ассоциация отставных офицеров и Клуб американских матерей золотой звезды[m]. Эти организации получили заверение Скраггса, что мемориал «станет символом нашего национального единства и местом единения всех американцев, независимо от их точки зрения на Вьетнам» (U.S. House of Representatives 1980, p. 408). Даже название памятника фактически лишено противоречий: это будет «мемориал ветеранов», а не «мемориал войны». Тем же самым принципом руководствовались федеральные ведомства, ответственные за утверждение окончательного проекта и определение места размещения мемориала, в частности Комиссия по искусствам и Министерство внутренних дел.

Таким образом, аполитичный мемориал был поддержан столь же аполитичным составом попечителей. Для мемориалов, посвященных «народным» войнам, конкретный состав участников группы поддержки не столь важен, поскольку в этом случае в обществе уже существует консенсус относительно объекта поминовения. В случае с Мемориалом ветеранов Вьетнама градус политической поддержки был понижен как раз потому, что политический консенсус относительно Вьетнамской войны был минимален. Решение проблемы жанра, предложенное Скраггсом, не было осуществимо до тех пор, пока оно не получило поддержки достаточно широкого политического спектра, чтобы данное решение стало заслуживающим доверия – или, по крайней мере, такое складывалось впечатление.

Оригинальный проект и его пересмотр (vision and Revision)**: от чистого жанра к смешанному**

Восстанавливая контекст и ход процесса, из которого возник Мемориал ветеранов Вьетнама, мы приходим к пониманию того, что монумент является не отрицанием политических смыслов, но чем-то вроде *coincidentia oppositorum* [совпадения противоположностей], – объектом, который сводит противоположные смыслы воедино, но не разрешает противоречие между ними. В данном случае первое и главное, что следует подчеркнуть, – это неспособность нации достичь согласия относительно целей и последствий Вьетнамской войны. Соответственно, отсюда вытекает «жанровая проблема»: как создать такой мемориал, который символизировал бы личные достоинства ветеранов, при этом, не имея отношения к самой войне.[8] Поскольку данный критерий лег в основу отношения Конгресса к вьетнамским ветеранам – отношения, сочетавшего раздражение по поводу их моральных недостатков (криминал, наркотики и алкоголь) с благодарностью за их жертвы, это вызвало у правительства затруднения с определением существенных особенностей облика мемориала. Последнее было необходимо для приглашения к участию в работе по созданию мемориала деятелей искусства, которые могли бы предложить собственные проекты. С учетом двойственного отношения и к самой войне, и к ее участникам техническое задание могло способствовать тому, что облик мемориала окажется слабым и приглушенным. Поэтому в адресованном председателю подкомитета парков Дэйлу Бамперсу официальном письме об объявлении конкурса проектов чиновник Министерства внутренних дел Билл Уэйлен дал следующее пояснение: «Данный мемориал имеет большую значимость и призван увековечить не отдельную личность или событие, но, скорее, десятилетний период нашей национальной истории, и предполагает пространственные решения, в которых акцентируется в большей степени горизонтальная, нежели вертикальная составляющая. Поэтому мы согласны с имеющимся заключением, что предпочтительным местом для монумента является Парк Конституции» (U.S. Senate 1980, p. 9434). Уэйлен однозначно рассматривает мемориал как значимый и достопримечательный объект, но при этом понимает, какого рода проблема в любом случае будет заключаться в композиции монумента, призванного почтить память этого «десятилетнего периода»: при всей своей значимости мемориал не может быть огромным, вертикальным и героическим – напротив, как и любое «пространственное решение», он должен держаться земли, должен быть скромным, горизонтальным и не содержать героических мотивов.

Проект мемориала, выбранный Комиссией по искусствам из более чем поданных 1 400 заявок, действительно оказался самым простым и наименее грандиозным: две голые черные стены, каждая длиной примерно 75 футов, состоящие из 70 гранитных панелей, которые набирают высоту от нескольких дюймов в начале каждой стены до 10 футов в точке их схождения под углом 125 градусов. Несмотря на то, что такой угол ставит две стены в один ряд с Мемориалом Линкольна и памятником Вашингтону, сами стены расположены ниже уровня

[8] О монументальном решении Альбрехтом Дюрером противоположной проблемы – как почтить величие самого дела безотносительно к его участникам – см. в: Greenblatt (1983).

земли и остаются невидимыми с любой точки обзора в пределах Национального парка[n] или по соседству. Таким образом, Вьетнамская война определяется как событие национального масштаба, однако пространственное решение Мемориала исключает ее из контекста других событий, в честь которых установлены близлежащие монументы. Это ощущение обособленности дополняется внутренней структурой Мемориала, которая задает для его посетителей отдельный пространственно-временной континуум (warp). Двигаясь от края стены к точке, где она встречается с другой стеной, вы ощущаете надвигающееся на вас пространство и круговое движение времени, поскольку имена 57 939 погибших появляются в хронологическом порядке в соответствии с датами их смерти, так что первые и последние жертвы войны встречаются в точке схождения двух стен.

Комиссия по искусствам отдала единогласное предпочтение этому проекту. Что же касается обычных людей, то на каждого из сторонников этого выбора, похоже, нашелся бы тот, кто с гневом его отвергал. Те, кто разделял авторское понимание задач монумента, были убеждены, что эти задачи достигнуты. Автор проекта, скульптор Майя Ин Лин заявила, что ее произведение не содержит какого-то особенного политического послания, но пробуждает разнообразные «чувства, мысли и эмоции» приватного характера: «Все, что зритель здесь видит или не видит, – это его собственная проекция».[9] Ян Скраггс пришел к такому же выводу: «Мемориал абсолютно ни о чем не говорит – именно так мы и хотели сказать о Вьетнаме». В самом деле, в исходном варианте проекта слово Вьетнам даже не фигурировало – фаза, поясняющая, что имена, высеченные на стене, – это имена погибших солдат, и тем самым указывающая на конкретную войну, была добавлена позже. Один из членов конкурсного жюри, впечатленный подобным минималистичным решением задачи поминовения погибших, сказал, что оно «внушает благоговение», другой назвал его «простым решением для нашего бестолкового века», третий отметил, что «от его мощи никуда не деться». Бывший посол в Южном Вьетнаме Эллсуорт Банкер назвал проект монумента «выдающимся и подобающим знаком уважения». «Нью-Йорк Таймс» также приветствовала «достоинство и строгость проекта». «Похоже, что проект уловил все те ощущения двусмысленности и боли, которые связаны с Вьетнамской войной, и содержит в себе единственное утверждение, с которым могут согласиться все: память погибших просто должна быть почтена» (Hess 1983, p. 1235; Scruggs and Swerdlow 1985, pp. 63, 68, 69, 97; *New York Times*, 18 мая 1981 года).

Сложно сказать, почему проект Майи Лин привел в восторг его сторонников: то ли из-за того, что это был действительно новый подход к созданию военного мемориала, то ли потому, что это не был военный мемориал вовсе. Напротив, клевреты часто сравнивали проект Лин с традиционными военными монументами, выдвигая на первый план противостояние двух мемориальных (commemorative) стилей: героического, который обычно ассоциируется со справедливыми и выигранными войнами, и, так сказать, антигероического, появившегося недавно для эстетичного (tasteful) почтения тех, кто пал в бессмысленных и отнюдь не справедливых войнах. При этом большинство ветеранов считали Вьетнамскую войну чем-то благородным, если не полезным, деянием, и с их точки зрения Комиссия по искусствам зашла слишком далеко. Один из ветеранов, входивший в мемориальный фонд, заявил, что проект, которому отдала предпочтение комиссия, – «это самый оскорбительный мемориал, лишающий смысла все, что мы пережили,… унизительная дрянь». И вот его же комментарий по поводу цвета: «Во всем мире для любого общества, для любой расы черный – это цвет позора,

[9] Интерпретация Питера Эренхауса неотступно следует за замыслом автора: «Мемориал ветеранов Вьетнама намеренно отказывается от традиционной роли выступать в качестве выразителя официального общественного мнения, объясняющего смысл событий прошлого, убеждающего нас в том, что эти смерти не были бессмысленны, и символизирующего мужество и жертвенность… Мемориал предпочитает молчание «слову» (speech) – традиционной символической изобразительной форме. Свободу и ответственность суждения о том, каков смысл этих событий прошлого, был ли смысл в гибели этих людей, много ли достоинства в жертвенности и как нам следует относиться к собственным политическим институтам – все это монумент отдает на наше же усмотрение» (Ehrenhaus 1988, p. 55).

скорби и деградации». Другой несогласный с решением комиссии член фонда утверждал, что расположение монумента ниже уровня почвы является признанием американских преступлений во Вьетнаме (в данном случае перед нами продолжение криминальной темы, сопровождавшей дискуссии о ветеранах в Конгрессе). Конструкция с двумя стенами получила из его уст обвинения в том, что она напоминает «писсуар», что она станет «стеной плача для противников воинского призыва», «данью уважения Джейн Фонде»[o], «извращенной шуткой», которая собьет с толку основную массу публики. Еще один противник проекта, оказавшийся крупнейшим финансовым спонсором Мемориала, назвал решение комиссии «плевком в лицо», «надгробным камнем», «неким жестом в адрес Нью-Йоркских интеллектуалов», то есть произведением искусства XXI века, которое оценят единицы. Хуже того, предложенный порядок расположения имен погибших представляет собой «случайный разброс», который лишь приведет в замешательство близких погибших. Другие оппоненты, в том числе редакция «Нэшнл Ревю», критиковали саму идею использования имен: поскольку Мемориал делает акцент на людях, а не на войне, «гибель в бою оказывается скорее частным делом, а не лептой в коллективном жертвоприношении».[10] (Hess 1983, pp. 122-5; Scruggs and Swerdlow 1985, pp. 68, 71, 82-83).

Противостояние проекту мемориала в виде стены выразилось и в нападках на такие детали, как его цветовое решение, форма и расположение, но в основе всех этих частных возражений лежало пренебрежительное отношение к самому предложенному стилю. Многие были уверены, что этот стиль грубо нарушает границы военно-мемориального жанра. Этот намеренно аполитичный мемориал поражал критиков отсутствием патриотизма и героизма, выдвигая образы и войны, и солдата, которые шли в разрез с представлениями многих американцев. Последние, как сказал Ян Скраггс, «хотели бы, чтобы мемориал сделал из Вьетнама то, чем тот в действительности никогда не был: справедливой, светлой и славной войной, в которой была необходимость и которую нация поддерживала как один человек». Один из главных противников проекта признал, что нация не сохранила добрую память о Вьетнамской войне, однако он был уверен, что «историю можно подвергнуть переоценке», а «произведение искусства остается свидетельством о конкретном историческом эпизоде, поэтому на нас возложено торжественное обязательство зафиксировать этот момент как можно более корректно» (цит. по: Scruggs and Swerdlow 1985, p. 94).

Большинство оппонентов были уверены, что лишь «настоящий» памятник может стать адекватным воплощением памяти о Вьетнамской войне, однако, поскольку такой памятник не мог появиться по политическим причинам, возникла идея неких дополнений к уже имеющейся композиции, которые компенсировали бы запечатленное в ней «национальное унижение». В результате был достигнут компромисс. Две новые детали – американский флаг и рядом с ними выполненная в реалистической манере скульптура трех возвращающихся с задания солдат (белого, чернокожего и испаноамериканца), пристально смотрящих в сторону имен на стене, – две эти детали, как считалось, приблизят исходный проект к традиционному жанру и придадут памятнику большее сходство с настоящим военным мемориалом.

Опрос, проведенный после церемонии открытия Мемориала,[11] показал, что более 90% вьетнамских ветеранов и 75% остальной публики, приветствовали бы включение в композицию памятника национального флага, хотя мотивация респондентов могла быть разной. По

[10] Благосклонный отзыв о Мемориале, как об антивоенном символе, см. в: Foss (1986).

[11] Данный почтовый опрос охватил 888 человек, в том числе 530 ветеранов Вьетнама, 96 членов их семей, 89 современников Вьетнамской войны и 140 прочих лиц. Несмотря на утверждение автора исследования, что число респондентов «гораздо больше, чем необходимо для статистической достоверности», он предпочитает умалчивать о том, сколько людей осталось не охвачено опросом. Автор был твердо убежден в необходимости включить флаг и скульптуру в конструкцию Мемориала, и это определило его мотивацию в ходе проведения исследования. При этом автор заявляет, что каждый этап работы – от формулировки вопросов до анализа ответов – был выполнен тщательным образом, в том числе при участии «выдающихся экспертов в области анкетных исследований» (U.S. House of Representatives 1982, pp. E5108-9).

меньшей мере, 85% опрошенных из каждой группы (ветераны Вьетнама, члены их семей, современники Вьетнамской войны, ветераны других войн, прочие лица) одобряли установку на территории Мемориала флага и скульптурной группы. Кроме того, бóльшая часть опрошенных из каждой группы (от 85% среди ветеранов Вьетнама до 56% среди прочих лиц) хотели бы, чтобы Мемориал содержал надпись с указанием о том, для чего велась эта война. Именно ветераны Вьетнама демонстрировали наибольшее стремление к перечисленным изменениям его композиции, если, конечно, это стремление можно связывать с их реакцией на само художественное решение в виде стены. Лишь треть ветеранов сообщили о том, что проект произвел на них благоприятное впечатление, – для сравнения, среди неветеранов таковых оказалось три четверти. Ветераны утверждали, что добавление флага и скульптуры придаст Мемориалу то, чего они не могли найти в одной лишь стене, а именно уверенность в том, что служение своей стране и смерть за нее неотъемлемо сопряжены с величием. Битва, смерть, нация – вот три концепта, которые многие хотели бы видеть сведёнными воедино (U.S. House of Representatives 1982, p. 5107-8).

Эти неприкрыто националистические идеи встретили сильное сопротивление Комиссии по искусствам, однако министр внутренних дел Джеймс Уотт, движимый повсеместной поддержкой данных начинаний, поставил их принятие условием, при котором он лично одобрит выбранное для Мемориала место. Поэтому к середине 1983 года на территории Мемориала был установлен флаг, а в День ветеранов 1984 года, через два года после церемонии открытия, была открыта и скульптурная группа.

Похоже, что новая конфигурация заставила президента-консерватора и его администрацию отнестись к Мемориалу более благосклонно. В 1982 году президент Рейган отправил вместо себя на церемонию открытия некоего малоизвестного чиновника – это его решение могли предопределить отголоски антивоенного протеста 1960-х годов, которые слышались в зачитывании имен погибших в преддверии открытия Мемориала. На открытии же скульптурной группы в 1984 году президент сам руководил церемонией, а еще спустя несколько дней Вооруженные силы наконец приняли решение, что пора бы добавить останки погибшего во Вьетнаме американца к Могиле неизвестного солдата. Тем самым погибшие во Вьетнамской войне была канонизированы и включены в воинское наследие нации – соответственно, дело, за которое они воевали, получило более высокий статус. Тем не менее, непопулярность и плачевные итоги Вьетнамской войны определили тот предел, дальше которого ее поминовение не могло продвинуться в данном, традиционном направлении.

Место флагов и скульптур в символике проигранной войны

Сочетание флага, скульптуры и испещренной именами стены отражало глубокие разногласия относительно того, как следует вспоминать о Вьетнамской войне, – разногласия, выразившиеся в виде четкой бинарной оппозиции. Считалось, что стена возвышает участников войны, игнорируя при этом саму войну, – флаг и скульптура же превозносит нацию и ее деяния над их участниками. Однако особенности этих двух смысловых моделей и их отношения между собой оказались более сложными, нежели кто-либо мог предположить.

Общественная дискуссия по поводу флага и скульптуры обнажила глубинные страхи, вызванные первоначальным проектом Мемориала. Первым из этих страхов были опасения, связанные с маскулинностью и ее выражением в конструкции монумента. По традиции маскулинность связана с героизмом и силой, однако в нашем случае эта связь ослаблена фактором военного поражения. Данная особенность редко обсуждалась, если на нее когда-либо вообще обращали внимание, однако она продемонстрировала личные качества автора Мемориала, его отношение к войне и отражение этого отношения в созданном им произведении, а также в представлениях о войне и ее участниках как сторонников, так и противников Мемориала.

Майя Ин Лин была юной студенткой Йельского университета, когда ее проект победил в конкурсе. Однако в публичных высказываниях о своем проекте Лин умела ясно выражать свои мысли и понимала, каким образом ее произведение воплотило ее замысел, который полностью совпадал с представлениями Комиссии по искусствам. В интервью для журнала «Искусство в Америке» на вопрос, думала ли она о присутствии в композиции Мемориала женского типа чувствительности, Лин ответила, что «среди огромного количества фаллических мемориалов, который вздымаются вверх, мой проект, безусловно, имел женственные черты. Я не собиралась завоевывать мир или подчинять его своей власти, как это обычно желает человек Запада. При этом я не думаю, что у меня получился памятник недеянию (passive), но и памятником идее войны его не назовешь» (Hess 1983, p. 121). Лин указывает, что ее проект отличается от «маскулинных» мемориалов преобладанием горизонтальной проекции и отказом от доминирования над окружающим пространством. Однако такое расположение не ассоциируется у автора с пассивностью или слабостью – напротив, по мнению Лин, это лишь иное представление о силе. Но нельзя ли заподозрить здесь намеренное противоречие? Действительно ли это адекватный символический ряд для поминовения чего-либо связанного с войной? Не является ли война в конечном итоге, всегда и везде, проявления маскулинной силы, которая ассоциируется с завоеванием и доминированием?

Говоря о солдатском чувстве взаимной ответственности, Джон Уилер, ветеран и один из организаторов проекта мемориала, писал: «Я приверженец утверждения о том, что на свете существуют вещи, за которые стоит умирать. Это мужская (masculine) точка зрения. Именно поэтому войну надо считать мужским делом» (Wheeler, 1984, p. 140). Очевидно, что вопрос о маскулинности и ее смысле витал в воздухе, но специфическая природа Вьетнамской войны делала его все более запутанным. Однако сама постановка данного вопроса имела значительное воздействие на решение проблемы жанра Мемориала ветеранов Вьетнама.

Строго семиотическое прочтение образа стены выносит на первый план его «феминность». По своей природе стена есть нечто открытое и в своем стремлении охватить зрителя напоминает утробу. Зритель также видит свое отражение в стене, что вызывает в нем определенный род эмпатии – черты, которая традиционно более присуща женщинам, чем мужчинам. Что же тогда в этом мемориале остается от войны – архетипически маскулинного дела? Если противники первоначального проекта задавались этим вопросом, то не ставили его напрямую, – уклонение от этого вопроса и его вытеснение было их бессознательной стратегией. Вместо того чтобы поднять вопрос об угрозе маскулинности со стороны феминных форм, оппоненты свели проблему к черному цвету монумента, его расположению ниже уровня почвы, к тому, что он внушает чувство слабости и стыда, а не гордости и силы.[12] Соответственно, критики Майи Лин составили список требований, удовлетворение которых, по их мнению, выведет монумент из подземного царства тьмы в высшие чертоги небесного света. Они хотели заменить черный гранит на белый, поднять стены на поверхность земли; им был нужен флаг – тем самым национальная гордость была бы восстановлена, а вместе с ней утвердилась бы и маскулинность (или, по выражению Майи Лин, «фалличность»), найдя свое патриотическое воплощение в национальной символике.

Кроме того, решение воздвигнуть (“erect”) скульптуру было призвано уравновесить «сооружение» (establishment) стены. Ранее при пересмотре формулировки объединенной резолюции, санкционирующей создание фонда Мемориала ветеранов Вьетнама, Конгресс отвернулся от бессознательного признания маскулинности: в первоначальном варианте резолюции содержалось выражение «воздвигнуть мемориал», которое было заменено на «соорудить мемориал» (U.S. Senate 1980, p. 9433). Однако, как только было принято решение об установке на территории Мемориала скульптуры авторства Фредерика Харта, это означало

[12] Данные особенности мемориала были рассмотрены по меньшей мере одним из представителей символической антропологии как восходящие к автохтонным (феминным), а не культурным (маскулинным) истокам (Ortner 1974, см. также: Jeffords 1988).

публичное признание прав маскулинности в создании собирательного образа ветерана. Сам скульптор определенно видел свою задачу именно в этом. Проводя детальное сравнение своего произведения и работы Майи Лин, Харт высказал притязание на особое понимание этого образа, поскольку он изучал ветеранов на протяжении трех лет. В связи с этим он поставил на службу своему ремеслу одну из маскулинных традиций нашего общества: «Я близко сдружился с многими ветеранами, выпивая с ними в барах». И если подобный опыт считать непосредственным преимуществом художника, то «произведение Лин оказывается уединенным упражнением в современном искусстве, созданным в изоляции, без знания предмета» (Hess 1983, p. 124). Но как могла молодая женщина, студентка университета, да и любая женщина вообще, знать этот предмет? В самом деле, в журнале «Тайм» скульптуре дана такая оценка: три солдата «внушают ощущение безмолвного товарищества, которое куется лишь в битве», а по утверждению Уилера, в нашем обществе только мужчины могут осознать именно такое «товарищество».

Даже если допустить справедливость последнего притязания, то раздраженные отзывы оппонентов Мемориала имели, как уже было сказано, иное основание: факт поражения в войне. Мало что угрожает традиционным представлениям о мужестве больше, чем проигранная битва, поэтому символическая нагрузка на любой мемориал, призванный возвысить потерпевших поражение, действительно должна быть крайне высокой. Как выразился один военный чиновник, «зачем строить памятник проигравшим?» (*National Geographic*, май 1985, p. 558). Если же не обращать внимания на поражение и на проигравших, подчеркивая вместо этого возвышенные достоинства их деяния, тогда, возможно, ничья маскулинность не окажется под угрозой. Однако фактор военного поражения все же невозможно игнорировать, поэтому флаг и скульптура могут быть истолкованы в качестве паллиативных мер во избежание сомнений в стойкости американских бойцов. Похоже, именно поэтому наличие скульптуры оказалось столь важным для критиков проекта Майи Лин: скульптура переносила внимание зрителя с конкретных людей, которые сражались и проиграли войну, на родовое и не имеющее временных рамок явление – солдатский героизм. Идея была изящна, но неубедительна: ее авторы не убедили даже самих себя.

Рассмотрим более пристально эту скульптурную композицию зеленовато-золотого цвета, изображающую трех солдат. Бойцы, облаченные в детально изображенную износившуюся форму, похоже, потеряли дорогу и смотрят в сторону мемориальной стены. Оружие бесцельно свисает с опущенных плеч двоих солдат и лежит за спиной у третьего. Иными словами, здесь перед нами тот самый реализм, которого желали критики абстрактного образа стены. Вот она жизнь, в отличие от стены, символизирующей смерть, – но это жизнь, полная истощения и замешательства. Это люди на войне, но не в сам момент войны. Кроме того, фигуры солдат стоят на весьма скромном пьедестале, поэтому зритель даже в переносном смысле не может смотреть на них снизу вверх – напротив, он видит фигуры солдат, практически не поднимая глаз. Поэтому скульптура не имеет героического вида.

Если рассматривать мемориальный комплекс в целом, то перед нами оказывается гораздо более масштабная модель суждения и оценки. Стена была воплощением спорного суждения: память должна остаться не о самом событии, а о его участниках; оценки же возникли с появлением флага и скульптуры. Однако и они, в свою очередь, не были лишены внутренних противоречий. Скульптура задумывалась как ответное утверждение гордости, героизма и маскулинности, однако в той форме, которую она приняла, все эти вещи выразились весьма умеренно. Флаг кажется безусловно утвердительным жестом, поскольку это единственная часть Мемориала, которая возвышается над зрителем, однако в посвящении, начертанном у его основания, нам видится своего рода шаг назад: «Этот флаг утверждает принципы свободы, за которые сражались [ветераны Вьетнама], и чувство гордости за тех, кто выполнял свой долг в непростых обстоятельствах». В данном случае эвфемизм вполне понятен. Под «непростыми обстоятельствами» следует понимать не мощь врага, а убогость

нашего дела. В связи с этим между тремя составляющими Мемориала оказывается больше сходств, а не различий, несмотря на реалистичность фигур скульптурной композиции и вертикальное доминирование флага. Куда бы мы ни посмотрели, везде мы обнаруживаем двусмысленность самой войны и ее участников.

Несмотря на то, что добавление флага и скульптуры сделало Мемориал ветеранов Вьетнама более похожим на традиционный военный памятник, это лишь усилило противоречия и двусмысленность, которые возникли в результате отхода от традиционного представления о подобных объектах. Стена с перечнем имен – движущая сила, определяющая подобное направление развития жанра, – допускает собственные внутренние оценки, но они оказываются более тонкими, чем оценки двух остальных частей Мемориала, и, возможно, более значимыми в качестве намеков на социологическое значение этого объекта.

Политическое значение имен

Рассуждая о критериях конкурса по созданию проекта Мемориала, Майя Лин соглашается с тем, для чего эти критерии были предназначены. По ее словам, «многие предшествующие мемориалы представляли собой пропагандистские высказывания о победе, об исторических свершениях, о политике, но не о людях, которые боролись и умирали ради этого. У меня было ощущение, что мемориал должен смотреть в глаза правде о войне и должен быть посвящен людям, которые отдали свою жизнь» (*National Geographic*, май 1985, p. 557). Лин также согласна с тем, что такой мемориал должен содержать имя каждого погибшего солдата.

Выборочный список погибших в войнах – хорошо известный мемориальный жанр, широко представленный в виде памятных досок на стенах школ, храмов, зданий городских администраций и в городских общественных местах, устанавливаемых в честь местных героев, павших за общенародное дело. Образцы этого жанра встречаются также и в рамках более крупных мемориальных комплексов, таких как «стены павших» на национальных кладбищах в Гонолулу и Маниле. Однако концепция Лин имеет другую природу. В ее проекте представлен полный список погибших в войне, но этот список не раскрывает содержание монумента, – это не более чем перечень имен, без единого намека, позволяющего соотнести его с конкретным событием. Таким образом, Лин устанавливает максимально возможные рамки военно-мемориаль-ного жанра за всю его историю.

Перечень имен всех без исключения павших солдат безотносительно к войне или названию страны, за которую они сражались, прямо выносит на первый план роль личности. Но лишь только принято решение, что война и государство окажутся в тени конкретных людей, как сразу первоочередной задачей становится воссоздание образа этих людей. Что именно и в какой степени должно быть выражено в этом образе? Точка зрения и основополагающий мотив Майи Лин заключены в том, что ответом на этот вопрос должен быть голый список имен, без упоминания каких-либо различий в воинском звании, принадлежности к конкретному роду войск (армия, флот и проч.) или родины погибшего. Но можно ли утверждать, что уникальность отдельной личности, поглощенная ровным рядом дат смерти, олицетворяет некие ценности американского общества?

Эта невозможность представить в более благородном свете имена павших для многих стала поводом для сожаления. К примеру, «Национальное обозрение» сравнивало имена, выбитые на бесхитростной стене Мемориала, со списков жертв дорожных происшествий (*National Review*, 18 сентября 1981 г., с. 1064). Журнал «США сегодня» констатировал, что «в пределах территории Мемориала не найти ни какого-либо указания, где и зачем погибли эти люди, ни посвященных им флага или любого другого патриотического символа в знак

почтения долга, ради которого были принесены эти жертвы» (*USA Today*, март 1983, с. 70).[13] И все же расположение имен погибших на мемориальной стене чаще воспринимали как характерно американский знак уважения таких ценностей, как плюрализм, эгалитаризм и достоинство личности. Иными словами, сам факт, что американцы способны почтить просто имя, вне зависимости от ранга и, рискнем утверждать, вне зависимости от деяния, скрывает в себе то уважение, которое в американском обществе оказывается личности.

Однако и в этом голом списке имен можно разглядеть иной смысл, который проиллюстрировало описание упомянутой выше ночной мессы в Национальном соборе в журнале «Ньюсуик» (статья перепечатана в «Ридерз Дайджест»). В начале этой статьи предпринята попытка найти примечательные черты в списке имен, которые в противном случае представляли бы собой лишь однообразный и утомительный перечень. Однако это стремление найти нечто особенное основано лишь на одном критерии – этнической неоднородности имен:

«Имена. Хосе К. Браун, Сэй Д. Гью, Гленн Ф. Кэшдоллар, Кенью Шимабукуру, Феймэс Л. Лейн, Витольд Дж. Лещинский, Томас Л. Литтлсан, Сальваторе Дж. Писцителло, Макс Либерман, Савас Эскамилья Тревино, Билли Джо Лоуренс. Чтение имен под готическими сводами Национального собора заняло 56 часов. Ритмичные испанские имена. Непроизносимые польские имена, гортанные немецкие, экзотические африканские, наши англосаксонские. Китайские, полинезийские, индийские и русские имена. Все эти имена проникают глубоко в сердце Америки, и каждое из них хранит память о когда-то принятом решении отдельной семьи вырваться из своей страны и своей культуры, чтобы проверить на себе обещание нашей страны дать новые возможности и лучшую жизнь» [*Newsweek*, 22 ноября 1982 года, p. 82].

В этом фрагменте Америка предстает плавильным горном, однако его содержимое демонстрирует некоторые стереотипы, обычно приписываемые различным нациям: для южноевропейцев характерна ритмика, африканцы экзотичны и т.д. Подобное обращение к стереотипам еще больше препятствует выявлению разнообразия путем подспудного утверждения выступающих наружу признаков некоего класса. Дело в том, что имена, которые автор статьи в «Ньюсуике» использует в качестве примеров, принадлежат к наименее успешным (disadvantaged) в политическом и экономическом отношении группам нашей страны. Даже англосаксонские имена, о которых говорится как о «наших» (homely), больше напоминают о деревенщине (Appalachia), чем о горожанах (Main Street)[p].[14] Тем самым акцент автора статьи на этническом многообразии Америки на более глубоком уровне анализа превращается в карикатурное изображение павших в войне людей из рабочего класса. Поэтому знакомые классовые отношения между богатством и бедностью, силой и безвластием воспроизводятся не только в «Ньюсуике» и «Ридерз Дайджест», но и в самой мемориальной стене.

Отметим также, как склонялось в СМИ имя автора проекта – Майи Ин Лин. Если, согласно стереотипу, все азиаты похожи друг на друга, то и их имена должны быть такими же – в итоге в пяти публикациях престижных изданий имя Лин получает четыре варианта написания: Майя Йин Лин (*Time*, 9 ноября 1981 года), Майя Линг Лин (*Washington Post*, 12 ноября 1984 года), Майя Янг Лин (*National Review*, 11 декабря 1981 года и *New Republic*, декабрь 1982 года), Майя Линг Йин (*U.S. News and World Report*, 22 ноября 1982 года). Столь безответственное отношение к публичному упоминанию имени автора Мемориала вызывает еще

[13] Не так давно Терренс Фокс рассмотрел эту анонимность как триумф «нового коллективизма». Fox 1989, pp. 211.

[14] Вот отрывок из романа Бобби Энн Мэйсон «В деревне»: «Это были сельские парни. Когда вы подойдете к Мемориалу, вы увидите их имена. Держу пари, вы увидите как раз имена сельских парней. Бобби Джин, и Фредди Рэй, и Джимми Боб Колхаун[q]. Я знал парня, которого звали Джимми Боб Колхаун, и его там убили. Посмотрите на эти имена и скажите мне, разве это в основном не имена сельских парней? Парней, тупых как дерево» (Mason 1985, pp. 235-36).

больше сомнений в необходимости уважительного отношения к разнообразию, которое якобы должен утверждать собой монумент.[15]

Каким бы ни было отношение СМИ к автору проекта, сами указания на этническую принадлежность американских солдат, наряду с всеобщими сомнениями в их боеспособности и в самой войне, – все это стало вкладом в угасание повсеместного стремления воздвигнуть героический монумент памяти Вьетнамской войны. Однако этими негативными мотивами едва ли исчерпывается все сказанное о Мемориале и его героях, а еще меньше – те чувства, которые возникали по данному поводу. Все эти остаточные суждения и, что еще более примечательно, все эти чувства трансформировали мемориальную стену в куда более славный военный монумент, чем критики могли себе вообразить, – именно этот монумент сделал неадекватными даже наиболее традиционные версии соответствующего мемориального жанра, с их неуемным утверждением героизма и патриотизма.

Задачи жанра: сакрализация (enshrinement)

Смысл (the meaning) Мемориала ветеранов Вьетнама определяется формами отношения к нему. О некоторых монументах редко говорят, их редко посещают или используют в церемониальных целях. Другие мемориалы, например Могила неизвестного солдата, напротив, часто служат для этих целей, и год от года их посещает множество людей. Между Мемориалом ветеранов Вьетнама и его посетителями сложились весьма разноплановые отношения. Мемориал является не только местом регулярных церемониалов и частых посещений (более 2,5 миллиона посетителей и 1 100 – 1 500 встреч ветеранов в год),[16] он также представляет собой объект, с которым посетители вступают в активную и эмоциональную взаимосвязь, благодаря которой были сняты (thwarted) все исходные представления о том, чем должен стать Мемориал и что он должен выражать.

Задуманный как объект безучастного наблюдения и размышления, Мемориал, как оказалось, проявил способность вызывать эмоции. Речь идет не о Мемориале в целом, а лишь о стене и начертанных на ней именах. Люди прикасаются к ним, и буквы хранят следы их прикосновений – стало быть, к именам относятся с заботой. Отпечатки имен прорисовывают на бумаге и забирают ее с собой, оставляя взамен материальные предметы, имевшие особенное отношение к павшим, или же письменные свидетельства посетителей и тех, кто носит траур по ветеранам.

Для многих чувства скорбящих оказываются более существенным поводом посетить Мемориал, нежели сама его конструкция. Однако реакцию посетителей Мемориала определяет нечто большее, чем неуместное любопытство, поскольку траурные сцены – это не совсем частное дело: эти сцены также делают ощутимым и общедоступным чувство коллективной утраты. Поэтому не только друзья и семьи погибших приходят к мемориальной стене со своим личным горем, но и те, кого напрямую не коснулась утрата, ощущают моральное давление со стороны общества и им приходится быть соучастниками ситуации и подстраивать под нее свои чувства.

Под действием этого морального давления все больше и больше людей стремятся увидеть Мемориал, что, в свою очередь, существенно способствует его волнующему воздействию на посетителей. Напротив, когда на территории Мемориала никого нет, стена кажется не такой притягивающей, волнительной и запоминающейся. Указание на подобный контраст имеется у Дюркгейма, который утверждал, что переживание присутствия в месте священного поклонения «есть лишь ощущение, внушаемое *группой* своим членам, но при этом ощущение, выдающееся за рамки переживающего данный опыт сознания и объективированное. С

[15] Данное соображение дополняется высказыванием некого чиновника Пентагона, который в своей критике проекта сослался на китайское происхождение его автора. (Hess 1983, p. 121).

[16] Данные из личной беседы авторов с Дьюэри Фелтоном-мл., куратором Музея Мемориала ветеранов Вьетнама и Регионального археологического хранилища Службы национальных парков.

целью подобной объективации ощущения фиксируются на каком-либо объекте и тем самым сакрализуются… Поэтому освящаемое качество, предполагаемое некоторым объектом, не заключается в его имманентных (intrinsic) свойствах, а присоединяется к ним» (Durkheim 1965, p. 261). Таким образом, Мемориал ветеранов Вьетнама стал именно сакральным местом, будучи объектом торжественных коллективных собраний, в ходе которых возникающие моральные чувства вдохновляют друг друга.

Поскольку данные собрания и возникающие в процессе чувства сами по себе не могут объяснять сакральный характер Мемориала, нам не следует неотступно идти за аргументацией Дюркгейма. Последний был уверен в том, что сакральность таких объектов, как мемориальная стена, является исключительно производным моментом от человеческой реакции на них. Однако мемориальная стена – это не просто удобный экран, на который посетители Мемориала проецируют свои чувства: стена сама по себе будит эти чувства. Если бы это было не так, то воплощением коллективных чувств мог бы стать любой объект, в чем был уверен Дюркгейм, – в таком случае нам пришлось бы настоятельно объяснять, почему прочие составляющие Мемориала, а именно флаг и скульптура, не вызывают такой же реакции, как стена. В самом деле, у флага и скульптуры гораздо реже, чему стены, находят материальные артефакты; нескрываемые выражения чувств практически всегда происходят у стены; поведение посетителей у стены гораздо более торжественно, чем вдали от нее; сувенирные изображения Мемориала представляют собой лишь стену. Подобные реакции вызывает именно сам облик стены – точнее, перечень имен. Имена и представляют собой объект ритуального отношения, каковым не может быть ни одна из прочих составляющих Мемориала. К тому же идеалы той войны и память о ней, не встречая адекватной символической и социальной поддержки, уходят на задний план.

Тем не менее, существует еще одна сторона данных отношений, подчеркивающая иной аспект противоречия между национальными целями и их исполнителями. Исходная дилемма: как почтить память участников войны безотносительно к самой войне? – это обратная сторона другой проблемы: как не обращать внимания на войну, не отрицая роль тех, кто в ней участвовал? Эта проблема не приходила на ум членам Комиссии по искусствам, которые прежде всего стремились защитить художественную (идеологическую?) самодостаточность (serenity) от «банального квасного патриотизма» (U.S. House of Representatives 1982, p. E5108). Но какого рода защиту они могли предоставить? Банальность была не в том, что к изначальному проекту мемориала были добавлены флаг и скульптура, а в том, как посетители вели себя рядом с мемориальной стеной. Однако подобное поведение определялось различными и непростыми импульсами и чувствами.

Задачи жанра: Репрезентация двусмысленности (ambivalence)

Все нетленные свидетельства, которые посетители Мемориала оставляют на его территории, ежедневно собирают и хранят сотрудники Регионального археологического музеехранилища. Из года в год эти «дары» заботливо сберегают для будущего в надежном месте, и это продлевает жизнь Мемориала в пространстве и времени. Существование этого филиала мемориального комплекса наиболее отвечает интересам масс, поскольку содержание его экспозиции, в соответствии с установкой Министерства внутренних дел, определяется населением, то есть непосредственными посетителями Мемориала, а не профессиональными кураторами. Сложно сказать, в какой степени представление о необходимости появления подобного музея было составной частью борьбы МВД с элитарностью Комиссии по искусствам. Более ясно то, что музейная коллекция отрицает как претензии клевретов, так и восхваления сторонников Мемориала, высказанные на первом этапе его создания, – об этом свидетельствуют сами оценки посетителей.

Самые яркие из оставленных предметов – это цветы, прикрепленные к стене рядом с именами конкретных погибших или оставленные на земле подле них. В подобном жесте нет ни капли политики; однако в составленном Службой национальных парков перечне прочих предметов (которые не имеют срока хранения) вполне отчетливо прочитывается политическое послание. Согласно данному перечню, наиболее часто у стены, на земле под именем погибшего, оставляют маленький американский флажок на подставке. Если так, то подобным образом посетители Мемориала невольно высказывают некое политическое суждение, заявляя о своем патриотизме и преданности нации. Принадлежит ли эта идея самим посетителям или они копируют ее друг у друга, люди не видят лучшего способа почтить память своих близких, нежели в ассоциации их имен с национальной эмблемой.

Эти утверждения подкреплены прочими найденными предметами. Их самая значительная часть, примерно треть из всего, что было оставлено посетителями, – это вещи, связанные с военной тематикой: в первую очередь, нашивки и знаки отличия конкретных войсковых подразделений, а также элементы военной формы, различные «висюльки», именные браслеты, медали, награды и грамоты. Таким образом, территория Мемориала была усеяна предметами, символизировавшими роли, исполняя которые выжившие ветераны некогда отдали свой долг нации. Эти предметы стали в избытке обнаруживаться с самого момента открытия Мемориала, не перестали они появляться и после того, как была открыта скульптура, изображающая трех солдат. Призванная, по замыслу автора проекта, привлечь внимание к людям и, напротив, отвлечь его от нации и войны, мемориальная стена стала волнующим средоточием патриотических чувств. Поэтому в функциональном аспекте Мемориал сближается с традиционным военно-монументальным жанром, от которого, по исходному убеждению и противников, и сторонников проекта, Мемориал ушел в сторону.

Избыточно украшенная патриотическими эмблемами, стена сама по себе может повысить ценность нашего представления о традиционном военном монументе, но она не способна это представление воплотить, поскольку патриотизм – это не единственная реакция, которую она провоцирует. На самом деле стена оказалась чем-то вроде дискуссионной площадки (debating forum) – вместилищем разнообразных мнений о той войне, которая послужила поводом для ее сооружения. Характерно, что традиционные военные мемориалы подобную функцию не выполняют.

Попечители Мемориала изначально настаивали на том, что он не должен содержать каких-либо высказываний о войне, – прогнозируемое обещание, если учесть, что сам облик Мемориала мог заставить политиков вести себя потише. Данное утверждение было подкреплено административное постановлением, которое открыто запрещало на территории Мемориала политические демонстрации. Поэтому политические высказывания, лишенные привычной общественной площадки, воплотились во множество посланий, которые посетители оставляли у стены. Письма, стихи и записки, часто в сопровождении фотографий, можно исследовать в качестве публичных проявлений чувств частных лиц или же как общественное мнение, высказанное в частном порядке (privatized public opinion). И в том, и в другом случае перед нами выражение различных мнений о Вьетнамской войне, сложившихся в обществе. При этом не все из этих письменных свидетельств содержат непосредственные высказывания о войне. Однако среди мнений о войне, высказанных в найденных письмах, более половины – неоднозначные или негативные, и стена является тем местом, где эти мнения могут быть высказаны. В одном из найденных стихотворений сказано: «В те времена, когда / Они с легкостью решили / Призвать безумие войны, / Чтобы та могла / Забрать благородных героев, – / В то время ты остался там». Еще один анонимный корреспондент сетует о солдатах, что ушли «На войну неизвестно чего ради / Так далеко от дома и своей земли». Не столь прямолинейное осуждение войны содержится в письме американского солдата, сражавшегося во Вьетнаме в 1968 году: «В любом случае новости теперь плохие. Мне остается служить 71 день, и если все это кончится, надеюсь, что мне никогда больше не придется сюда

вернуться». Это письмо было найдено прикрепленным к стене рядом с именем его автора. Наконец, еще один автор с чувством полного разочарования восклицает: «По-прежнему ищете причину? Думаю, что вы, ребята, могли бы стать богаче».[17]

Ряд посетителей Мемориала признают, что не могут понять, зачем американцы умирали во Вьетнаме, но в то же время считают свое непонимание сугубо личной проблемой, а не знаком того, что война и гибель людей были объективно бессмысленны: «У Бога есть свой резон; / У Бога есть его план - / Материи, недоступные / Обычному человеку». Другие больше поняли про смысл войны и открыто сообщают об этом в своих посланиях. Тринадцатилетняя девочка утверждает: «Я чувствую, что чем-то обязана вам, павшие, потому что если бы не вы, я могла бы не жить в свободной стране».

Эти послания и стихи не меньше, чем другие вещи, оставленные у стены, показывают, что многие люди, оглядываясь назад, не могут воспринимать Вьетнамскую войну без какого-либо политического оттенка.[18] Вопреки заявлениям его официальных сторонников, Мемориал порождает ту же социальную напряженность, которая разделяла нацию в годы самой войны. Время идет, а война продолжает провоцировать и одобрение, и осуждение. По сей день у стены Мемориала обнаруживают столько же, если не больше, находок, как в те дни, когда он только был открыт, причем их набор, независимо от количественного соотношения разных групп предметов, с годами остается тем же самым. Флаги, несмотря на то, что их больше не хранят и не присваивают им инвентарные номера, по-прежнему появляются в избытке. Предметы военного обихода приносят к стене не только сами ветераны, но и те, кто служил в армии уже после Вьетнама. Столь же часто, как и раньше, появляются личные вещи и письма, причем многие из недавних посланий содержат критику американской политики в разных частях света, в особенности политики в Центральной Америке, которую авторы записок сравнивают с той, что привела к Вьетнамской войне.[19]

Поэтому мы не считаем, что Мемориал обладает тем направляющим (hegemonic) влиянием, которое лежит в основе «манипулятивных теорий» светского символизма Гасфилда и Михаловича (Gusfield and Michalowicz 1984, pp. 424-27). Если бы Мемориал на самом деле был инструментом государственной власти, если бы он был установлен государством ради сохранения консенсуса внутри элиты и продвижения, как полагает Хейнс (Haines 1986) авторитарных взглядов на общество, тогда надо признать, что этот инструмент не слишком эффективен для достижения указанных целей.

Контексты, группы поддержки (constituencies) и смысл

Действенные инструменты почтения памяти снимают неопределенность (ambivalence). В случае же с Мемориалом ветеранов Вьетнама эта неопределенность не гасится, а, напротив, оказывается результатом сложения воедино всех его составных частей. Это чувство двусмысленности не обязательно оказывается субъективным ощущением посетителя Мемориала – двусмысленность является социальным фактом, результатом совмещения несопостави-

[17] Этот эмоциональный выплеск иллюстрирует пороговое состояние, которое пережили многие ветераны: после Вьетнама они вернулись домой, но не чувствовали себя «дома». Внутренняя Вьетнамская война определенно остается для этих людей бесконечной, и из их лагеря раздались жесткие высказывания в ответ на доброжелательное содержание, которое несет в себе Мемориал. Утверждалось, в частности, что Майя Лин хотела бы, чтобы стену, с ее, похоже, бесконечным списком имен «читали как греческую эпическую поэму» (*National Geographic*, 1985, p. 511). Несмотря на то, что Лин, возможно, приходили на ум ассоциации с многостраничной «Илиадой» – поэмой о войне, для ветеранов «Илиада» превратилась в «Одиссею», повествующую о человеке, который борется с препятствиями, мешающими ему вернуться домой. Выражение «добро пожаловать домой» не раз возникало в ходе целого ряда мероприятий в день открытия Мемориала и фактически стало официальной темой этого дня.

[18] Анализ этих посланий см. в: Palmer 1987, Carlson and Hocking 1988.

[19] Личная беседа авторов с Дьюэри Фелтоном-мл.

мых точек зрения и действий, предпринятых разными группами интересов. Поэтому Мемориал является ритуальным символом, выражающим противоречия, существующие в обществе.

Противоречия, заложенные в Мемориале, не только выдают неспособность государства реализовать единообразную интерпретацию прошлого, но и свидетельствуют о нации как о такой сфере действительности, где частный интерес превосходит интерес государства. Подобные утверждения наиболее несомненны для наивного зрителя, не обладающего знанием о том, с какими проблемами было сопряжено создание Мемориала.[20] На основании изучения упомянутых выше посланий можно заключить, что люди, которые приходят к Мемориалу увидеть на его стене имена своих близких и друзей, не обращают внимания на цвет монумента, на его положение в пространстве или на его вертикальные и горизонтальные измерения. Приближаясь к Мемориалу спереди, они видят лишь маячащий поблизости мемориал Линкольна, а на заднем плане – силуэт памятника Вашингтону. Несмотря на то, что Майя Лин умышленно вписала очертания мемориальной стены в контекст этих двух объектов, она сама и ее сторонники вряд ли упоминали их в ходе борьбы за сохранение первоначального проекта, не говоря уже о каком-либо обсуждении этой особенности Мемориала. Кроме того, стены, смотрящие в никуда, выглядят неизящно с чисто эстетической точки зрения. Исходя из этих соображений у нас возникает вполне справедливое ощущение, что подобная композиция преследовала скорее художественные, нежели идеологические цели. Однако мы также полагаем, что в течение двух лет с момента открытия Мемориала монументы Линкольна и Вашингтона (окутанные само́й патриотической атмосферой парка [Griswold 1986]) выступали функциональным субститутом скульптуры и флага, а позднее стали для них фоном поддержки, формирующим ту этическую определенность, внушить которую посетителям сама по себе мемориальная стена была не в состоянии. В действительности именно способность Мемориала пробуждать непреходящее присутствие самого духа нации (способность, которую желала устранить Комиссия по искусствам) является окончательным и бесповоротным признаком жанра военного мемориала. Без этого присутствия национального начала, как если бы Мемориал постоянно находился вне своего нынешнего монументального окружения, мемориальная стена вызывала бы разные переживания у ее посетителей. Она по-прежнему оставалась бы торжественным и волнующим монументом (как, скажем, ее сувенирная копия), но на фоне высоких гор или холмистых лугов – одним словом, на провинциальном фоне, а не в присутствии трансцендентных реалий нации, Мемориал стал бы не столь волнующим и притягательным, утратил бы свою сакральность. Флаг и скульптура выступают просто внешней поддержкой того, что окружает Мемориал, однако в более приземленной обстановке он мог бы получить больше разрушительных для его идеи дополнений, чем это произошло в национальной столице.

Мощный эмоциональный отклик на Мемориал наложился на другие виды реакции, но никогда их не вытеснял. В своем нынешнем виде, включающем стену, статую и флаг, Мемориал остается полицентричной (multifocal) версией военно-монументального жанра, обладающей достаточным резервом [коммуникативной] неопределенности, который вмещает довольно широкий диапазон мемориальных смыслов. Вступая во взаимодействие с этой неопределенностью и интерпретируя ее, различные группы поддержки превращают данную многоаспектность в действующий фактор. В глазах политиков Мемориал оправдывает несвоевременно оплаченный нацией долг перед ветеранами; для художников он оказывается новаторской комбинацией символов и форм; для ветеранов это эмблема того, что они заняли законное место в политическом и моральном наследии нации; для семей погибших – святыня, которая связывает частное и общее (home and nation); для сторонников войны, считавших ее справедливой, равно как и для их оппонентов – это подтверждение их точек зрения; нако-

[20] О различии «аутентичной» и «неаутентичной» реакций на Мемориал см.: Ehrenhaus 1989, p. 96.

нец, для ряда туристов Мемориал – это просто достопримечательность, которую стоит увидеть.

Все эти люди посещают Мемориал, но при этом интерпретируют его по-разному – тем самым Мемориал оказывается олицетворением солидарности при отсутствии некоего общего мнения. Он заставляет людей, имеющих разные точки зрения, демонстрировать схожее ритуальное почтение погибшим. Некоторые ученые, например Эмиль Дюркгейм и его последователи, в том числе Дэвид Кертцер (Kertzer 1988), усматривают суть солидарности в общих действиях, а не в общих верованиях. Тем не менее, следует различать монументы типа Мемориала ветеранов Вьетнама, которые продуцируют единообразные жесты ритуального почтения при отсутствии общего мнения, и монументы, которые способствуют и тому, и другому, например мемориалы, посвященные Войне за независимость и мировым войнам. В данном различии на кону стоят два разных представления о прошлом, два разных типа эмоциональной реакции на минувшие события и два разных способа выражения представлений о них. Монументы второго типа преследуют цель прославить события прошлого; задача монументов первого типа – примирение с прошлым, включение политических разногласий и военных поражений в коллективную память.

Последняя задача требует больше времени, чем ликование по поводу успехов, поэтому композиция мемориала ветеранам Вьетнама остается частично незавершенной. Что касается ее дальнейших изменений, то совершенно очевидно, что в структуру Мемориала можно, скажем, включить скульптуру, посвященную женщинам-медсестрам, которые также являются ветеранами Вьетнамской войны.[21] Представительница группы поддержки женского мемориала Вьетнамской войны объяснила необходимость этого следующим образом: «Когда вы приходите к стене и видите трех сражающихся мужчин – думаете ли вы о женщинах?» (*Atlanta Constitution*, 3 мая 1986 года, p. A2). Эта участница дискуссии тем самым стремится оспорить утверждение, что монумент в его нынешнем виде адекватно представляет всех участников Вьетнамской войны, однако прежде чем этот вызов расхожему мнению будет удовлетворен, придется преодолеть массу препятствий.

Первое из них заключается в необходимости достижения общего мнения в вопросе, как должен выглядеть этот «женский» мемориал. Консенсус в данном случае представляется столь проблематичным, что жюри недавнего (1990) конкурса на лучший проект подобного мемориала выбрало двух победителей – абстрактный объект, включающий образ огнетушителя, и реалистическую скульптуру медсестры. Теперь их авторы, в соответствии с предписанием жюри, работают вместе над компромиссной версией данного монумента.[22] Однако наибольшие опасения вызывает то, что даже этот компромиссный вариант еще должен получить одобрение целого ряда федеральных ведомств, члены которых почти наверняка не согласятся с тем видением места женщин во Вьетнамской войне, которое будет предложено авторами. Как отметили в своей статье Кэрал Энн Марлинг и Джон Уитенхолл (Marling and Wetenhall 1989), задаче отдельно представить роль женщин в этой войне препятствуют Министерство обороны, «заявившее о невозможности внятно оценить количество женщин, которые на самом деле отправились во Вьетнам» (p. 348), разногласия в обществе относительно подлинной связи между женщинами и войной и памятью о ней, а также Комиссия по искусствам, которая уверена, что Мемориал в его нынешнем виде и так широко раскрывает свою тему, поэтому добавление к нему любых новых элементов будет только провоцировать новые требования его дальнейших изменений.[23]

[21] Один из недавних «вьетнамских» мемориалов, открытый в Атланте в День ветеранов 1988 года, увековечивает память как мужчин, так и женщин, воевавших во Вьетнаме (*Atlanta Journal*, 12 ноября 1988 года, p. 1C). Плодотворное обсуждение проблемы места женского образа в военных мемориалах см. в: Inglis 1987.

[22] Сообщение группы поддержки женского мемориала Вьетнамской войны.

[23] Например, со стороны тех, кто хотел бы увековечить память погибших во Вьетнаме сторожевых собак, – теперь эта группа ищет другое место для такого монумента, хотя первоначально ее активисты хотели бы расположить его рядом с самим ветеранским мемориалом (*Chicago Tribune*, 2 августа 1988 года, p. C5).

Это сопротивление (в особенности со стороны Комиссии по искусствам) появлению на территории Мемориала отдельного памятного знака, посвященного женщинам, следует понимать в контексте возникновения новых групп влияния, активно ищущих отдельного признания. Последнее, возможно, является отражением особенностей нынешней «постмодерной» политической жизни, в которой фрагментация групп интересов и признание культурного плюрализма трансформирует наши представления о механизме предоставлении политических прав и формах выражения политического.[24] Однако эти новые группы также могут участвовать в обсуждении окончательно неопределенной сути Вьетнамской войны, ставя вопрос о том, всегда ли поражения являются «незавершенными». Праздновать следует в первую очередь победы, а поражения подлежат объяснению, и каждое из этих объяснений, будучи внутренне спорными, является приглашением к продолжению дискуссии. Именно это ощущение незавершенности войны выражает незавершенная композиции Мемориала, но не разрешает ее. Каждый новый элемент конструкции Мемориала можно рассматривать как стремление к еще большему примирению с войной и ее участниками. Однако процесс примирения идет двумя расходящимися путями. Первый – появление в конструкции Мемориала флага и скульптуры – направлен на легитимацию самой войны (возможно, за этим скрывается наше стремление переписать историю Вьетнамской войны, обратив поражение в победу).[25] Второй путь касается участников войны, причем каждый очередной элемент Мемориала (начиная с добавления, посвященного женщинам) открывает возможность все новым группам требовать отдельного признания их места в структуре целого. В обоих случаях полное примирение остается эфемерным. Но если признать нашу точку зрения, что Мемориал выражает противоречивое отношение нации к войне, а не, напротив, утаивает его, тогда открытость и незавершенность его композиции может действительно рассматриваться как одна из тех его характеристик, которые определяют его уникальность.

Обсуждение

Наше исследование Мемориала ветеранов Вьетнама подчеркивает широкий спектр вариаций, возможных сегодня в рамках военно-мемориального жанра. В отличие от монументов, посвященных «популярным» войнам, Мемориалу за короткий срок пришлось пережить ряд изменений, которые как подтвердили, так и модифицировали традиционное представление о военных монументах. Начавшись со скромной памятной доски, Мемориал воплотился в стене, имевшей эффект политического оздоровления, а затем стал более разноплановой конструкцией, включающей флаг и реалистическую скульптуру. Данные изменения возникали в результате конкуренции представлений о том, каким образом должна сохраняться память о Вьетнамской войне. Сам этот процесс представлял собой отражение противоречивых оценок Вьетнамской войны в американском обществе в целом.

В 1970-х и начале 1980-х годов Уолтер Дин Бёрнхэм (Burnham 1982) отметил фундаментальный сдвиг в американской системе ценностей и в самосознании социума, который он определил как «движение реакционного возрождения». Однако этот новый политический климат, будучи консервативным по своей природе, не опроверг коллективный вердикт, вынесенный обществом Вьетнамской войне. Так, осенью 1980 года 81% ветеранов и 86% прочих лиц были уверены в том, что американские солдаты оказались «участниками проигранной войны». В марте 1982 года половина взрослых участников национального опроса считали, что Соединенные Штаты даже не пытались выиграть эту войну. Три года спустя лишь треть участников аналогичного опроса были уверены, что Америка должна была стремиться

[24] Данная постмодерная концепция политики воспроизведена в столь же постмодерной нынешней композиции Мемориала. Реалистичность скульптуры, изображающей трех солдат, выступает пастишеподобным[r] дополнением абстрактного начала, воплощенного в мемориальной стене. Тем самым традиция присоединяется к авангарду.

[25] Дискуссию о переосмыслении Вьетнамской войны в кино и политике см. в: Gibson 1989 и McKeever 1989.

к победе, в то время как более половины опрошенных (54%) считали, что не следовало даже посылать во Вьетнам войска. Таким образом, в обществе наблюдалась высокая степень неуверенности в необходимости этой войны. 57% затруднились четко определить цели войны, а значительная часть респондентов (45%) были уверены, что большей части населения Южного Вьетнама было все равно, кто выиграет войну. В середине 1980-х годов число американцев, уверенных в том, что США должны были покинуть Вьетнам раньше, чем это произошло в действительности, вдвое превосходило сторонников противоположного мнения (Harris 1980; *Washington Post* 1982, 1985*a*, 1985*b*, *Los Angeles Times* 1985. Более подробно см.: MacPherson 1984).

То, что отношение американцев к проблеме Вьетнамской войны в середине 1980-х, в сущности, совпадает с тем, которое преобладало в начале десятилетия, когда были реализованы планы почтить память ее ветеранов, – такое допущение заслуживает доверия. Импульс, определивший успех проекта создания Мемориала, и теплые чувства, с которыми он был принят, не могли быть следствием нового – позитивного – общего мнения по поводу войны. Таким образом, пример Мемориала выступает альтернативой убежденности Дюркгейма в том, что моральное единство есть абсолютный объект поминовения. Дюркгейм был уверен, что люди участвуют в поминовении, для того чтобы сохранять свою верность прошлому, однако он имел в виду не прошлое вообще, но лишь то прошлое, которое является привлекательным и героическим. Когда люди совершают акты поминовения подобного рода (Durkheim 1965, p. 420), их вера в справедливость своего общества укрепляется: «Славные свидетельства памяти (souvenirs), создаваемые с целью оживлять минувшие события перед глазами людей, благодаря чему последние чувствуют родство между собой, дают людям ощущение силы и уверенности: человек более убежден в своей вере, когда видит, как далеко в прошлое она уходит и какие великие свершения она уже вдохновила». Когда у нации или сообщества присутствует полное согласие относительно достоинства некоего события в прошлом или предшествующего коллективного деяния, тогда героические монументы приобретают убедительность в качестве предметов ритуальных действий и поклонения. Однако если ценность деяния и его результатов не столь однозначна, если «свидетельства» о деянии вовсе не «славные», то представляется необходимым иной способ почтения их памяти, предполагающий более трезвую рефлексию, а не подъем энтузиазма, и больший акцент на признании ущерба, нежели на праздновании достижений.[26]

Наше исследование данного процесса зависело от того, каким образом жанр осуществляет акт поминовения. Несмотря на безусловную правоту утверждения Грисволд (Griswold 1987*a*, p. 18) о том, что конкретные жанры не предполагают «аристотелевских рамок» (fixity), мы, тем не менее, установили некие пределы изменений жанра, вне которых он перестает быть самим собой, а также пределы, в которых жанр может изменяться таким образом, чтобы убедительно соответствовать самому объекту поминовения. Сравнительно устоявшееся представление о том, как должны выглядеть военные монументы, и понимание того, что Вьетнамская война была в лучшем случае неоднозначным событием, – две эти идеи подталкивали реализацию замысла Мемориала в разных направлениях. Традиционное (и к тому же безальтернативное) представление о военных мемориалах привело бы к появлению сооружения, воплощающего собой героизм воинского служения национальному делу. С точки зрения этого героического идеала не требуется каких-либо особенных художественных изысков, однако оппоненты первой версии Мемориала имели четкое представление о том, что они хотят получить. Они обозначили целый ряд характеристик, которые в определенном смысле должны иметь все полноценные военные мемориалы: указание на событие, которому посвящен монумент, в виде надписи на нем самом; реалистичное изображение человеческих

[26] См. два исследования, где коллективная память рассматривается с точки зрения, расположенной «по ту сторону принципа удовольствия»: Schwartz, Zerubavel and Barnett 1986 и Schudson 1989, pp. 109-111. См. тж. Schwartz 1982, pp. 392-394.

образов; преобладание вертикального измерения; светлая цветовая гамма; огромный размер; заметная национальная и военная символика. Вряд ли какой-либо монумент должен иметь сразу все эти признаки или хотя бы определенный их набор, чтобы его сразу идентифицировали как военный мемориал, однако как минимум некоторые из этих особенностей представляются необходимыми – и они действительно были использованы, чтобы приукрасить минималистский проект Майи Лин. Добавление фразы, из которой становится понятно, чему посвящен Мемориал, а также флага и реалистической скульптуры сблизили его с образцами традиционного военно-мемориального жанра.

Тем не менее, ни одно из этих дополнений к первоначальному проекту не является безупречно героическим и ни одно из них не выступает воплощением безупречности деяния. Как мы установили, каждое из этих добавлений содержало собственные внутренние ограничения, за которыми на самом деле скрывается исходный посыл Мемориала. Намеренно избегая буквальных описаний и реалистической образности, горизонтальные линии – само воплощение сдержанности – свободны от патриотического символизма, поэтому минималистичный военный мемориал выразительно уходит от изображения войны как священного начинания. Таким образом, если образ традиционного военного мемориала приводит в действие мощные силы, призванные модифицировать оригинальный замысел Мемориала, сама реальность Вьетнамской войны – необъявленного поражения, расколовшего нацию, – пробуждает равновеликие силы, которые выступают гарантом того, что изменение первоначального замысла не зайдет слишком далеко.

Два эти императива – придание Мемориалу традиционных черт и, напротив, установка на нетрадиционное композиционное решение – сами создали определенный социальный контекст, который усилил напряжение между ними и обострил проблему жанра. Благосклонное восприятие нетрадиционного монумента было обеспечено общественным мнением, пришедшим к пониманию того, что война была ошибкой. Напротив, апелляция к традиции военных монументов исходила из разноплановых изменений политического климата, в особенности из великого пробуждения консерваторов в начале 1980-х годов, из возрастающего признания масштаба жертвы, которую ветераны принесли стране, и из усиливающейся тенденции всех политических деятелей полагаться на деятельность электоральных групп интересов, что позволило политикам эксплуатировать наиболее спорные аспекты проблемы мемориального жанра. Поэтому в любой момент становления Мемориала возможности изменения его конструкции сопровождались затруднениями это сделать. Сам же Мемориал – героический, но без ликования, признающий войну, но не прославляющий ее – возник за рамками этого силового поля.

Социальные репродукции

Наиболее успешные культурные объекты имеют свойство самовоспроизводиться. Их образы вновь и вновь возникают на всем протяжении социального и физического пространства с довольно заметными отличиями между разными локальными версиями оригинала, при этом всегда сохраняющими некоторые его наиболее существенные элементы. В случае с Вьетнамским мемориалом процесс репродукции оказался быстрым и энергичным. Портативный вариант мемориальной стены в настоящее время путешествует по стране, и график его перемещений расписан уже даже на 1992 год. Он представляет собой точную копию в половину величины оригинала, выполненную из алюминиевых панелей, покрытых черной эмалью. Имена погибших на ней не воспроизведены, чтобы их не трогали руками и не делали прорисовки. Предметы, оставленные у этой «движущейся стены», также собираются и будут выставлены в Музее движущейся стены, который должен появиться в Санта-Фе, Нью-Мексико. Как и в случае с оригинальным объектом, у этой копии также есть свой идейный вдохновитель – ветеран Джон Девитт, причем идея пришла ему в голову во время посещения

Мемориала. По его словам, звучащим как отголосок высказываний Яна Скраггса, «Мемориал говорит не о войне, а о жертве и служении» (*New York Times*, август 1989 года, p. 31). И Скраггс, и Девитт, очевидно, пришли к одной и той же мысли: восславить участников войны, не упоминая о самой войне.

Широкая популярность как «движущейся стены», так и Мемориала, расположенного в Вашингтоне, допускает предположение, что исходный проект отражает противоречивые мнения относительно Вьетнамской войны, которые присущи американскому обществу в целом, а не являются частным делом некой группы художников и художественных критиков, а также групп политического действия. Справедливость этого предположения подтверждает и та готовность, с которой разные штаты и местные власти запустили в оборот идею Вьетнамского мемориала на локальном уровне. Местные мемориалы, как и их вашингтонский прототип, сочетают элементы традиционного военно-мемориального жанра с нетрадиционным минималистским дизайном. Различные комбинации двух этих стилей появляются во многих городах, в том числе в Джанкшн-Сити (Канзас), где местный мемориал включает в себя стену со списком имен и репродукцию фрагмента скульптуры Фредерика Харта; в Хартвелле (Джорджия) памятник представляет собой две мемориальные стены, на одной из которых выбиты имена шести погибших горожан, а другая является вариацией на тему скульптуры Харта. Эти стены разделены переломленной буквой V, символизирующей «разбитые мечты, обещания и планы». Аналогичный пример встречаем в Спрингфилде (Иллинойс), где мемориал, расположенный рядом с могилой Линкольна, состоит из двух крестообразно пересекающихся стен, содержащих имена, военные знаки отличия и воинские гимны – всю конструкцию венчают флаги и вечный огонь. В Канзас-Сити ветеранам Вьетнама посвящен мемориальный фонтан, включающий стену с именами и систему бассейнов, которые символизируют различные аспекты как войны, так и человеческого отношения к ней. В Нью-Йорке вместо имен погибших использовано изображение их писем, что дает прямое представление об их отношении к войне (согласии и несогласии) перед смертью. Еще один местный мемориал, посвященный ветеранам-инвалидам, находится в Иглз-Нест, Нью-Мексико, и содержит имена и фотографии. Утверждая один и тот же принцип – участники войны превыше самой войны, эти различные монументы выступают коллективным воплощением смысла Вьетнамской войны.[27]

Однако характеристики участников войны и самой войны, то есть личное и национальное, – это разные вещи. Например, в Спрингфилде более очевиден акцент на национальном деянии, а в Нью-Йорке это проявляется в меньшей степени. Появление по всей стране минималистских мемориальных форм, в разной степени отмеченных традиционными жанровыми элементами, демонстрирует, что ряд аспектов поминовения не разделяются всеми, однако это не препятствует существованию общезначимых мемориальных объектов.

Если «движущаяся стена» и местные монументы можно считать «двоюродными братьями» оригинального Мемориала, то Мемориал ветеранов Корейской войны[s] оказывается его более дальним родственником. Соотношение между мемориалами Вьетнама и Кореи совпадает с двумя магистральными направлениями войн, которые вели Соединенные Штаты. Речь идет о таких критериях, как оправдание войны (слабое/сильное) и ее результат (победа/поражение).[28] К Вьетнамской войне многие американцы негативно относятся с точки зрения

[27] Сочетая традиционные и абстрактные элементы, перечисленные мемориалы представляют собой небольшой, но показательный ряд примеров среди множества аналогичных объектов, воздвигнутых по всей стране (личная беседа с Маргарет Донован, Вашингтон, округ Колумбия. Незадолго до смерти г-жа Донован работала над исследованием «Забытые воины: перечень мемориалов и музеев Корейской и Вьетнамской войн». Работа не окончена, но с ней можно ознакомиться, подав запрос по адресу: Vietnam Veterans Memorial Collection, Museum and Archaeological Regional Storage Facility, Lanhan, Maryland, 20706).

[28] К американским войнам, которые считаются справедливыми, относятся Война за независимость и обе мировые войны. К той же категории жители северных штатов причисляют Гражданскую войну (1861-1865). В целом считаются победоносными Война 1812 года, Мексиканская война, Индейские войны и Испано-

обоих аспектов.[29] Корейская война, которая считается завершившейся вничью, то есть ни победой, ни поражением, и не имевшей ни сильного, ни слабого оправдания, напоминает войну во Вьетнаме отсутствием положительных военных или моральных особенностей. Общим между двумя войнами является также сравнительно продолжительный разрыв между временем их официального завершения и периодом, когда в их память было решено установить крупный мемориал в столице страны. Кроме того, оба мемориала находятся практически рядом друг с другом, а их символическая структура во многих отношениях схожа.

Мемориалы ветеранов Вьетнама и Кореи – это два разных сооружения, которые продвигали две отдельные группы поддержки, апеллирующие к разным аудиториям, однако они являются порождением одной и той же амбивалентной мемориальной культуры. Отражая столкновение между реалистичностью и абстрактностью, между выразительностью и строгостью, оба этих монумента представляют собой компромисс между различными представлениями о том, как следует хранить память о войне и как должен выглядеть посвященный ей мемориал. Структура «корейского» мемориала в своем первоначальном замысле включала такие традиционные элементы, как реалистические изображения солдат, но в итоге они были выполнены весьма осторожно – как выразился один из дизайнеров, «призрачно».[30] Конкурирующие авторы проектов трансформировали оригинальную модель в двух направлениях: (1) придав фигурам солдат, изображенных в момент сражения, более реалистичные черты и (2) предложив не столь бросающееся в глаза место для сооружения мемориала. Комиссия, осуществлявшая отбор проектов, отвергла первый замысел и приняла второй, тем самым ее решение было направлено против традиционного, героизирующего мемориала памяти Корейской войны. Разумеется, жюри комиссии, состоявшее из ветеранов этой войны, оценивало ее результаты более положительно, чем общество в целом, поэтому каждый из предложенных проектными группами традиционных элементов (скульптуры, флаги и поясняющие надписи) получил одобрение.[31] Жюри определило, что мемориал должен изображать Корейскую войну как национальную, одобрив, тем не менее, что памятник должен содержать перечень 21 сражавшейся нации, даже несмотря на то, что вооруженные силы других государств принимали в Корейской войне чисто символическое участие[u]. Кроме того, было одобрено предложение выбить на монументе число участников и жертв войны, а также комиссия согласилась, что мемориал должен быть посвящен сражавшимся ветеранам, а не самой войне. Таким образом, смещение акцента с войны на ее участников в случае с «корейским» мемориалом оказывается не таким драматичным, как в случае с «вьетнамским», тем не менее, в нынешнем виде первого монумента это смещение вполне заметно. Когда «корейский» мемориал появится на территории Национального парка, он лишь подчеркнет две само собой разумеющиеся особенности «вьетнамского»: почтение погибших в ходе принудительной «политической акции», а не во время официально объявленной войны, и то, что «вьетнам-

американская война[t], хотя многие современники и последующие поколения считали, что эти войны преследовали сомнительные моральные и политические цели. По мнению жителей южных штатов, Гражданская война была единственной благородной, но безуспешной войной. Этим типам войн соответствуют разное количество и качество мемориальных акций (Mayo 1988).

[29] Понимание несправедливости войны и воздействие этого фактора, замедляющее процесс создания традиционных мемориальных объектов, более отчетливо осознаются в послевоенной Германии, чем в США после Вьетнамской войны. В отличие от поражения американцев, разгром Германии был в буквальном смысле уничтожением. Война, которую вела Германия, была не просто заблуждением (как многие воспринимают действия США во Вьетнаме), но злом с точки зрения и замысла, и его осуществления. Поэтому память об этой войне хранится в таком глубоком молчании, о каком Америка в случае с памятью Вьетнамской войне и не подозревает.

[30] Личная беседа авторов с Дональдом А. Леоном из Государственного университета Пенсильвании.

[31] На стенах мемориала будут запечатлены образы участников Корейской войны, в том числе женщин, отчасти из ожидаемых соответствующих требований (личное сообщение от Роберта Хансена из комиссии экспертов мемориала ветеранов Корейской войны).

ский» мемориал символизирует наивысшую, связанную с гибелью людей точку холодной войны в Азии конца XX века.

Кроме того, у нас есть ощущение, что осуществленное в проекте «вьетнамского» мемориала успешное разделение войны и ее участников при их одновременном возвеличении фактически упреждающим образом повлияло на восприятие обществом недавней Войны в Заливе и ее символику – в последнем случае речь идет о значительном преобладании желтых ленточек над американскими флагами. Эти ленточки были посвящены именно войскам, которые возвращались домой. Что касается флагов, которые напрямую связаны с нацией и ее войной, то флаги были вторичным символом и лишь ближе к концу войны, когда стало ясно, что скорое окончание боевых действий неизбежно, их сразу стало значительно больше.

Производство мемориальных смыслов

Мы не можем предугадать общественную реакцию на монументы, которые будут посвящены получившей очевидную поддержку (prestigious) Войне в Заливе. Мы можем лишь утверждать, что наименее популярная война в американской истории, война, которая вызвала наибольшие разногласия и благодаря этому осталась в памяти, – это имена та война, монумент памяти которой наиболее чтят и чаще всего посещают. Этот существенный факт следует учитывать при любой попытке теоретического осмысления «вьетнамского» мемориала. Как было отмечено во введении к нашей статье, осуществление принципа плотного описания предполагает выявление значимых социальных, политических и культурных процессов, связанных с Мемориалом. По своей сути эти процессы носят интерактивный характер: идейные вдохновители процесса взаимодействовали со своими электоральными группами, а также с политическими и культурными властями; политики взаимодействовали между собой, причем в условиях консервативного общественного климата; ветераны задействовали свою память и свое существующее положение в обществе; художники взаимодействовали с политически обманчивой конкурсной документацией, с обитателями мира искусства и более приземленной публикой; наконец, посетители вступали в общение с самим мемориалом. Вне зависимости от того, какие процессы привели к реализации проекта мемориала, фактом общественной жизни его делает именно тот контекст, в котором он стал существовать,. В своем очерке модели анализа культурных объектов Венди Грисволд отмечает, что смысл порождается взаимодействием между «символическими возможностями самого объекта и чувственным аппаратом тех, кто его воспринимает» (Griswold 1987*b*, p. 1079). Аналогичным образом мы пришли к пониманию сложной эволюции Мемориала ветеранов Вьетнама в качестве последовательного взаимодействия его авторов, сторонников и аудитории.

Наше стремление обнаружить различные смыслы Мемориала ветеранов Вьетнама привело к согласию с позицией Виктора Тёрнера (Turner 1967, pp. 19-47), который в своей теории символических объектов различает три уровня смысла. «Экзегетический смысл» выражается в том, чтó люди говорят по поводу данного символа; «позиционный смысл» представляет собой отношение между различными символами в пределах более широкой знаковой (semiotic) системы; «операциональный смысл» выражается способом использования символа. Именно последний вид смысла наиболее сильно притягивал наше внимание в заключительной части статьи, поскольку в значительной степени наша интерпретация Мемориала основана на том, для чего он служит. По иронии, этот мемориал, спроектированный так, чтобы быть как можно менее заметным, оказался полной противоположностью замысла, поскольку сами его посетители распахнули его пространство и расширили его вовне, оставляя различные предметы у мемориальной стены, что создало значительные возможности для их хранения и демонстрации. Этому также способствовали внесение в оригинальную конструкцию флага и скульптуры, создание передвижной копии Мемориала и сооружение местных мемориалов, которые во многом напоминают их вашингтонский прототип. В своей работе о

монументе памяти варшавского гетто Джеймс И. Янг цитирует высказывание Роберта Музиля: «В этом мире нет ничего более незаметного, чем памятники. Безусловно, их воздвигают для того, чтобы их было видно – в самом деле, чтобы они привлекали взоры. Но в то же время памятники наполняет нечто отталкивающее внимание» (Young 1989, p. 71). Возможно, в устойчивом внимании к Мемориалу есть нечто от его неоконченной, постоянно меняющейся и расширяющейся композиции. Кроме того, вполне возможно, выдвигаемое им требование – поминовение без победы или согласия – также связано с его изменчивостью, причем не обязательно как результат чьего-то конкретного намерения, но в качестве тенденции тех коллективных процессов, которые привели к появлению Мемориала.

То, что Мемориал воспринимается как святыня и объект регулярных ритуальных действий, также подкрепляет наше предположение, что первостепенный источник его смысла является, согласно приведенной градации, операциональным. Однако происходящие здесь ритуалы не относятся к ритуалам в понимании Дюркгейма. Это не те ритуалы, которые призваны усилить коллективные чувства, собирая вместе участников ритуала и помещая их в более близкие и активные отношения друг с другом (Durkheim 1965, p. 241). Сила ритуальных собрания, которые здесь происходят, появляется вопреки, а точнее, потому, что в данном случае предмет поминовения слишком редко вызывает общие мысли и чувства. В ходе изучения Мемориала мы пришли к убеждению, что люди могут больше нуждаться в ритуале для болезненных и при этом противоречивых эпизодов прошлого, нежели в том случае, когда речь идет о болезненных эпизодах, но относительно их предмета и смысла в социуме существует согласие. Однако ритуалы не разрешают исторические противоречия – они лишь артикулируют их, делая память о них публичным достоянием и драматизируя ее. Будучи неспособными убедить друг друга в том, что не так было во Вьетнаме, люди, которые собираются у Мемориала, тем самым делают это с еще большим упорством, чем те, кто демонстрирует свою солидарность у сакральных объектов, посвященных любой иной войне.

Наконец, контексты и смыслы меняются. Придет тот день, когда имена, начертанные на мемориальной стене, будут известны лишь немногим из живущих. Тогда проявления чувств, которые провоцирует стена, будут не так остры; флаги и предметы, которые появляются на стене, станут редкостью; торжественности, которая сейчас сдерживает вступающих на территорию Мемориала, придет на смену легкомысленность; ритуальная взаимосвязь, которая сейчас соединяет святыню и паломника, станет обычным отношением между достопримечательностью и туристом. В этот день Вьетнамская война перестанет быть такой болезненной частью американской истории. Однако Мемориал ветеранов Вьетнама и его отдельные части, продолжая отражать различные стороны этой войны и различные убеждения на ее счет, будут хранить отголоски той двусмысленности, в атмосфере которой была впервые почтена память об этой войне.

ПРИМЕЧАНИЯ ПЕРЕВОДЧИКА

[a] *11 ноября 1982 года* – 11 ноября в США ежегодно отмечается национальный праздник – День ветеранов, провозглашенный указом президента Вудро Вильсона в 1919 году в честь окончания Первой мировой войны.

[b] *Национальный собор* в Вашингтоне заложен в 1907 году и является главным культовым объектом США. Использование собора в практиках коллективного поминовения имеет длительную традицию. В частности, здесь была совершена церемония по случаю окончания Первой мировой войны, а во время Второй мировой войны в соборе происходили ежемесячные мемориальные службы.

[c] *Арлингтонское кладбище* — Национальное военное кладбище в Арлингтоне, пригороде Вашингтона. Основано в 1865 году и предназначалось для захоронения солдат, погибших в Гражданской войне, для этого был конфискован участок земли у генерала Ли — главноко-

мандующего армией Юга. В настоящее время на кладбище погребено около 300 тыс. человек, в том числе не только участники войн, но и президенты США, председатели Верховного суда и астронавты.

[d] *Неделя ветеранов Вьетнама* проводилась 28 мая – 3 июня 1979 года.

[e] *Война в Ливане* – Вторжение Израиля в Ливан летом 1982 года с целью ликвидации баз Организации освобождения Палестины сопровождалось карательными акциями израильской армии в отношении мирного населения и вызвало резко негативную реакцию мировой общественности. В Израиле эта операция до сих пор официально не признана войной.

[f] *Сецессия* – Устоявшийся в американской историографии термин, обозначающий выход 11-ти южных штатов из состава США в 1860 году, а сама Гражданская война именуется «Войной Сецессии». День памяти Конфедерации сегодня отмечается в 14-ти штатах США в разное время года; традиция его празднования восходит к 1868 году, когда ветераны Конфедерации стали праздновать «день украшения» могил своих соратников.

[g] *Визит в Битбург* – Весной 1985 года в ходе визита Рональда Рейгана в ФРГ было запланировано посещение военного кладбища в городе Битбург, где находятся могилы 49 солдат СС. Предполагалось, что возложение венков на этом кладбище должно стать жестом примирения между США и Германией. Однако это вызвало негодование еврейской общественности США, в особенности потому, что в программе визита Рейгана не было «компенсирующего» посещения одного из нацистских концлагерей. В итоге 5 мая 1982 года Рейган посетил и мемориал жертвам Холокоста в Берген-Бельзене, и кладбище в Битбурге, где произнес речь о необходимости почтения памяти жертв тоталитаризма.

[h] *Этнографическое описание* – В американской науке термин ethnogra-phy обозначает в том числе исследование процесса, в который включен сам исследователь.

[i] *Могила неизвестного солдата* была открыта на упомянутом выше Арлингтонском кладбище 11 ноября 1921 года, останки были привезены из Франции. На могиле написано: "Здесь покоится в славе американский солдат, имя которого неизвестно никому, кроме Бога". Впоследствии рядом с ней появились могилы неизвестных солдат, павших во Второй мировой и Корей-ской войнах.

[k] *Расстрел солдатами Национальной гвардии студентов в Кент Стейт* – 4 мая 1970 года Национальная гвардия штата Огайо расстреляла демон-страцию протеста против оккупации Камбоджи в университете города Кент, в результате чего погибло четыре студента.

[j] *Среди главных попечителей были такие известные лица – Национальная городская лига* – американская организация, которая занимается социальными программами в области здоровья, образования, защиты граж-данских прав и повышения качества жизни, основана в 1920 году. *Боб Хоуп* (1903 – 2003) – американский комедийный актер, многократно выступал перед солдатами, участвовавшими во Второй мировой, Корейской и Вьетнамской войнах. *Роки Блэйр* (р. 1946) – американский бейсболист, участник Вьетнамской войны. Был ранен в ногу, но в 1971 году вернулся в команду «Питтсбург Стилерз» и выступал до 1980 года. Вице-адмирал Джеймс Бонд *Стокдейл* (1923-2005) провел во вьетнамском плену семь лет (1965-1972), с 1979 года президент военного колледжа Южной Каролины «Цитадель».

[l] *«Охотник на оленей»* – Фильм режиссера Майкла Чимино (1978), считается одним из лучших художественных произведений о Вьетнамской войне; обладатель пяти «Оскаров».

[m] *Клуб американских матерей золотой звезды* – Общественная организация США, осуществляющая поддержку матерей, потерявших своих детей в военных действиях; основана в 1928 году.

[n] *Национальный парк* (National Mall) занимает больше 125 гектаров площади в даунтауне Вашингтона, имеет в длину около 3 километров и простирается от Капитолия до мемориала Линкольна, рядом с ним находится Белый дом. На территории парка находится более 20 объектов, в том числе памятник Вашингтону, музеи истории Америки и натуральной истории, Национальная художественная галерея и т.д.

[o] *Данью уважения Джейн Фонде* – После визита в Северный Вьетнам в 1972 году американская актриса Джейн Фонда стала для американской армии символом предательства своей страны в военное время. Этот визит пришёлся на период ожесточённых налётов американской авиации на Северный Вьетнам, и основной целью поездки было привлечение внимания мировой общественности к бомбардировкам дамб, разрушавшим строившуюся веками ирригационную систему. За две недели Фонда побывала в деревнях, школах, больницах и на фабриках, пострадавших от авианалётов. Для неё была организована пресс-конференция с участием семи американских военнопленных, которые заверили её, что вьетнамцы не подвергают их пыткам, и выступили с заявлениями, осуждающими политику США в Юго-Восточной Азии. Всё событие было заснято на киноплёнку, отдельные кадры которой были выпущены в виде фотографий. Фонда несколько раз выступила по ханойскому радио с призывом к американским военнослужащим не участвовать в войне. При этом она, как сообщалось, назвала американских лётчиков «голубоглазыми убийцами», а о президенте Никсоне отзывалась как о «новом Гитлере».

[p] *Больше напоминают о деревенщине (Appalachia), чем о горожанах (Main Street).* – жители глубинных район Аппалачских гор являются нарицательным именем для обозначения косной деревенщины; словосочетанием Main Street нередко обозначаются городские рабочие и мелкая буржуазия.

[q] *Колхаун* – С этой фамилией шотландского происхождения не все так просто. Героя романа Майн Рида «Всадник без головы» капитана Колхауна вряд ли можно назвать сельским парнем, не говоря уже об одном из его потомков – современном социологе с мировым именем Крейге Калхуне (такова устоявшаяся русская транслитерация его имени).

[r] *Пастишеподобным* – Постмодернистский термин: вторичным.

[s] *Мемориал ветеранов Корейской войны.* – Решение о сооружении этого мемориала было принято Конгрессом в октябре 1986 года, открытие состоялось 27 июля 1995 года в 42-ю годовщину окончания Корейской войны (1950-1953).

[t] *Война 1812 года, Мексиканская война, Испано-американская война* – Англо-американская война 1812-1814 годов, в американской историографии известная также как Вторая война за независимость, была объявлена правительством Соединенных Штатов под влиянием группы «ястребов» в Конгрессе, стремившихся расширить территорию США за счет Канады и Флориды; заключенный мир зафиксировал довоенное статус-кво, поэтому война не имела объективных результатов для Америки. Американо-Мексиканская война 1846-1848 годов началась после аннексии Соединенными Штатами Техаса, отделившегося от Мексики еще в 1836 году. Война была начата Мексикой, в итоге потерявшей огромную территорию (нынешние штаты Калифорния, Нью-Мексико, Невада и Юта). В 1898 году Соединенными Штатами была объявлена война Испании под предлогом поддержки национального восстания на Кубе после взрыва американского броненосца «Мэн» в Гаване; в результате войны у Испании были отторгнуты Куба, Филиппины и Пуэрто-Рико, ставшие квазинезависимыми государствами под контролем США.

[u] *Вооруженные силы других государств принимали в Корейской войне чисто символическое участие* – на фоне американских потерь (36 516 человек) потери союзников США, официально участвовавших в Корейской войне под флагом ООН, действительно невелики; самые большие потери понесла Великобритания (1 109 человек).

Литература

Barber, Bernard. 1972. "Place, Symbol and the Utilitarian Function in War Memorials." Pp. 327-34 in People and Buildings, edited by Robert Gutman. New York: Basic.

Burnham, Walter Dean. 1982. The Curent Crisis in American Politics. New York: Oxford University Press.

Carlson, A. Cheree, and John Hocking, 1988. "Strategies of Redemption at The Vietnam Veterans Memorial" Western Journal of Speech Communication 52: 203-15.

Durkheim, Émile. 1965. The Elementary Forms of the Religtous Life. New York: Free Press.

Ehrenhaus, Peter, 1988. "Silence and Symbolic Expression." Communication Monographs 55:41-57.

_____. 1989. "The Wall." Critical Studies in Mass Commanication 6:94-98.

Foss, Sonia. 1986. "Ambiguity as Persuasion: The Vietnam Veterans Memori-al." Communication Quarterly 34:326—40.

Fox, Terrance M. 1989. "The Vietnam Veterans Memorial: Ideological Implications." Pp. 211-20 in Vietnam Images: War and Representation, edited by Jeffrey Walsh and James Aulich. New York: St Martin's.

Geertz, Clifford, 1973. The Interpretation of Cultures. New York: Bask.

Gibson, James W. 1989. "American Paramilitary Culture and the reconsti-tution of the Vietnam War." Pp. 10-42 in Vietnam Images: War and Representation, edited by Jeffrey Walsh and James Aulich, New York: St. Martin's.

Goldmaitn, Laden. 1964. The Hidden Gad: A Study of Tragic Vision m the Pensees of Pascal and the Tragedies of Racine. London: Routiedge & Kegan Paul.

Greenblatt, S. 1983. "Murdering Peasants: Status! Genre and the Represen-tation of Rebellion." Representations 1:1-29.

Griswold, Charles L. 1986, "The Vietnam Veterans Memorial and the Wa-shington Mall: Philosophical Thoughts on Political Iconography." Critical Inquiry 12:688-719.

Griswold, Wendy. 1987a. "A Methodological Framework for the Sociology of Culture." Pp. 1-35 in Sociological Methodology, vol. 17. Edited by Clifford Clogg. Washington, D.C.: American Sociological Association.

———.1987b, "The Fabrication of Literary Meaning." Journal of Sociology 92:1077-1117.

Gusfield, Joseph, and Jerzy Michalowicz. 1984, "Secular Symbolism: Studies of Ritual, Ceremony, and the Symbolic Order in Modem Life." Pp, 417-35 in Annual Review of Sociology, edited by Ralph Turner. Palo Alto, Calif.: Annual Reviews.

Haines, Harry W. 1986. "What Kind of War; An Analysis of the Vietnam Ve-terans Memorial " Critical Studies in Mass Communication 3:1-20.

Halbwachs, Maurice. 1941. La topographic legendaire des évangiles. Paris: Presses Universitaires de Franca.

————. (1950) 1980. The Collective Memory. New York: Harper & Row. Harris, Louis. 1980. ABC News Harris Survey. November 10.

Hertz, Robert. 1965. Death and the Right Hand. London: Black.

Hess, Elizabeth. 1983. "A Tale of Two Memorials." Art in America (April), pp. 121—26.

Inglis, Ken. "Men, Women and War Memorials; Anzac Australia". Daedalus 116:35-59.

Jeffords, Susan, 1988. "Things Worth Dying For: Gender and the Ideology of Collectivity in Vietnam Representation." Cultural Critique (Winter 1987-88): 79-103.

Johnson, Loch. 1976. "Political Alienation among Vietnam Veterans." Wes-tern Political Quarterly 29:398-410.

_____ .1980. "Scars of War: Alienation and Estrangement among Wounded Vietnam Veterans." Pp. 213-27 in Strangers at Home, edited by Charles R. Figley and Seymour Leventman. New York: Praeger.

Kertzer, David. 1988. Ritual, Politics, and Power. New Haven, Conn.: Yale University Press,

Los Angeles Times. 1985. Los Angeles Times Survey. April 26.

Lowenthal, David, 1985. The Past Is a Foreign Country. Cambridge: Cam-bridge University Press.

MacPherson, Myra. 1984. Long Time Passing. New York: Doubleday.

Marling, Karal Ann, and John Wetenhall. 1989. "The Sexual Politics of Memory: The Vietnam Women's Memorial Project and 'The Wall.' " Prospects 14:341-72.

McKeever, Robert J. 1989. "American Myths and the Impact of the Vietnam War: Revisionism in Foreign Policy and Popular Cinema in the 1980s." Pp. 43-56 in Vietnam Images: War and Representation, edited by Jeffrey Walsh and James Aulich. New York: St Martin's.

Mason, Bobbie Ann. 1985. In Country. New York: Harper & Row.

Mayo, James M. 1988. War Memorials as Political Landscape: The American Experience and Beyond. New York: Praeger.

Ortner, Sherry B. 1974. "Is Female to Male as Nature Is to Culture?" Pp. 67-87 in Women, Culture and Society, edited by Michelle Rosaldo and Louise Lamphere. Stanford, Calif.: Stanford University Press.

Palmer, Laura, 1987. Shrapnel in the Heart: Letters and Remembrances from the Vietnam Memorial. New York: Random House.

Schmitt, Raymond L. 1989, "Sharing the Holocaust: Bitburg as Emotional Reminder." Symbolic Interaction 10:239-98.

Schudson, Michael 1989. "The Present in the Past versus the Past in the Present." Communication 11:105-13.

Schwartz, Barry. 1982, "The Social Context of Commemoration: A Study in Collective Memory." Social Forces 61:374-402.

Schwartz, Barry, Yael Zerubavel, and Bernice Barnett. 1986. "The Recovery of Masada." Sociological Quarterly 27:147-68.

Scruggs, Jan C., and Joel L. Swerdlow. 1985. To Heal a Nation: The Vietnam Veterans Memorial. New York: Harper & Row.

SMIs, Edward. 198L Tradition. Chicago: University of Chicago Press,

Shils, Edward, and Michael Young. 1953. "The Meaning of the Coronation." Sociological Review. 1:63 -81.

Turner, Victor, 1967. The Forest of Symbols. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, U.S. House Committee on Veterans' Affairs. 1981. Legacies of Vietnam: Comparative Adjustment of Veterans and Their Peers. Report no. 14. March 9. Washington, D.C.: Government Printing Office.

U.S. House of Representatives. 1979. Congressional Record. May 24. Washington, D.C.: Government Printing Office.

———. 1982. Congressional Record. December 13. Washington, Government Printing Office.

U.S. Senate. 1980. Congressional Record. April 30. Washington, D.C: Go-vernment Printing Office.

Warner, W. Lloyd. 1959. The Living mid the Dead. New Haven, Conn.: Yale University Press.

Washington Post. 1982. ABC News/Washington Post. March 23.

———. 1985a. ABC News/Washington Post. February 2 2 .

———. 1985b. ABC News/Washingion Post. March 25.

Wheeler, John. 1984. Touched with Fire: The Future of the Vietnam Genera-tion. New York: Avon.

Young, James E. 1989. "The Biography of a Memorial Icon; Nathan Rapoport's Warsaw Ghetto Monument. Representations. 26:69-106.

Научная жизнь

УЧЕНЫЙ И ВЛАСТЬ: ВЗГЛЯДЫ И КОММЕНТАРИИ

В.П. Макаренко
Южный федеральный университет

Аннотация: *В статье рассматриваются позиции участников и излагается ход острой дискуссии на всероссийской конференции «Наука и власть: социокультурные модели взаимодействия».*

Ключевые слова: *положение российской науки, оценки государственной политики в отношении науки, будущее российской науки.*

В Российской академии наук существует Комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований. С 2006 г. она издает бюллетень «В защиту науки». В нем публикуются статьи по острым проблемам науки, общества и политики. Уже накоплен солидный материал, требующий анализа[1].

В 2009 г. ученые написали Открытое письмо Президенту РФ. Основное содержание письма сводится к констатациям: нынешнее поколение ученых вымирает; научного задела на будущее нет; в Российской академии наук средний возраст ученых около 59 лет, многим далеко за 60; молодежь не хочет идти в науку, стремится получить образование и укатить на Запад.

В начале 2011 г. число подписавших письмо перевалило за 2000[2]. По данным Росстата в 2008 г. число ученых в России составляло 375 тыс. Значит, более 0,5% ученых уже заняло определенную позицию. Если навербовать в сторонники еще примерно столько же, – число будет соответствовать политически значимой микротенденции[3].

Открытое письмо породило виртуальные следствия. Осенью 2009 г. в Санкт-Петербурге состоялся круглый стол на тему «Ученый и власть». Весной 2010 г. материалы круглого стола изложены в небольшой книге[4]. Затем редакционная версия этого события опубликова-

[1] См.: http://www.ras.ru/digest/fdigestlist/bulletin.aspx.
[2] См.: http://www.polit.ru/science/2010/07/14/press_conf_eo_mg_ab.html.
[3] См.: Пенн М.Дж. Микротенденции: маленькие изменения, приводящие к большим переменам. М., АСТ, 2009.
[4] См.: Ученый и власть: круглый стол, 12 ноября 2009 г. – СПб.: СПбГУП, 2010.

на в журнале «Человек»[5]. Летом 2010 г. в Москве вышел также сборник статей «Подвластная наука? Наука и советская власть»[6]. В этом сборнике содержится историко-научная реконструкция негативного опыта сосуществования науки и СССР. Опыт борьбы ученых за автономию своей личности и за автономию науки сегодня представляет особый интерес, поскольку власть стремится аннигилировать Российскую Академию наук. Осмысление этого опыта может дать импульс свободе личности и свободе научного поиска.

Центр политической концептологии Северо-Кавказского НИИ экономичес-ких и социальных проблем Южного федерального университета вносит свою лепту в осмысление. В апреле 2008 г. в Ростове-на-Дону состоялась всероссийская конференция «Наука и власть: социокультурные модели взаимодействия». 1 сентября 2010 г. прошла дискуссия на тему «Ученый и власть». С докладами выступили Э.И. Колчинский (Санкт-Петербург), А.Н. Олейник (Москва), В.П. Макаренко (Ростов-на-Дону). Затем докладчики переместились в лагерь ЮФУ «Лиманчик» (Абрау-Дюрсо) и прочли студентам и аспирантам ЮФУ лекции по теме «Феномен подвластной науки».

Свой подход к проблемам «наука и политика», «ученый и власть» я уже сформулировал давно, а в последние годы его многократно обновлял[7]. В данной статье изложу взгляды коллег на проблему и выскажу несколько комментариев.

Исходный сюжет и мнения группы поддержки

Круглый стол на тему «Ученый и власть» был организован Санкт-Петер-бургским гуманитарным университетом профсоюзов совместно с редакцией журнала «Человек». В его работе приняли участие известные историки науки, философы, писатели, политологи, культурологи.

Дискуссию открыл ректор СПбГУП, профессор А.С. Запесоцкий[8]. Он напомнил, что вожди СССР отучили ученых от диалогов с властью. Однако в 1990-е годы диалог восстановился, а в 2009 г. обострился. Поводом стало упомянутое письмо. Бывшим советским гражданам надоела нищенская жизнь ученых в России. Они уехали в иные страны, теперь там работают. А.С. Запесоцкий возмутился этим фактом. Посчитав, что они решили «продаться Западу», он взял прокурорский тон: «Не дав компенсации Родине, они выехали за границу. А теперь оттуда критикуют организацию научной жизни России» (Все цитаты приводятся по тексту книги «Ученый и власть». – В.М.).

По мнению А.С. Запесоцкого, письмо западных ученых организовано отечественными чиновниками, которые такими происками хотят истребить Российскую академию наук. Письмо уже инициировало очередной виток нападок власти на науку. А.С. Запесоцкий считает, что среди авторов письма из-за рубежа всего 2-3 ученых мирового уровня. Остальные «третьесортные» (или «пятые-мохнатые», как мы шутили в детстве. – В.М.). Они устроились на Западе, теперь хотят получить экстра-условия в России. Отечественные светила мировой науки работают в стране и ничего не просят. Получают зарплату в несколько тысяч рублей,

[5] См.: Ученый и власть. Круглый стол журнала «Человек» и Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов // Человек. 2010, № 3.

[6] См.: Подвластная наука? Наука и советская власть. Рос. акад. наук, Ин-т философии; сост., научн. ред. С.С. Неретина, А.П. Огурцов, М., «Голос», 2010.

[7] См.: Макаренко В.П. Наука и политика в области науки. Ростов-на-Дону, 1978. Его же. Научно-техническая контрреволюция: актуальность идей М.К. Петрова // Вестник МГУ. Серия 18. Социология и политология. 2007, № 2. Его же. Техно-якобинцы на подхвате // Политическая концептология. 2010, № 1. Его же. Jus resistendi и дрессированные зайцы // Политическая концептология. 2010, № 2; http://politconcept.sfedu.ru. Его же. Техно-якобинцы в научно-технической контрреволюции // Человек. 2010, № 3.

[8] См.: http://ru.wikipedia.org/wiki/.

молодежь работает почти бесплатно. Поэтому ученые стоят перед выбором: измена Родине или жизнь в нищенских условиях.

В этом месте А.С. Запесоцкий плюнул вслед паровозу – возмутился тем, что в начале 1990-х годов «третьесортный» преподаватель научного коммунизма Г. Бурбулис и «второсортный» макроэкономист Е. Гайдар разработали модель экономического развития России. РАН предсказывала провал гайдаровской реформы. Это подтвердилось: страна прошла через «шоковую терапию», уровень производства упал до показателей 1960-х годов, экономика разрушена. Ученые России и США (включая Нобелевских лауреатов) дважды (в 1996 году и 2000 году) предупреждали правительство России в гибельности избранного пути. Власть пренебрегла советами. Продолжает свой пагубный курс. Значит, научные рекомендации власти не нужны. Она сращена с крупным капиталом, обогащается за счет народа. Отсюда национальный позор – Россия не может угнаться за Китаем! Одновременно власть затеяла демагогические разговоры об инновациях и нанотехнологиях. Один губернатор (А.С. Запесоцкий не указал фамилию, имя, отчество…) получил деньги из бюджета на ремонт дорог тогда, когда написал в заявке, что будет ремонтировать дороги с помощью нанотехнологий.

Затем профессор похвалил компанию, к которой принадлежит сам – в соответствии с классической советской классификацией социальной структуры: «два класса, одна прослойка». Но он углубил эту схему, вынув из сундука еще более ветхую идеологическую тряпку: российский ученый всегда интеллигент, – т.е. хорошо образован, обладает интеллектуальной независимостью, является «совестью нации». Ученый без совести может быть, бессовестных интеллигентов не бывает, – срезонировал А.С. Запесоцкий. Если власть действует во вред народу – интеллигенция должна быть в оппозиции; если власть действует во имя народного блага, оппозиция бессмысленна. По мнению А.С. Запесоцкого, драма в том, что интеллектуально независимых людей мало. Работники РАН интеллектуально частично независимы от власти, но экономически и административно продолжают от нее зависеть. Ректоры вузов (включая докладчика) полностью зависят от власти.

Еще чуть спустя, ректор гуманитарного университета всколыхнул прах двух советских академиков – физика-атомщика А. Сахарова и филолога Д. Лихачева. Со ссылкой на их социально-политический габитус А.С. Запесоцкий предложил две модели отношения между ученым и властью. Модель Сахарова такова: на основе авторитета в стране и за рубежом ученый заявляет о безнравственности власти и вступает с ней в конфронтацию. Модель Лихачева иная: сотрудничество с властью. Он не сбежал на Запад, не подписывал никаких писем и не писал доносов. Зато все чаще выступал по морально-нравственным проблемам. Своим авторитетом он начал давить на власть, балансируя на грани возможного и невозможного. За ним следил КГБ СССР. Его избили в подъезде собственного дома, дочь сбил автомобиль. Но вслед за Сахаровым Лихачев не поддавался соблазну денег. Оба могли бы жить богато в советское время на валютные гонорары, но не отступали.

Суждения А.С. Запесоцкого были поддержаны некоторыми участниками круглого стола. Профессор А.В. Воронцов (директор библиотеки РГПУ им. А.И. Герцена и член Союза писателей России) напомнил слова П.Л. Лаврова о неоплатном долге интеллигенции перед народом. Если с этой меркой подойти к российскому обществу, то мало интеллигентов честно служит отечеству и народу. Большинство приспосабливается, служит власти, чиновникам, олигархам. Не любит ни страну, ни народ.

А.В. Воронцов сослался на то, что Президент РФ Дмитрий Медведев уже не раз призывал верно отражать историю. Однако на днях, – сетует профессор, – я присутствовал на конференции, посвященной значению Великой Октябрьской социалистической революции. Чего я там только не наслушался от маститых ученых Москвы, Санкт-Петербурга! Чаще всего звучало: «Это заварушка, кровавый переворот, потому что в этот день булки не завезли, поэтому недовольные солдаты напились допьяна и пошли штурмовать Зимний дворец».

А.В. Воронцов назвал это «кухонной историей». И впал в сокрушение: «Когда она преподносится из уст людей, называющих себя учеными, меня дрожь пробирает. Куда мы идем? Октябрьская революция была великой и потрясла мир. За 6 месяцев советская власть была установлена во всей огромной стране, большевики спасли империю, которую царизм потерял. Разве это минус? Большевики отразили напор 14 государств Антанты, а значит, эта революция была поддержана народом. Я постоянно говорю, что трагедия русской революции в том, что в большей степени ею воспользовались другие страны и народы. Благодаря Октябрьской революции рухнула колониальная система империализма.

А сколько сейчас пишут небылиц о Великой отечественной войне! В последнее время в этот процесс включается Русская православная церковь. Отдельные представители Русской зарубежной церкви стояли на стороне фашизма и ждали поражения России. Но и сегодня профессор Духовной академии (А.В. Воронцов не назвал имя или редакторы изъяли имя из текста. – В.М.) пишет одну статью за другой о том, что нужно воссоздать общество предателей-власовцев. Так разве мы можем идти вперед? Поэтому я призываю нашу интеллигенцию служить своему отечеству и народу».

Первый комментарий. Главная идея доклада А.С. Запесоцкого может быть обозначена как плач о погибели русской науки – по аналогии с древним религиозно-литературным жанром, восходящим к Ветхому Завету. А.С. Запесоцкий актуализировал иеремиаду, включив в нее смысловые вопли: если ученые жалуются вершине власти своей страны на свое бедственное положение – это явление нормальное; если же ученые, никому не жалуясь и никого не спрашивая, переезжают в другую страну из-за переплетения плохих материальных условий в своей стране с невозможностью профессиональной самореализации в ней – это измена Родине; рекомендации АН СССР о том, как надо было развиваться стране в 1990-е годы, являются абсолютной истиной; сочинение доносов – норма жизни советских ученых, поскольку уникальность Д. Лихачева (как утверждает А.С. Запесоцкий) состоит в том, что он доносов не писал[9]; отставание России от Китая - национальный позор.

Вначале мне стало жалко китайцев. Я вспомнил: сегодня в Китае живет около полутора миллиардов человек. А в России всего около полутора сотен миллионов громадян. Следует ли отсюда, что один россиянин прогрессивнее десяти китайцев? Откуда взялся снобизм русских в отношении китайцев?

Для ответа пришлось нырнуть в библиотеку. Русский писатель В. Крестовский в 1880-1881 гг. участвовал в походе из Одессы в Японию. Среди прочих стран посетил Китай: «Было пыткой стоять на солнцепеке и нюхать в непосредственной близости специфический запах китайцев, состоящий из смеси касторового и кокосового масла, чеснока и пачули»[10]. Одновременно Крестовский констатирует: в китайских театрах для мандаринов и ученых людей всегда имеется особые почетные места, соблюдается строгое различие между чинами и сословиями. Купец не может сидеть рядом с мандарином, а чернорабочий с купцом: «Это черта народа гражданственного и, что главное, убежденного в превосходстве своей гражданственности»[11].

Итак, русский путешественник морщится от китайской вони, но одобряет китайский пиетет перед саном и властью, считая его признаком «гражданственности». Значит, ксенофобия может существовать даже на уровне обоняния – с одновременным ее уравновешиванием соображениями социально-политической иерархии. Для пропорции надо бы привести мнение китайцев о том, как воняют остальные народы (включая русских, ведь мы тоже не дура-

[9] Однако А.С. Запесоцкий не привел доказательств, что Д. Лихачев не писал доносов. Это еще раз свидетельствует о значимости проблемы люстрации советского истеблишмента, включая научный.
[10] Крестовский В. В дальних водах и странах. Москва, Центрполиграф, 2002, с. 341.
[11] Там же, с. 328

ки закусить водку чесноком или луком…) и как китайское обоняние связано с китайской оценкой чужеземных представлений о чине и власти. Таких записок мне не попадалось.

Теперь рассмотрю следующий тезис А.С. Запесоцкого. Речь идет о социальной сути жалобы как жанра литературы[12]. Жалоба — составная часть бюрократического управления государством. Она создает у подданных чувство некоторой свободы в отношении чиновников низших уровней. Эта «свобода» связана с культивируемым убеждением: вершина власти всегда готова реагировать на социальную несправедливость и бедствия народа. Такая иллюзия связывает подданных с правительством. Подавая жалобу, подданный заявляет о своей солидарности с вершиной власти. Признает эффективность государственного управления в целом, ведь обжаловаться могут только отдельные факты. Тем самым существующее управление в целом признается вполне пригодным. Задача может состоять только в улучшении частностей. Но такого же мнения придерживаются чиновники. Поэтому по числу и частоте подачи жалоб можно судить о том, насколько бюрократическое управление преобразовалось в стереотип массовой политической психологии.

При этом вершина власти осознается как средоточие порядка, истины, блага и справедливости. Это убеждение типично бюрократическое: чем выше в иерархии стоит лицо или орган — тем больше они квалифицируются как сгущение познавательных, моральных и политических ценностей. Жалоба свидетельствует о глубоком проникновении в сознание подданных принципа иерархии. Между моментами подачи жалобы, ее рассмотрения, принятия решения и изменениями (которые всегда гипотетичны) располагаются более или менее длительные промежутки времени. Гражданин превращается в просителя. Это тягостно для его достоинства. Но жалоба не останавливает бюрократическую машину. Перегруппировка лиц или органов, которая может быть вызвана жалобой, вполне вписывается в бюрократическое отношение и ничем ему не грозит.

Оборотная сторона жалобы — приписывание всеобщности мнениям должностных лиц. Как правило, они интересуются не столько познанием стоящих за жалобой явлений, стоящих за жалобой, сколько политической квалификацией любых суждений. Представитель власти обычно осознает себя как тождество познавательных, моральных, политических и идеологических ценностей. В результате истинность приписывается мнениям людей, занятых в аппарате власти. Толкование всех остальных мнений оказывается привилегией бюрократии.

Итак, докладчик и часть дискутантов воспроизвели шаблоны советского государства и бывшей официальной идеологии, включая два неписаных права: право подданных жаловаться на свое бедственное положение; право высшего лица государства устанавливать историческую истину. Сам факт написания и публикации Открытого письма свидетельствует, что стандарты бюрократического управления государством до сих пор признаются нормой, даже среди ученых. Ведь никто из участников круглого стола их не заметил и не сделал предметом обсуждения. Зато к праву высшего лица государства устанавливать истину коллеги отнеслись кисло.

Пляска дикарей и расхожие пошлости

По мнению М.А. Сорокиной (Архив РАН), изложенная в докладе А.С. Запесоцкого история Академии наук СССР в XX веке не выдерживает никакой критики. В СССР был создан образ «советской науки». В современной России создаются мифы о русском «научном андерграунде» и «репрессированной науке». Все эти мифы нужно отвергнуть.

И.С. Дмитриев (СПбГУ) сказал, что история российской/советской науки всегда вызывала у него «нравственное противодействие». Русская революция в основном повторила французскую. Ленин с Дзержинским даже прикидывали, кем бы они могли быть в революци-

[12] См.: Макаренко В.П. Жалоба / Политология. Энциклопедический словарь. М., 1993.

онной Франции. Якобинцы уничтожили сотни людей, в том числе ученых Французской академии наук. Причины французского и советско-российского террора сходные: естественные науки отказываются от создания национальной индустрии; гуманитарные науки востребуются лишь тогда, когда власть хочет силу слова превратить в силу власти. Вот и Президент РФ Дмитрий Медведев с помощью своего окружения занимается вопросами фальсификации истории.

История — капризная дама, особенно в России. У Ницше есть яркий образ: вокруг истукана идет пляска дикарей, которые ему поклоняются и подмигивают друг другу. И.С. Дмитриев полагает, что такова модель российской гуманитарной интеллигенции. Причем, это не уникальная история советского государства. Во все времена все правительства руководствовались тремя аргументами: безопасности (военной, экономической и пр.); финансовой, геополитической и иной выгоды (в этом отношении Россия вела себя глупо: завоевывала территории, с которыми не знала, что делать); престижа (ради этого России приходилось делать хорошую мину при плохой игре).

«Сейчас мы хотим создать замечательную историю, – продолжил И.С. Дмитриев, – и двигаться вперед, непонятно куда. Но в науке нельзя никого догнать»[13]. Российские специалисты уже не понимают, о чем говорят их зарубежные коллеги. Так что фраза на процессе Лавуазье «Республика не нуждается в ученых» актуальна в России. Но у нас «точка невозврата» (как говорят летчики) пройдена. Нынешняя власть любит говорить о модернизации. Однако за последние 100 лет (то есть после 1917 г.) это означало милитаризацию страны или заурядное воровство. Поэтому тема «ученый и власть» в России себя исчерпала. В России осталось мало специалистов мирового класса. Им не о чем говорить с властью.

Профессор И.С. Дмитриев назвал «расхожей пошлостью» сентенцию А.С. Запесоцкого об измене Родине. «А разве эта самая Родина, – поставил вопрос И.С. Дмитриев, – не предает своих людей, в первую очередь одаренных и трудолюбивых?» И рассказал такой факт: приходит к нему первокурсник и уверяет, что хочет работать в России. Я говорю ему: «Хорошо. Но когда к IV или V курсу ты захочешь уехать отсюда, чтобы заниматься тем, чем хочешь, тогда приходи, я дам тебе адрес, куда обратиться». Пришел он ко мне за этим адресом уже на III курсе. Все лучшие уезжают. Так что надо ставить вопрос о родине, где остались третьесортные ученые, а первосортные все уехали на Запад. Но всю работу делают именно третьесортные, без них никакой Максвелл ничего не сделает»[14].

И.С. Дмитриев усомнился в Д. Лихачеве как эталоне нравственности. Специалисты знают, что Дмитрий Донской защищал интересы Тохтамыша, Чингизида, воюя против Мамая, не Чингизида, и Тохтамыш говорил о «нашей» победе. Однажды в личной беседе И.С. Дмитриев сказал Д.С. Лихачеву: «Дмитрий Сергеевич, но Вы-то как специалист знаете, кем был Александр Невский?» Он ответил: «Да, я знаю. Но тогда у нас вообще никого не останется». Иначе говоря, соображения тоталитарной власти Д. Лихачев ставил выше исторической истины.

---

[13] История науки показывает: отсталая страна (например, Англия рубежа XVIII–XIX столетий), со слабой наукой, вдруг за какие-нибудь 40–50 лет вырывается вперед. Появляются Фарадей, Максвелл, другие выдающиеся ученые. Англичане не догоняли французов — они зашли с другой стороны. А французам все же удалось сохранить науку. Она перешла в вузы. У нас ничего этого нет.

[14] И.С. Дмитриев напомнил, что Дмитрий Менделеев боролся за развитие индустрии, без которой страна не может существовать. Началась Первая мировая война, а в России химическая промышленность отсталая, при том что здесь жили великие химики — Менделеев, Бутлеров и др. А что значит работать химиком в России? Колба разбилась — в черепках работали. При таком обеспечении много не сделаешь. Когда началась война, России не хватало снарядов. Металлические оболочки имелись, а начинки (взрывчатых веществ) не было, потому что сырье для взрывчатых веществ (бензолотолуол) мы получали из Германии. Началась война с Германией — все поставки прекратились. Вот и миллионы жертв. Тогда появляется в военном журнале статья «Не послушались Менделеева». На мой взгляд, если продолжить этот ход мысли, изменниками родины были и остаются далеко не ученые…

Ю.В. Зобнин (СПбГУП) тоже считает неуместным вопрос: предают или не предают родину ученые, выезжающие за рубеж? Во время противостояния СССР и капиталистического мира четко проходила граница: здесь — наши, там — чужие. В 1990-е годы Россия сделала выбор в пользу США, Израиля, Южной Кореи. Но по сравнению с европейскими демократиями Россия – страна отсталая в промышленном и в культурном отношении. Поэтому о Советском Союзе, его политике и амбициях надо поскорее забыть. Мертвого с погоста не воротишь. Россия хочет объединиться с Европой. Сейчас поездка в Великобританию, Францию или Германию не воспринимается как поездка в чужой мир. Поработав за рубежом, русские ученые будут возвращаться домой. Это станет обычным перемещением в едином культурном пространстве.

В заключение Ю.В. Зобнин отметил: «Нам хочется быть главными, но объективные процессы в мире уже совершенно другие. Власть обычно самоидентифицируется, развивая некую «национальную науку». Если власть равнодушна к науке и культуре, значит, завершается бытие данной этносистемы в том виде, в каком она существовала до тех пор. Конечно, Россия погибнет, как все великие цивилизационные системы — Римская империя, Византия и др. Но смерть в истории не есть смерть в личности — это просто изменения и трансформация… Этот объективный процесс надо учитывать».

А.П. Марков (СПбГУП) оспорил тезис Запесоцкого о том, что А. Сахаров и Д. Лихачев олицетворяли два типа отношения к власти. На деле оба преданно ей служили. Для подтверждения он привел эпизод из жизни Сахарова. Когда тот открыл концепцию бомбы «Атлантида» (которая должна была полностью уничтожить Англию с островами и часть Западной Европы), он как ребенок прыгал от радости. Сахарова остановили военные, а не ученые. События последних лет его жизни, когда он стал диссидентом, не имеют отношения к Сахарову как ученому.

Г.М. Бирженюк (СПбГУП) напомнил, что экономическая программа академиков РАН Л.И. Абалкина и А.Г. Аганбегяна была возвратом к социализму и оказалась мифом. Со ссылкой на Аганбегяна Горбачев говорил, что скоро мы займем первое место в мире по развитию технологий в машиностроении. Можно сходить в магазин и убедиться, сколько и какой отечественной продукции там лежит на полках.

Стало быть, главные тезисы А.С. Запесоцкого были оспорены.

Модель нормального сотрудничества ученого с властью?

Э.И. Колчинский (Санкт-Петербургский филиал ИИЕТ) отверг саму идею об интеллигенции как совести нации. Взамен Эдуард Израилевич предложил другой ход мысли. Взаимодействие ученого и власти сложно, особенно если власть преступная. Не бывает власти, которая хорошо бы относилась к народу. В России почти не было периодов, когда общество контролировало власть. Поэтому ученым не удавалось сохранить свои убеждения.

Эти посылки профессор Колчинский развил на примере В.И. Вернадского. Тот стоял у истоков советского уранового проекта, но не был вовлечен в создание атомной бомбы. Вернадский был в оппозиции к власти и во власти одновременно. До революции он был политическим деятелем, одним из создателей и членов ЦК партии кадетов. После революции его ценили как радиогеолога, но критиковали за биогеохимию. В 1950-е годы за биогеохимию Вернадского уже хвалили. Перестройка создала образ Вернадского – честного человека, заступника за репрессированных, критика официальной советской философии. Вокруг его имени подняли шум. Его книги выходили тиражами в десятки тысяч. Затеяли издание полного собрания сочинений. Проводились посвященные ему конференции. Подготовлены к публикации дневники. Редко удается изучить чью-то жизнь и наследие столь всесторонне. Владимир Вернадский с детства хранил все свои заметки. Когда собрали их воедино, общая картина сложилась подробная.

Вернадский был интеллигентом, ученым, самостоятельным человеком. Но если рассматривать отдельные периоды его жизни, то можно считать его и образцом русской интеллигенции и приспособленцем, ничем не интересующимся, кроме получения денег.

Э.И. Колчинский крупными и точными мазками набросал эскиз жизненного пути ученого. Вернадский разрабатывал задачу свержения царского режима и создания рационального общества. Создал прекрасные проекты развития науки и образования в стране. При Временном правительстве стал председателем комитета в Министерстве сельского хозяйства, заместителем министра народного просвещения, разработал серию научных институтов. Но все его начинания останавливаются. Он хотел все это сделать ради народа. Оказалось: народу ничего подобного не нужно. В том числе – интеллигенция.

Происходит Октябрьская революция. Вернадский пытается организовать сопротивление. Подписывает письмо протеста, требует созыва Учредительного собрания. Но большевиков не покритикуешь. Вернадский уезжает на Украину. Там он занимается организацией Академии наук Украины. Но оказывается, что наука не нужна ни националистам, ни руководителям Белого движения, ратовавшим за «единую и неделимую Россию и российскую науку».

Вернадский в ужасе от происходящего. Называет людей варварами, каннибалами, свиньями. Говорит, что надо загнать в хлев эту «взбесившуюся конягу». Не видит ни одной идеологии, которая могла бы что-то противопоставить этому исступлению, включая Белое движение. Этот патриот постоянно думает: что лучше для России — победа французов, немцев, поляков или кого-то иного? В итоге приходит к выводу: лучше всего, если победят большевики; они — единственная сила, которая может совладать с хаосом гражданской войны; ничего страшного, если большевики установят принудительный труд. Когда Вернадский стал главой Таврического университета, ему предлагают вернуться в Россию. Он собирался уехать за границу, но заболел тифом. В бреду ему показалось, что он призван стать великим ученым, что создаст мироспасительную концепцию. Что на берегу Тихого океана будет построен институт, разрабатывающий его идеи. И там будет его молодая жена. Так Вернадский остался в России.

Он возвращается к большевикам в первый раз — и удивляется: никакой идеологии, мародерство, полный развал, Академия наук впала в рабское состояние, идут гонения на высшую школу, лучших ученых выслали из страны на так называемом «философском пароходе»[15]. В этих условиях Вернадский считает, что ему тоже надо уехать за границу. Большевики отпускают его вместе с женой во Францию, в Сорбонну. Вернадский становится академиком Парижской академии наук, читает лекции, печатает книги. Но проходит год-другой, а его книгами никто не интересуется. Вернадский размышляет о переезде в США, но и там его идеи никому не нужны.

Тогда он начинает думать, что главное – спасти науку, остальное преходяще. Переговоры о возвращении были трудными, но успешными. Вернадский удачно сторговался: если ему дадут то-то и то-то, – он вернется. Но ученый рисковал жизнью. Когда у Дзержинского спросили, как они поступят с Вернадским, тот ответил: «Мы его допросим, и если он в чем-то виноват, то мы, конечно, его хлопнем, а если ни в чем не виноват — дадим институт, пусть работает».

Вернадский получает возможность сравнивать. Видит, что в победившей Европе ученым было плохо. Им никто не давал деньги на исследования, был страшный кризис. А в России только работай. Он начинает сотрудничать с новой властью, но не становится ее частью. В академическом сообществе он стал именно тем человеком, который проводил идеи нормального сотрудничества с властью. Особенно Вернадскому понравился конец культурной

[15] Главной целью преследований были не философы, многие из которых уже вполне приспособились к происходящему. Выслали, прежде всего, ректоров, деканов и профессоров, которые имели авторитет у студентов и представляли угрозу режиму.

революции, когда начался поворот от пролетарского интернационализма к возрождению имперских традиций. А когда начали стрелять коммунистов, это ему еще больше понравилось: власть очищается. Вернадский начинает думать, что это нормально. Ведь инквизицию тоже возглавляли нравственно чистые люди. А разве без насилия можно заставить работать? Он пишет, что в будущее смотрит с оптимизмом, потому что в конце будет царство разума и диктатура ученых.

Сталинский режим Вернадский считал последним этапом перехода к ноосфере. Э.И. Колчинский напомнил его знаменитое высказывание: биосфера идет в унисон с нашей демократией. При этом Вернадский имел в виду сталинский режим. Он говорит, что у него подход естествоиспытателя. Ведь каждый шаг в эволюции оплачен гибелью миллионов особей, оправданной с точки зрения естественного отбора. Он полагает, что то же происходит и в СССР: люди гибнут ради развития нации, человечества. В этом нет ничего особенного. При оценке власти Вернадский задается вопросом: какой правитель хороший — тот, который противодействовал Чингисхану, или тот, который пошел с Чингисханом и спас страну от разграбления? Себя он считал человеком, который должен спасти страну путем развития науки.

В заключение профессор Э.И. Колчинский констатировал сложность и неоднозначность фигуры Вернадского. Но он всегда оставался верным науке. Главное в оценке человека, – то, как он исполнял свой профессиональный долг. Э.И. Колчинский полагает: неважно, каких политических взглядов придерживается парикмахер, главное — чтобы он хорошо стриг. А Вернадский свое дело выполнял хорошо. Благодаря Вернадскому: создана мощная российская наука, ряд академических институтов; возникла урановая промышленность; появился советский атомный проект. С этой точки зрения Вернадский внес громадный вклад в развитие российской культуры, несмотря на сложности его жизненного пути. В 1940-е годы атомное оружие для СССР означало сохранение российской идентичности. Были планы бомбить Советский Союз. Пока в СССР не появилось ядерное оружие, ситуация была сложной.

Эксперты в штатском, новый запой, помойная яма и духовный деспотизм

Главные идеи доклада Э.И. Колчинского были развиты и дополнены другими участниками дискуссии. Г.М. Бирженюк (СПбГУП) выдвинул два тезиса:

Все присутствующие живут в СССР, поскольку: Россия при распаде СССР установила правопреемство не с дореволюционной Россией, а с СССР, приняв на себя все его долги и обязательства; сохраняется топонимическое и культурно-символическое пространство СССР (города и улицы по-прежнему носят имена основателей и героев СССР – Ленина, Чапаева, Буденного, Дзержинского, Тухачевского, Блюхера и пр., музыка гимна та же); после событий в Беслане В. Путин сказал: «Советский Союз рухнул, и это величайшая геополитическая катастрофа XX века. Но мы сохранили его основную часть и назвали ее Российской Федерацией». СССР продолжает жить в качестве и под именем Российской Федерации. Юридически это называется «правовое продолжательство».

Но в России разорвана преемственность науки в обществе. Советская власть нуждалась в науке и финансировала ее. Однако в основном это касается областей знания, работавших на оборону. В России ситуация иная. По российским данным от 500 до 800 тыс. ученых покинули страну за последние 18 лет. Зарубежные источники говорят о 200 тыс. ученых. Уехала самая работоспособная часть. Большинство оставшихся не обладают авантюризмом (от итал. avante — вперед), без которого невозможны научные открытия и продвижение идей. Средний уровень зарплаты ученых в США и Европе 5–7 тыс. долларов. В России зар-

плата еле дотягивает до 1000 долларов, да и то после всех государственных поддержек и грантов. Бюджет науки в Советском Союзе составлял 2 % ВВП, сегодня — 0,3 %. Весь бюджет российской науки — это 30 млрд рублей, что составляет примерно 1 млрд долларов. Вся российская наука — и Гарвардский университет США получают равное финансирование.

22 ноября 1917 года Сенат Российского государства объявил захват власти большевиками преступлением, подпадающим под статью 108 Уложения об уголовных наказаниях Российского государства (вооруженный мятеж с попыткой захвата власти). За это преступление мятежники подлежат смертной казни. Однако служащие сенатской типографии отказались печатать это решение. Большевики и Ленин объявили Сенат распущенным, законы Российской Империи — недействительными. Тогда столкнулись два правовых принципа: законы Российской империи и революционное правосознание. Победило правосознание, которое потом облеклось в форму законов. Сегодня опять возрождается революционная целесообразность.

Начали практиковаться суды над учеными[16]. Принято законодательство, которое запрещает присяжным участвовать в судах, где рассматриваются дела, которые ведет ФСБ. Сегодня ученый оказался один на один с крайне опасной частью власти.

В Советском Союзе гуманитарные науки назывались общественными, с приставкой «марксистско-ленинская» (этика, эстетика, философия, политическая экономия). Эта наука-религия обслуживала власть и отбирала жрецов, которые могли ее исповедовать. На кафедрах могли работать только члены КПСС. Читать они могли предмет по каноническим текстам. Власть использовала общественные науки для пропаганды и оправдания своих действий, в том числе репрессивных. Сегодня обнаружилось, что власти опять нужна гуманитарная наука. Возникает Комиссия по противодействию фальсификации истории, выходит учебник Филиппова, где Сталин называется способным менеджером, а некоторые его «ошибки» считаются порождением объективных обстоятельств. УФСБ и Следственный комитет при Прокуратуре РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу упорно раскручивают так называемое «дело историков»[17].

Теперь ясно, что стоит за интересом власти к гуманитарному знанию. Все это напоминает СССР в определенные периоды его истории. Можно на все махнуть рукой, поскольку прозвучал призыв «Россия, вперед!». Но (и за это власть ученых не любит) хотелось бы понять, в каком именно направлении нам двигаться[18]. Либо дети должны знать историю, но то-

[16] Олег и Игорь Минины из Новосибирска год назад опубликовали книгу «Институт прикладной физики. Научные школы и технологии». За это они попали под следствие. Игорь Решетин работал по договору между вузами. Передал китайцам технологии, которые «эксперты в штатском» посчитали технологиями двойного применения, и был обвинен в шпионаже. В защиту ученых выступили крупнейшие светила науки, но безрезультатно.

[17] Против доктора исторических наук, профессора М.Н. Супруна выдвинуты обвинения: якобы он из корыстных побуждений с целью сбыта решил организовать и осуществить сбор и формирование в электронную базу данных сведений о репатриированных с территории Германии по окончании Второй мировой войны граждан СССР, являющихся этническими немцами и поляками, выселенными в административном порядке в период 1945–1956 годов на территорию Архангельской области. Впервые за многие десятилетия сотрудники следственных органов произвели обыски у ученых-историков, изъяв электронные носители информации и документы, выявленные М.Н. Супруном в результате многолетних исследований в архивах. 1 октября в СПбГУ опубликован приказ о том, что с этого дня ученые должны согласовывать с ректоратом все свои выступления на конференциях с участием зарубежных ученых, а также тексты, которые они направляют в зарубежные журналы и издательства. Это вызвало резонанс со стороны научной общественности. Потом было дано разъяснение, что речь идет только о технических науках, но в приказе этого уточнения нет.

[18] На главных площадях во всех городах России по-прежнему стоят памятники Ленину. Всем известно, что вождь всегда был спиной к партии (памятник Ленина стоял спиной к райкому, обкому). Вопрос в том, куда Ильич показывал рукой? Профессор Бирженюк рассказал, что у него был брелок с компасом. Он много ездил, но в каких бы городах ни бывал, всегда смотрел, в каком направлении бронзовый или каменный Ленин указывает рукой или куда повернут его всевидящий взор. Оказалось: Ленин указывает на все 360º. Если вспомнить тезис «Верной дорогой идете, товарищи!», то становится ясно: этих дорог много и все они верные.

гда ее нельзя любить. Либо они должны любить историю, но тогда им не следует ее знать. Что делать ученым-историкам? Обслуживать власть или работать на науку? Но власти такая наука не нужна. В советское время был популярен лозунг «Товарищ, помни! Неправильно произведенный опохмел может привести к новому запою». Поэтому важно понять, где модернизация переходит в реставрацию, когда власть душит науку в объятиях, а когда вытирает об нее ноги...

Сегодня отношение власти к науке определяется ориентацией экономики на ресурсы. Главная проблема ресурсной зависимости российской экономики – отсутствие стимулов к долгосрочному росту. Российская элита живет за счет ресурсной ренты. Для элиты важен не экономический рост, а то, какие выгоды она сможет получить. Единственный смысл для элиты имеет та часть ресурсной ренты, которую она сможет присвоить. В условиях ресурсной экономики элита не заинтересована в создании и поддержке науки, культуры и образования как важной предпосылки для долгосрочного развития страны[19]. Чтобы вырваться из ловушки «ресурсного проклятия», нужно эффективное и некоррумпированное государство. Но ресурсы – источник коррупции, недемократических моделей государства. Пока не будет сменен вектор развития с сырьевого на инновационный, ученые будут либо обслуживать власть за копейки, либо работать «в стол» и ждать лучших времен. «А в России лучшие времена всегда впереди», – сыронизировал в заключение Г.М. Бирженюк.

А.П. Марков отметил, что советская власть демонстрировала одобрение на-уке в целом, но по-разному относилась к естественным и социально-гумани-тарным наукам. К первым отношение было сносным, поскольку они обеспечивали силу власти. Социально-гуманитарные науки власть жестко контролировала, выхолащивая душу науки. Философский факультет МГУ 1940-х годов был «помойной ямой». Власть лезла в души ученых, убивая мотив поиска истины. С помощью технических наук власть обеспечивала могущество, а гуманитарные науки наращивали доверие к ней. Не случайно особой поддержкой пользовались политэкономия социализма и философия диамата[20].

Такова великая правда: в России никогда не известно, где мы движемся вперед, а где назад. Так было всегда: славянофилы нас звали на Восток, западники — на Запад, и все — вперед. Это напоминает историю о Чичикове, который путешествует, но, как подметил В. Набоков в очерке «Николай Гоголь», никуда не едет.

[19] Т.В. Мусиенко (СПбФ РТА) показала, что востребованность ученого в Европе, США, странах Юго-Восточной Азии выше, чем в России. В отношениях с наукой государство выступает в роли заказчика. Тем самым блокируются объективные тренды развития научного знания. И все же такая модель оптимальнее, чем отсутствие в России всякой продуманной политики в области науки. В.Н. Лукин (СПбФ РТА) отметил последовательность США и западноевропейских стран в поддержке фундаментальных исследований в политической науке. В Германии политические элиты востребуют дискурс идентичности как основы современных стратегий культурного и гражданского национализма. Правые (консерваторы и либералы) разрабатывают стратегию формирования национальной идентичности, основанной на традиционной концепции единой немецкой науки с общей культурной и этнической идентификацией. Левые (социал-демократы и христианские демократы) формируют гражданскую идентичность как систему общих политических ориентаций, норм и ценностей. Не менее актуален дискурс идентичности для США. Американская идентичность отвергает примордиальные установки, гомогенность этноса, культуры, традиций и языка. Главными политическими ценностями выступают индивидуальная свобода, равные возможности, универсальность американского образа жизни. В России власть и наука не замечают друг друга. Российское начальство не учитывает опыт политических элит зарубежных стран по применению научно обоснованных стратегий снижения рисков общественно-политического развития. Без развития политической науки национальные проекты в очередной раз остаются политическими и идеологическими декларациями.

[20] Примером может быть 1947 год. После победы над нацизмом советская власть сильна как никогда. Но Сталин понимает, что контроль над умами – важное условие самосохранения власти. Повод для беспокойства был — нищета и кризис смысла жизни людей, прошедших через ужасы войны. И он принимает решение издать журнал «Вопросы философии». Философия вместе с другими социальными науками сотворила мир иллюзий, миф о лучшем из возможных миров. Эта иллюзия становится не только эффективной формой контроля умов, но и способом социо-культурной адаптации, — человек хочет быть в мире иллюзий.

Сегодня изменились субъекты и механизмы власти, институт, миссия и функции науки в обществе. Властное пространство сокращается по мере роста числа экономических, социальных и политических акторов. Корпоративные и этнические элиты пренебрегают наукой или относятся к ней утилитарно. Государственная власть формально поддерживает фундаментальную науку для демонстрации своей «заботы о благе общества» (нанотехнологии, науки, обеспечивающие ВПК). Итог этой «заботы» известен: нет условий даже для воспроизводства системы науки. 80 % смертей ученых приходится на два возраста: 50–55 и 70–75 лет. Таков результат «борьбы за выживание». Люди разочаровываются в науке, сокращается мотивация к научной деятельности. Упал социальный статус науки — «раскрученный» парикмахер или футболист получает в тысячи раз больше ученого-физика с мировым именем. Годовой гонорар звезды шоу-бизнеса во много раз больше Нобелевской премии. Наукой приходится заниматься в свободное от заработка время. Это влечет за собой дисквалификацию ученых. Наука становится способом удовлетворения личного любопытства за свой счет или миссией.

Заказ власти меняет вектор развития науки. По данным Центра науковедения Института истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН наблюдаются следующие тенденции: в число лидеров в общественном мнении выдвинулись социально-технологические дисциплины – политология, экономика, право, социология, психология; история, филология, философия, культурология, педагогика находятся в аутсайдерах; развиваются те направления науки, куда направлены основные потоки финансовых средств.

В России возникает феномен «духовного деспотизма». Власть обращается к услугам гуманитариев. Но им отведена роль лакеев — разработать способы манипуляции общественным сознанием, ненасильственные формы отчуждения граждан под демократической оболочкой. Элита берет и удерживает власть с помощью технологий манипулирования обществом на базе ресурсов СМИ. Сегодня нет открытого насилия над личностью, подавления демократических институтов. Но их деятельность профанируется при сохранении общей конструкции демократии. Правящая элита стремится освободить политику от плохо управляемых институтов демократии, заменить их инструментами «социальной инженерии». Общество отдалено от власти на всех уровнях. Гуманитарная наука нужна власти лишь в той мере, в какой она обеспечивает эффективность манипуляции.

В самом институте науки девальвируется рациональность, сложившаяся в рамках философии. Складывается «постсовременный» тип рациональности, в котором доминируют субъективные, метафорические методы познания и строительства мира. Начинается расцвет мистики, лженаучных концепций и сообществ, услуги которых тоже нужны власти.

А.П. Марков указал, что утрата идентичности ученых-гуманитариев не менее важна, чем отношения власти и естествознания. Человек не является ученым, если работает в пяти вузах с нагрузкой более тысячи часов в год. Поэтому надо понять миссию гуманитарных наук и обозначить линии партнерства гуманитариев с властью. Гуманитарные науки должны формировать мировоззренческую базу государственной идеологии. Надо создавать проект бытия, смыслом которого будет сохранение жизни на Земле, безопасное развитие, поддержание природного, культурного и личностного многообразия и сотрудничества. Но власть не заинтересована в таком развитии событий.

Чистые сортиры и аристократы духа

Писатель А.М. Мелихов обновил миф о том, что рационализм – бич современного общества. По его мнению, главными являются экзистенциальные, а не познавательные и экономические проблемы. Мы все теряем близких, стареем, из красавцев превращаемся в уродов, рано или поздно умрем. Нужно прежде всего то, что создает экзистенциальную защиту, иллюзию осмысленного бытия, благодаря которой мы начинаем ощущать себя сильными, кра-

сивыми, бессмертными. Экзистенциальная защита – главная социальная функция государства, науки, милиции, здравоохранения.

Ни одно государство не может существовать, если его граждане не чувствуют себя экзистенциально защищенными. Государство – это нечто огромное, могущественное, бессмертное. Если человек не ощущает себя частью государства – исчезают мотивы приносить ему любые жертвы. Люди бегут за границу, не платят налоги государству; оно не стоит того, чтобы мы имели с ним дело. Если власть заинтересована в сохранении государства, она должна поддерживать в людях чувство принадлежности к прекрасному и бессмертному.

Допустим, – не удержался от гипотезы А.М. Мелихов, – наша держава построит чистые уборные. От этого не вспыхнет радость, что мы живем в России, и ради нее стоит переживать неприятности. Но государство не рухнет, если перестанет растить ученых. По мнению А.М. Мелихова, и ученые, и власть заинтересованы в сохранении иллюзии могущества человека. Государство существует именно ради могущества человека. Если ученый критикует или поддакивает власти – он выражает позицию гражданина, которая не помогает и не мешает науке. А.М. Мелихов провел параллель между аристократом и ученым. Аристократ — это двигатель, интеллигент — тормоз. Тормоза важны, но без двигателя машина не поедет. Поэтому надо возродить науку, а уже наука должна реставрировать дух аристократии. По мнению Мелихова, наша наука долго доказывала власти, что ее производительность не хуже, чем у сантехников, слесарей, нефтяников. В итоге наука сама поверила в собственную пропаганду. Наука это соревнование с треском проиграла. То, что она приносит, всегда можно купить или украсть. Цель науки — красота и иллюзия человеческого могущества.

Комментарий в поддержку писателя. Действительно, после гражданской войны в СССР почти никто не отваживался открыто отказаться от выполнения бесконечных постановлений и решений («генеральной линии») советской власти. Даже «...интеллигенты, не признавшие советскую власть, но получавшие от нее свою зарплату, всякими способами пытались успокоить свою совесть. Профессора, например, внушали себе и другим, что они, мол, служат не большевикам, а науке. А наука-де, она, конечно, не большевистская. Таким образом, можно было найти некоторый компромисс между непризнанием советской власти и жизнью на советские деньги. На этом компромиссном пути можно было занимать позиции, очень различные в обе стороны, т.е. непризнание могло быть большим или меньшим. В крайних проявлениях оно принимало черты прямо-таки героические. Например, в Ленинграде бывший академик Ф. Д. Плеске отказался от пользования чем бы то ни было государственным. Он не получал карточек, не покупал ничего в «их» магазинах, не ездил в «их» трамваях. Сокрушался только тем, что не мог отказаться от покупки в «их» аптеках свечей от геморроя, которым он страдал»[21]. Иными словами, я предлагаю рассматривать поведение советских ученых (в естественных и гуманитарных науках) как множество проявлений геморройного героизма. Стремление успокоить таким образом свою совесть свидетельствует о том, что постоянное смешивание целей и средств их достижения существует не только в политике, но и в любом индивидуальном поведении. Для обоснования такого поведения могут использоваться не только деньги и геморройные свечи, но и наука как высшая ценность. Эту возможность упустил из виду певец государства и аристократии писатель Мелихов…

Ю.М. Шор (СПбГУП) поставил проблему шире: не «ученый и власть», а «человек духа и власть». Ученые и художники, с одной стороны, властвующие вожди и конторские клерки, с другой, – это представители двух совершенно противоположных сфер культуры. Искусство, философия, нравственность не могут мирно ужиться с политикой. Наука и политика – тем более. Недавно вышел на экраны фильм «Царь». В уста Ивана Грозного вложено призна-

[21] Кузин Б. С. Воспоминания // Дружба народов. 1995. № 11. С. 112.

ние: «Как человек я грешен, а как государь — праведен». Мысль ясна: государь имел право лить кровь подданных на благо страны. Значит, проблема деспотии власти стала опять актуальной.

Деспотическая и бюрократическая власть стремится к тотальному контролю. Какую позицию в этой ситуации занять ученому, интеллигенту? – зависит от внутренних резервов человека. Можешь противостоять – поступай так или делай, что можешь. У меня позиция такая, – сказал Ю.М. Шор: то, что мне по силам, делаю максимально хорошо, а чего не могу – не делаю. Мера компромисса зависит от внутренних возможностей личности. В любом случае нужны коренные реформы в сфере отношений «ученый и власть».

Вразумление удрученной дамы

Плач о погибели русской науки огорчил одну из присутствующих дам. С.М. Климова (Белгородский университет) расстроилась по трем причинам: 1. По ее мнению, в теме «Интеллектуалы и власть» заложен вектор на конфронтацию ученых с властью. Разговора о культуре диалога она не услышала. Никто не слушает и не слышит власть, а предъявляет ей претензии. 2. Многие из присутствующих говорят о русской истории необъективно и пренебрежительно. Естественники позволяют себе по отношению гуманитариям подобный тон, тогда как гуманитарии трепетно относятся к естественникам. 3. А.С. Запесоцкий предпринял попытку классификации интеллектуалов. Но С.М. Климова указала не два типа, а целых четыре категории русских интеллектуалов: *авантюристы от власти* (Меньшиков, Орловы и др.) прагматично пользовались властью и формировали определенное представление о государстве; *реформаторы* (Петр 1, Сперанский, Александр II) осуществляли реформы, позволяющие государству развиваться; *западники-прогрессисты* (В.О. Ключевский, С.М. Соловьев и другие крупные историки) создавали представление об истории России в контексте общеевропейского развития; *советские диссиденты* сегодня считают себя интеллектуалами-интеллиген-тами.

По мнению С.М. Климовой, доклад Э.И. Колчинского о Вернадском показал смысл мифа о российской интеллигенции. «Если искажается образ великого человека, – возмутилась Госпожа Профессор, – путем подтасовки фактов из его биографии и их вольной интерпретации, то разговор об интеллигенции как о совести нации становится бессмысленным. Меня поразил Ваш доклад, Эдуард Израилевич, прагматическим окончанием. В финале вдруг произносится банальная фраза о парикмахере типа «не важно, какой кот, лишь бы он ловил мышей». Мне кажется, что подобные вольности (позитивизм и прагматизм) в гуманитарной науке разоблачены 150 лет назад. Тогда наши интеллектуалы говорили, что западная наука душит духовность в человеке, приводя все к прагматическому консенсусу. Я знаю о Вернадском гораздо меньше Вас, но поскольку я доктор философских наук и читаю студентам лекции по истории философии, в том числе и о космизме, я не могу с Вами согласиться в оценке этого ученого».

С.М. Климова полагает, что никогда раньше ученые не жили так хорошо. И рассказала о райской жизни в Белгороде – благодаря грантам Федерального агентства по образованию РФ и Федерального агентства по науке и инновациям Министерства образования и науки РФ. Единственный недостаток – о них надо отчитываться пудами бумаги. На образовательные проекты выделяются миллиарды рублей: «Поэтому давайте не выдумывать проблему на пустом месте!», – заключила она.

Однако А.П. Марков напомнил ученой даме: «У нас научная конференция, а не передача «Суд истории». Мы не персоналии разбираем, а обращаемся к биографиям исторических фигур, чтобы вынести из их судеб урок для себя».

Э.И. Колчинский тоже был вынужден разъяснять докторице (так говорят мои знакомые одесситы) философских наук элементарные вещи: «Мы обращаемся к истории, чтобы знать, как было на самом деле. Необходимо понять: это миф или мы имеем дело с реальным человеком? Вот реальный человек – Марина Юрьевна Сорокина. Наш диалог с ней начался после того, как она написала в одной из своих работ, что Вернадский приспособленец, готовый отказаться от всех убеждений. Я ей ответил, что нельзя так судить об ученом, поскольку в главном он сохранил себя до конца. То, что он писал плохо о людях, это совершенно точно, потому что тот, кто жил в те годы и видел тех людей, иначе не мог. Чему мы будем учить, если придумаем героев?.. Мы должны рассматривать человека во всей его сложности, каким он был в реальности, а не в нашем представлении. Вернадский был сложным человеком: с одной стороны, высокие идеи, с другой – повседневные заботы, личные интересы. Я против мифов. Учить честности – единственное, что требуется от историка. Самое страшное в том, что мы хотим эти мифы поддерживать и готовы по желанию власти придумывать новые. В «Эксперте» появилась статья, в которой историк говорит: «Пусть власть скажет, для чего нам нужно 4 ноября, и мы все обоснуем исторически, любого сделаем гением и скажем – вот эта наша национальная идея, за ней мы пойдем, а потом окажемся в очередном болоте»…

И.И. Мочалов (ИИЕТ) добавил веское слово в спор о В.И. Вернадском. Вернадский стал слугой диктатора, со всем его разветвленным явным и тайным аппаратом. И хотя он не ставил свои подписи под одиозными документами советской власти, его предложение кастрировать нацистских военных преступников не назовешь гуманным.

И.И. Мочалов высказался также по проблеме измены Родине: «В 1940-е годы, особенно в первые месяцы войны с Германией, происходила массовая сдача в плен наших красноармейцев. Солдат сдается в плен врагу – это ли, казалось бы, не «приспособленец» в чистом виде. Но именно здесь и начинаются *вопросы* (курсив автора. – В.М.), коих оказывается великое множество. Ведь даже если солдат вполне здоровый, не задетый ни осколком, ни пулей, с оружием в руках, не бросивший его и не потерявший, не просто сдается в плен, а вполне сознательно и целенаправленно *ищет плена* (курсив автора. – В.М.) – даже в этом самом крайнем случае я воздержался бы – *без выяснения многих дополнительных обстоятельств* (курсив автора. – В.М.) – зачислить его по ведомству не только моральных приспособленцев, но даже юридических предателей».

М.Ю. Сорокина призвала не заниматься риторикой. «Кому-то кажется, что в нашей дискуссии есть конфронтация между отечественными и зарубежными учеными. Это глупо. Я прилетела в Санкт-Петербург из Софии. Болгария не самая развитая страна Европы. Но я там была на презентации книги «Российское зарубежье в Болгарии. Истоки и современность». Это альбом большого формата в 800 страниц. Издание было инициировано соотечественниками, давно живущими в Болгарии. Они пригласили в этот проект болгарских и российских специалистов. У них не хватило сил пригласить наших западных коллег, но даже на уровне болгарских и российских историков получился хороший диалог. Я упоминаю об этом только по одной причине: современные формы развития научного познания уже не имеют отношения к тому, что происходит в России. Главная и основная форма научного познания — это международный научный коллектив, независимо от страны проживания, гражданства и т.д. Сегодня везде можно прекрасно работать, если ощущать себя частью международного научного сообщества и заниматься поисками истины, а не карьерой».

По мнению М.Ю. Сорокиной, спор о В. Вернадском отражает более общую проблему – как, когда и почему общество и/или правящая элита востребуют «национальных героев» типа В.И. Вернадского. Между тем фигура академика с одинаковой легкостью вписывается как в созданный советским тоталитаризмом образ «советской науки», так и в творимые на наших глазах мифы о русском «научном андерграунде» и «репрессированной науке».

В отличие от разгневанной дамы из Белгорода Марина Юрьевна поблагодарила Э.И. Колчинского: «В середине 1990-х годов я написала полемический текст о Вернадском, три

четверти его объема составляли документы самого ученого, выявленные мной в архивах. Эти документы рисовали нетрадиционную картину русского интеллигента. Эдуард Израилевич был единственным человеком, который вступил со мной в научную полемику. Все остальные коллеги просто начали строчить на меня доносы. Поэтому не худо бы и на себя посмотреть — на свою образованность, порядочность».

И.С. Дмитриев согласился с М.Ю. Сорокиной: «В России прекрасно можно жить, если регулярно ездить за границу и там работать». Но добавил: «Однажды С.П. Капица сказал мне: «Вы знаете, дело тут, действительно, не в деньгах. При желании можно и проекты, и все иное. Мы перестали понимать европейскую науку, о чем там идет речь». Я провел социологическое исследование: опросил знакомых мне физиков разного возраста — от студентов и аспирантов нашего факультета до активно работающих профессоров. 90 % опрошенных подтвердили правильность этого суждения»[22]. «Наша российская цивилизация еще детская, – мы не научились видеть вещи такими, какие они есть на самом деле, у нас нет для этого мужества. Мы обманываем себя, потому что нам нужно навеять себе миф о мире золотом. Мы постоянно крутимся в этом порочном круге. Мы живем в стране, – констатировал И.С. Дмитриев, – где не только стоимость макарон, в отличие от Италии, но и их наличие на прилавке зависит от того, кто у нас у власти».

Член-корреспондент РАН Б.Г. Юдин (ИФ РАН) сказал: властители нынешней России относятся к науке и ее рекомендациям как к чему-то малозначимому, назойливому, необязательному. По словам одного из высоких чиновников, Российская академия наук – тормоз на пути модернизации, а попытки ученых бороться с лженаукой и с фальсификацией исследований – средневековое мракобесие. Страшно за страну, которая будет модернизироваться на основе таких представлений.

Итог и перспектива

М.А. Мануильский (журнал «Человек») отметил, что из дискуссии можно сделать три вывода: власть меркантильна, ей наплевать на Вавилова, Вернадского, парикмахера, лишь бы он что-то приносил государству; отношения ученых и власти зависят от социально-культурных, политических и исторических факторов; ученые должны нести ответственность за свои поступки в отношениях с властью.

Заключительный комментарий. Я думаю, для обсуждения проблемы «измены родине» можно использовать работу М.И. Семиряги. Он собрал громадный материал о том, что как раз интеллигенция, представители промышленных кругов, криминальные элементы, авантюристы и карьеристы наиболее податливы на коллаборационизм. Это относится к СССР еще больше, чем к странам Западной Европы[23]. Число граждан в оккупированных странах Европы, которые сотрудничали с фашистами, было примерно таким же, как численность участни-

[22] И.С.Дмитриев поделился своим опытом эксперта РФФИ. В заявках на гранты лидируют Москва и Санкт-Петербург, работы из регионов редки, отличаются провинциальностью. Большинство заявок написаны по стандартам диссертации. Уже просмотр списка литературы провоцирует вывод, будто никто в мире темой не занимался, кроме автора. А когда книгу или статью даешь издателю в Великобритании или другой европейской стране, то они присылают даже не письмо, а эту самую статью или книгу с комментариями на полях. Там написано: «Not a new» — «Ничего нового». Процесс модернизации в России идет медленно и туго. «Хотя в России три главные напасти: воровство, пьянство и незнание иностранных языков, сейчас последнее преодолевается. Будто все есть для успеха, а последняя ставка чаще всего оказывается проигранной. Потому что молодой специалист у нас вынужден непосильно трудиться ради хлеба насущного, в лучшем случае — на двух-трех работах по совместительству. Он преподает, пишет заказные статейки, фотографирует. Ему некогда читать и развиваться в профессиональном плане. Многие мои студенты и аспиранты не приходят на занятия по тем же причинам. Получается, что из этих талантов развивать некого: начинаешь с кем-то работать, а он исчезает со всех семинаров. Потом спрашиваешь: «Ты где был?» Отвечает: «Я в кино снимался». Ну и как кинозвезде не поставить зачет?..

ков Сопротивления, сражавшихся с этим же врагом. По численности коллаборационистов СССР стоит на первом месте среди других оккупированных стран Европы.

В общем виде коллаборационизм означает сотрудничество. Но не любое сотрудничество с врагом можно квалифицировать как коллаборационизм. В ходе оккупации некоторых стран Европы имелись случаи, когда государственные деятели соглашались сформировать национальные правительства только при условии, если они будут правительствами «профессионалов» с задачей представлять интересы населения перед оккупационными властями». Иначе говоря, ссылка на профессионализм (в том числе научно-технический) с успехом может обслуживать коллаборационизм.

М.И. Семиряга выделяет следующие виды коллаборационизма: бытовой, административный, экономический, военно-политический[24]. Только последний вид коллаборационизма можно квалифицировать как измену родине. При этом важно иметь в виду различие между субъективными намерениями гражданина, которые, по его мнению, оправдывают его сотрудничество с врагом (например, неприятие существующего в его стране политического строя), и объективными последствиями его действий, которые означают измену родине. Это особенно важно в критические моменты страны (в период войн): «Ликвидировать коллаборационизм или, по крайней мере, свести его к минимуму можно лишь при условии, если воин будет считать общественный строй в своей стране справедливым, а его защиту рассматривать как свой первостепенный долг. Это первое условие для устранения коллаборационизма целиком зависит от господствующих политических сил в данной стране»[25].

Отсюда вытекает, что общую проблему измены родине можно рассматривать в контексте указанных видов коллаборационизма, причислив к ним и научно-технический коллаборационизм. В этом смысле всем известную судьбу Н.В. Тимофеева-Ресовского можно поставить в один ряд с судьбой немецких ученых, вывезенных в Советский Союз после второй мировой войны, занимавшихся производством советской атомной бомбы и заслуживших за это звание Героя Советского Союза.

К этому можно добавить, что в XX веке проблема коллаборационизма и измены родине в XX веке стала универсальной. Ее изучают в контексте революций, войн и их последствий[26]. Еще рано говорить о том, что эти последствия исчерпали себя. Поэтому следует учитывать научно-технический коллаборационизм в мирное время – т.е. сотрудничество с правительством своей страны. А термин «ленивая монополия» используется в экономической социологии для обозначения всех национализированных сфер промышленности – транспорта, связи, военно-промышленного комплекса, науки, образования и т.д. В этих сферах обычно занята научно-техническая и гуманитарная интеллигенция. Быть может, это станет темой следующего круглого стола…

---

[23] См.: Семиряга М.И. Коллаборационизм. Природа, типология и проявления в годы второй мировой войны. М., РОССПЭН, 2000, с. 9-13

[24] Бытовой коллаборационизм – это танцы, вечеринки, просмотр кинофильмов вместе с солдатами противника. Административный коллаборационизм – это деятельность местных органов власти, созданных оккупантами. Известно, что на оккупированных территориях разных стран, в том числе и СССР, нередко крестьянам удавалось выбирать, где это было возможно, старостами или полицаями наиболее честных односельчан, которые могли бы умело защищать их интересы перед оккупационными властями. Экономический коллаборационизм – это создание частных мелких предприятий, которые обслуживали нужды населения. Их владельцев нельзя назвать коллаборантами. Приказ Сталина уничтожать при отступлении все материальные ценности, отданный в первые дни войны и игнорировавший жизненные интересы покинутого населения, был неуместен и невыполним. Военно-политический коллаборационизм – это осознанное и добровольное сотрудничество с врагом в ущерб родине (шпионаж, диверсии, служба в вооруженных силах противника.

[25] Семиряга М.И. Указ. соч., с. 10.

[26] См.: Шлегель К. Берлин. Восточный вокзал. М., 2004.

НАШИ АВТОРЫ

Вагнер-Пацифици Робин – Суортмор Колледж.

Глебова Ирина Игоревна – доктор политических наук, профессор кафедры культуры мира и демократии факультета истории, политологии и права Историко-архивного института РГГУ; старший научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам РАН.

Дерлугьян Георгий Матвеевич – кандидат исторических наук, Ph.D. по социологии (Университет штата Нью-Йорк в Бингамтоне), доцент Северо-Западного университета г. Чикаго (США).

Капустин Борис Гурьевич — доктор философских наук, профессор, главный научный сотрудник Института философии РАН.

Макаренко Виктор Павлович – заслуженный деятель науки РФ, академик Академии педагогических наук Украины, доктор политических и философских наук, профессор, Южный федеральный университет (Ростов-на-Дону).

Олейник Антон Николаевич — PhD, кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Института экономики РАН (Москва) и Associate Professor Университета «Мемориал» (Канада).

Порус Владимир Натанович – доктор философских наук, ординарный профессор, заведующий кафедрой онтологии, логики и теории познания факультета философии Государственного университета – Высшая школа экономики (Москва).

Поцелуев Сергей Петрович — кандидат философских наук, доцент, Южный федеральный университет (Ростов-на-Дону).

Шварц Барри – университет Джорджии.

Summaries and keywords

Makarenko V.P. Weltanschauung Machine: the Motor-car Enthusiast's Reflections.

Summary: The paper shows there are two religious-philosophical premise for the common belief in the immortality of man: first, the eternity is manifested in human history and life as an Absolute which is constructed by the human consciousness and attributed to the Being; second, this Absolute ('God' or its abstract substitute) is described in anthropological terms. The problem is shifted to the typology of concepts during the "proof" of these assumptions and the resulting Weltanschauung schemes. The author examines the genesis of these concepts in the history of philosophy.

Keywords: Weltanschauung, religion, philosophy, the immortality concept, the cult of eternal being, the Christian theodicies.

Porus V.N. On the Bridge of Interpretations: Robert Merton and the Social Epistemology

Summary: R. Merton’s sociological concept of «Ethos of Science» is considered from the point of view of its social-epistemological maintenances. As a «social epistemology» this concept serves as one of sources of the «Big Science myth», played an appreciable role in the philosophy of science in the XX century. The criticism of this concept can be considered as dispute between different epistemological interpretations of sociological data about a science and scientists’ actions in the research situations.

Keywords: science, scientists’ actions, ethos of science, sociology of science, social epistemology, interpretation.

Kapustin B.G. Abstracts about Political Philosophy.

Summary: The article provides a general conceptual framework of political philosophy which is considered here, in contrast to the essentialism, in the context of activity approach. This method enables to conceptualize social forecasts and to design social transformations which do not lead to the destruction of the society.

Keywords: political subjects, political activity, political science, political ontology, modalities of political consciousness.

Potseluev S.P. From "Antagonism" to "Agonism": Towards Laclau and Mouffe's Theory of Democracy

Summary: The paper outlines a number of critical ideas that are the basis of theories of "radical" and "agonistic" democracy which were proposed by post-marxists E. Laclau and Ch. Mouffe. Emphasizing the difference between "radical pluralist" democracy on the one hand and

"aggregative" and "deliberative" models on the other hand, the author dwells on the concepts of "plural identities" and "democratic hegemony". In this context, the essence of "the logic of hegemonic formation" is critically examined. Further, the author assesses the methodological potential and contemporary political context of "radical" and "agonistic" democracy.

Keywords: radical democracy, agonistic democracy, radical pluralism, plura-list identity, the logic of the hegemonic formation.

Glebova I.I. The "Palace State" in Contemporary Russia.

Summary: In his article, the author proceeds from the V.O Klyuchevsky's concept of the Russian state. The author analyzes the corporative (or caste) nature of this state, namely, the phenomenon of "palace" which is revived in the post-soviet capitalist Russia. The historical forms of the "palace" phenomenon as well as prospects for its development under existing conditions are considered: through "palace revolutions" to genuine democracy.

Keywords: the palace state, status-caste state, the bureaucracy comerciali-zation, the state as corporation

Oleinik A.N. On the Origins of Administrative Rent: Doing Business in a Russian Region

Summary: Two types of rent are differentiated: resource rent and administrative rent. The latter is linked to restrictions on the access to the field of interactions. The contribution of the theory of public choice and the theory of rent-seeking and directly-unproductive activities is further developed by shifting the emphasis from individual decision-making to interactions between three actors: C, who controls access to the field, A, who gets a competitive edge as a result, and B, who assumes a subjacent position with regard to both A and C yet still receives a positive gain from transacting. Domination by virtue of a constellation of A's, B's, and C's interests works is illustrated with the help of an in-depth case study of a Russian region. This study combines quantitative (econometric modeling) and qualitative (content-analysis of 26 semi-structured interviews conducted in 2006-2008) methods, as well as their triangulation.

Keywords: resource rents, administrative rent, the state's role in their interaction.

Derlugyan G. About our Place in History.

Summary: The paper presents a structural analysis of the profound social changes on a global scale. These changes define an entirely new structure of self-determination and personal activities. Moreover, they require new approaches to the foundations of social inequalities, and contradictions. It is just these transformations, and attitudes toward them, which should be the synthetic subject of a new social science that links various research areas.

Keywords: globalization of social structures, conversion of life support structures, the synthesis of sociological trends.

Wagner-Pacifici R., Schwartz B. The Vietnam Veterans Memorial: Commemo-rating a Difficult Past.

Summary: This article on the Vietnam Veterans Memorial deals with the society assimilates past events that are less than glorious and whose memory induces controversy instead of consensus. Focusing on the discursive field out of which the Vietnam Memorials emerged, the article shows how opposing social constituencies articulated the ambivalence attending memories of the Vietnam War. The Vietnam Veterans Memorial and devices like it come into view not as symbol of solidarity but as structures that render more explicit a nation's conflicting conceptions of itself and its past.

Keywords: memorial, the lessons of history, commemoration as a political ritual, commemoration as a social phenomenon.

Makarenko V.P. Scientist and Power: Views and Comments.

Summary: The article describes the course of heated debates during the national conference "Science and Power: The sociocultural models of interaction." The author critically examines the positions of the conference participants.

Keywords: situation of Russian science, the evaluations of public policies regarding science, the future of Russian science.

CONTENTS

EDITOR'S WORD

Makarenko V.P.
Weltanschauung Machine: the Motor-car Enthusiast's Reflections..... 4

GENERAL PROBLEMS OF POLITICAL CONCEPTOLOGY

Porus V.N.
On the Bridge of Interpretations: Robert Merton and the Social Epistemology…..... 28

Kapustin B.G.
Abstracts about Political Philosophy..... 39

Potseluev S.P.
From "Antagonism" to "Agonism": Towards Laclau and Mouffe's Theory of Democracy.... 47

NATIONAL AND REGIONAL CONTEXT

Glebova I.I.
The "Palace State" in Contemporary Russia..... 80

Oleinik A.N.
On the Origins of Administrative Rent: Doing Business in a Russian Region..... 117

TRANSLATIONS & COMMENTS

Derlugyan G.
About our Place in History..... 141

Wagner-Pacifici R., Schwartz B.
The Vietnam Veterans Memorial: Commemorating a Difficult Past..... 155

SCIENCE REPORTS

Makarenko V.P.
Scientist and Power: Views and Comments..... 193

OUR AUTHORS..... 210

Summaries and keywords …..... 211

Contents..... 214

Notes for contributors..... 215

К сведению авторов

Требования к оформлению статей:

1. Статья должна быть объемом не более 1,0 п.л. – 40 тыс. знаков, набрана в формате .doc (Microsoft Word или OpenOffice.org).

2. В начале статьи приводится аннотация (не более 1000 символов) на русском и английском языках, а также сведения об авторе: Ф.И.О. полностью, ученые степени и звания, должность, место работы, телефоны (рабочий и домашний с кодом города), электронный адрес (обязательно).

3. Параметры текста: шрифт Times New Roman, 14 кегль, интервал 1, поля: сверху и снизу – 2 см, справа и слева – 2 см. Выравнивание текста: по ширине. Абзацный отступ (красная строка): 1 см. Нумерация страниц: не ведётся. Рисунки – чёрно-белые и внедрены в текст.

4. Допускается использование шрифтов Arial и Courier New для обособленных фрагментов текста. Допускается использование шрифта меньшего размера для участков текста, имеющих вспомогательное (второстепенное) значение. Размер шрифта табличного текста обычно на 2 пункта меньше размера шрифта основного текста. Рисунки можно присылать цветные, но следует иметь в виду, что журнал публикуется чёрно-белым.

5. Сноски обычные (не концевые!) автоматические. Нумерация начинается с цифры «1». (Просим не делать нумерации вручную с круглыми или квадратными скобками!).

6. Текст сносок оформляется следующим образом: Фамилия И.О. Название работы. Город, год издания. С. …; Фамилия И.О. Название статьи// Название журнала. Год. Номер. С. ... (без дополнительных тире).

7. Статью следует отправлять в электронном виде по адресам: politconcept@mail.ru, lingard@mail.ru (просьба дублировать на оба адреса). В теме письма укажите: «Статья для электронного журнала «Политическая концептология».

8. Рукописи не возвращаются. Редакция не знакомит авторов с текстом внутренних рецензий, а только уведомляет по электронной почте о своём решении относительно публикации по запросу автора.